

А К А Д Е М И Я Н А У К С С С Р
И Н С Т И Т У Т Я З Ы К О З Н А Н И Я

В О П Р О С Ы Я З Ы К О З Н А Н И Я

ГОД ИЗДАНИЯ
VIII

3

~~МАЙ~~ — ИЮНЬ

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР
МОСКВА — 1959

РЕДАКЦИОННАЯ

*О. С. Ахманова, Н. А. Баскаков, Е. А. Бокарев, В. В. Виноградов (главный редактор),
В. М. Жирмунский (зам. главного редактора), А. И. Ефимов,
Н. И. Конрад (зам. главного редактора), В. Г. Орлова, Г. Д. Санжеев,
Б. А. Серебренников, Н. И. Толстой (и. о. отв. секретаря редакции),
А. С. Чикобава, Н. Ю. Шведова*

Адрес редакции: Москва, К—12, ул. Куйбышева, 8. Тел. Б 1-75-42

XXI съезд КПСС и некоторые задачи русского языкознания	3
И. И. Мещанинов (Ленинград). Различные виды классификации языкового материала	11
В. К. Чичагов. О динамической структуре русского повествовательного предложения	22

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

Сюй Го-чжан. Обзор структурального направления в лингвистике	40
Ю. Д. Дешериев, Г. А. Климов, Б. Б. Талибов (Москва). Об унификации наименований некоторых языков Кавказа	61

СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ

Б. И. Надэль, Р. Г. Пиотровский (Ленинград). О хронологических и стилистических поправках в диахронических исследованиях	66
О. А. Лаптева (Москва). Расположение компонентов устойчивого словосочетания как элемент его структуры	73
Г. И. Геровский (Пряшев). О специфике литературного двуязычия у восточных славян	86

ПРИКЛАДНОЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ

И. К. Бельская (Москва). О принципах построения словаря для машинного перевода	89
--	----

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Обзоры

Р. Р. Гельгардт (Пермь). О литературном языке в географической проекции	95
---	----

Рецензии

И. С. Поспелов (Москва). <i>В. В. Виноградов</i> . Из истории изучения русского синтаксиса	102
В. Д. Левин (Москва). Новые книги по истории русского и украинского литературных языков	110
И. П. Черный (Бельцы). «Atlasul lingvistic romîn»	119
В. Г. Адмони (Ленинград). <i>H. Glinz</i> . Der deutsche Satz	120
В. В. Мартынов (Одесса). <i>K. H. Schönfelder</i> . Probleme der Völker- und Sprachmischung	124
О. С. Ахманова (Москва). <i>L. Bloomfield</i> . Eastern Ojibwa	125

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

В. М. Иллич-Свитыч (Москва). Вопросы славянской прародины на IV Международном съезде славистов	128
А. В. Бондарко (Ленинград). Вопросы глагольного времени на IV Международном съезде славистов	131
Д. Е. Михальчи (Москва). Заметки о румынском языкознании	135
В. Т. Терентьев (Чувашская АССР). Еще раз о первой грамматике чувашского языка	139
Над чем работают ученые	140
Хроникальные заметки	147
Авторефераты по языкознанию, опубликованные в 1958 году	154
Книги, журналы и брошюры, поступившие в редакцию	158

XXI СЪЕЗД КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА И НЕКОТОРЫЕ ЗАДАЧИ РУССКОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ

1

Внеочередной XXI съезд Коммунистической партии Советского Союза знаменует начало нового периода развития социалистического общества. Обсужденная на этом съезде и утвержденная им программа коммунистического строительства предусматривает высокий подъем экономики, благосостояния и культуры советского народа. Воплощением этой программы и конкретным указанием путей и перспектив нового прогрессивного движения нашей страны является семилетний план развития народного хозяйства и научных исследований в Советском Союзе.

Важное место в этом плане занимают гуманитарные науки. На XXI съезде КПСС намечены общие задачи и направления дальнейшей разработки общественных наук. Сюда относится прежде всего создание фундаментальных трудов, раскрывающих закономерности развития советского общества, пути и формы его перехода от социализма к коммунизму и охватывающих разные области социальной практики, научно-технических преобразований и духовной культуры. Естественно, что научно-исследовательская деятельность в сфере гуманитарных наук должна быть сближена с практическими потребностями жизни, с задачами ее коммунистического преобразования. Одной из важнейших задач гуманитарных наук является критика современных буржуазных ревизионистских теорий и других проявлений и выражений враждебной марксизму-ленинизму буржуазной идеологии.

Наряду с другими общественными науками может и должна внести свой вклад в дело коммунистического воспитания масс и в развитие культуры социалистического общества, движущегося к коммунизму, и советская филология. Языкознание как одна из систем наук гуманитарного цикла осуществляет свои общественно полезные и народновоспитательные функции и непосредственно, и в союзе, а нередко и в синтезе с литературоведением. В самом деле, литература, наряду с другими видами искусств, активно способствует формированию человека коммунистического общества. На XXI съезде КПСС поднимался вопрос о решительном повышении художественного мастерства, в том числе и мастерства словесно-художественного. Язык — «первоэлемент» литературы, неисчерпаемый источник средств воплощения поэтических замыслов и публицистических убеждений. Обострение общественного внимания к проблемам мастерства писателей и к вопросам культуры речи обязывает языковедов к оживлению и углублению исследований в области теории поэтической речи, эстетики слова, стилистики литературного языка и стилистики художественной литературы, в области теории и практики культуры речи. Все это, естественно, прежде всего относится к русскому языку.

Русский язык — язык одного из самых многочисленных и наиболее влиятельных в мировой истории славянских народов, язык великой русской литературы и русской цивилизации — после Октябрьской социалистической революции не только расширяет свои социальные и культурные функции в пределах Советского Союза, но и приобретает все большее и большее международное значение. Он становится международным

языком, скрепляющим и углубляющим общественно-политические связи между разноразличными народами нашей страны. Он выступает как язык советской социалистической культуры и идеологии на мировой арене и обогащает самые разнообразные языки мира терминами социально-политического, государственного и научно-технического значения (например, *спутник*). Русский язык все более широко и активно применяется в сфере международных дипломатических сношений. Общий интерес к русскому языку и широкое его изучение все более возрастает в странах Запада и Востока.

2

В постановлении Президиума Академии наук СССР (6 февраля 1959 г.) «О задачах и перспективах научных исследований в области русского языка» намечены на ближайшие годы центральные проблемы развития русского языкознания на широкой славистической базе. До некоторой степени, с необходимыми изменениями, эти указания могут быть применены к изучению других языков как народов Советского Союза, так и зарубежных.

В постановлении Президиума АН СССР отмечается, что несмотря на значительные успехи, достигнутые у нас славяно-русским языкознанием и нашедшие яркое выражение в докладах и выступлениях советских славистов на IV Международном съезде славистов в Москве, все же общее состояние и теоретический уровень исследований в области русского языка не могут считаться вполне соответствующими потребностям развития советского общества и советской культуры. На качестве исследований по русскому языку заметно отражается недостаточная разработанность важнейших теоретических проблем общего языкознания. Богатейший материал русского языка мало привлекается для решения общетеоретических вопросов, для совершенствования и расширения методики лингвистического исследования.

Между тем наблюдения над системой родного языка, над его строем, над стилистическими качествами и возможностями родной речи, над приемами и способами народного речетворчества, над художественными функциями народной и литературной речи с их разновидностями и ответвлениями в стилистическом развитии литературы, познание закономерностей исторического развития русского языка в связи с историей русского народа — все это могло бы послужить ценным и важным подспорьем в работах по советскому общему языкознанию. Факты современного русского языка должны шире привлекаться и при исследованиях по лингвистической статистике. Частотный словарь русского языка Г. Йоссельсона (при всех его очень существенных недостатках), ряд работ французских, чешских, польских и иных языковедов по словарной статистике свидетельствуют о том, что математические методы исследования — при трезвом учете их возможностей — могут дать интересные обобщения лингвистического материала. Важное, заслуживающее всякого поощрения явление нашего времени — разработка лингвистических вопросов кибернетики (машинный перевод и под.) — также могло бы найти себе гораздо большую сферу научного применения в русском языкознании. Необходимо вспомнить славные страницы из истории нашего отечественного языкознания, когда исследование русского языка тесно смыкалось и даже сливалось с решением важнейших проблем общего языкознания (А. А. Потебня, И. А. Бодуэн де Куртене, Ф. Ф. Фортунатов, Л. В. Щерба и др.).

Вместе с тем разнообразная проблематика русского языкознания разрабатывается до настоящего времени очень неравномерно и не всегда на должном уровне. До сих пор нет у нас фундаментальных обобщающих работ, основанных на марксистской теории развития языка как обще-

ственного явления и охватывающих историю русского языка во всех ее периодах и аспектах. Создание таких трудов — неотложная задача, решение которой требует коллективных усилий советских языковедов, в первую очередь, конечно, специалистов по восточнославянским языкам, но при обязательном участии славистов более широкого профиля. Давно уже не появлялось у нас и крупных исследований, посвященных старославянскому языку и его роли в истории различных славянских языков (в первую очередь — в истории русского языка).

Медленно разворачивается работа по созданию крайне необходимых словарей древнерусского языка (XI — XIV вв. и XV — XVII вв.). Еще только обдумывается план составления словаря русского литературного языка XVIII в. — и лишь в далекой перспективе будущего пятилетия мыслится усиление научной деятельности в области исторического словаря русского литературного языка с конца XVIII в. вплоть до Советской эпохи. Состояние словарной практики в области русского языкознания не может не отражаться и на развитии историко-лексикологических исследований по русскому и другим славянским языкам. В этой связи следует отметить, что завершение «Этимологического словаря русского языка» проф. М. Фасмера нисколько не устраняет необходимости в новом этимологическом словаре русского языка, охватывающем более широкий и вместе с тем более дифференцированный в литературно-нормативном и историко-диалектологическом плане словарный материал, с гораздо большим уклоном в сторону исторической семантики русского языка и русского исторического словообразования. Начиная с тридцатых годов текущего столетия у нас почти прекратилось лингвистическое описание и издание ранее не опубликованных памятников древнерусской письменности. Палеографические изыскания и наблюдения в основном стали за последние годы уделом историков и археографов, так как наши слависты в большинстве отошли от добрых старых филологических традиций. Такое положение не могло не сказаться на ослаблении интереса к исследованиям по древнерусскому языку.

В высшей степени симптоматично, что в Институте русского языка АН СССР в ближайшее время не предвидится создания крупных обобщающих трудов по истории развития грамматического строя русского языка сравнительно с другими восточнославянскими языками; нет исследований по истории русской глагольной системы. Хотя больше всего успехов и достижений в области русистики за последние два десятилетия наблюдается в изучении современного русского языка, его грамматической структуры, а также в изучении национального периода развития русского литературного языка (XVII — XIX вв.), тем не менее и здесь остро дают себя знать существенные недостатки и пробелы.

Необходимо расширить и углубить разработку вопросов стилистики языка советской художественной литературы, вопросов культуры речи и ее нормализации. В связи с постановлением Верховного Совета СССР о реорганизации высшей и средней школы и решениями XXI съезда КПСС, выдвинувшими новые задачи в области коммунистического воспитания и строительства социалистической культуры, вопросы изучения современного русского языка, его нормализации и вопросы повышения культуры речи приобретают особо важное значение. В обсуждении и решении этих вопросов необходим тесный контакт языковедческих научных сил с общественными и писательскими организациями. Картотека живой разговорной речи, накопленная Сектором современного русского языка и культуры речи в Институте русского языка АН СССР, должна непрерывно пополняться и систематически обрабатываться. Очень важно организовать издание серии брошюр и книг, посвященных общим проблемам культуры речи, стилистики современной литературной речи, проблемам и принципам нормализации литературного языка, изучению стилистической структуры современной лексики, разъяснению понятия народности

русского литературного языка и под. Необходимо активизировать работу по созданию полноценных, соответствующих требованиям современной науки синонимического и фразеологического словарей современного русского языка, рассчитанных на массового читателя.

Говоря о задачах и перспективах изучения современного русского языка, нельзя не упомянуть о том, что у нас не получило широкого развития сопоставительное изучение русского языка с другими славянскими языками. Не созданы еще и фундаментальные труды, описывающие современную русскую лексико-семантическую систему со всей сложностью и многообразием взаимодействия ее разных элементов и семантических рядов.

Кроме того, организация и оборудование экспериментально-фонетической лаборатории при Институте русского языка будут способствовать расширению исследований звучащей речи. Экспериментально-фонетические исследования в области изучения русского и других языков с их диалектами (в первую очередь — языков народов Советского Союза) должны разворачиваться по трем направлениям: 1) усовершенствование собственного метода эксперименталистики, 2) составление характеристики физических свойств отдельных языков и 3) составление фонотеки, т. е. систематизированного собрания образцов языка в инструментальной записи, воспроизводящей звучание речи. В перспективном плане научно-исследовательской деятельности фонетической лаборатории справедливо отмечается, что изучение «говорения», стихии живой речи со всеми ее «случайностями», в ее стилистическом и пр. разнообразии, где типичное «системное» нередко смешано с элементами других «систем», а «языковое», кроме того, с «неязыковым», если иметь в виду физиологические и другие явления — «спутники» речи, даст новый свежий материал для более точного и глубокого понимания отношений между фонетикой и фонологией.

Длительность периода, в течение которого разрабатывались преимущественно «системные» фонологические проблемы — без обращения к натурально наблюдаемой форме существования языка — к «говорению», а также значительное влияние концепций, стремящихся к рассмотрению сущности «знака» независимо от его значения, в свое время привели к тому, что для многих кругов языковедов фонетика живой речи как «говорения» оказалась чуть ли не за пределами объекта изучения языкознания, основным предметом которого должна быть якобы только «система» языка, понимаемая при этом не вполне конкретно.

Необходимо указать также на важность экспериментально-фонетического изучения русской речевой интонации (ср. однородные исследования в области английского, французского, немецкого и иных языков). Такого типа исследования внесли бы очень большое оживление в науку о синтаксисе живой разговорной речи, хотя бы в проблему разных интонационно-модальных типов предложения, в понимание структуры многообразных видов сложного предложения, в понятие так называемых «сверхфразных единств» или сложных синтаксических целых. Точно так же экспериментально-фонетические исследования могут продвинуть вперед как теорию сценической речи, так и вообще изучение звучащей художественной речи.

3

Наряду со всеми сложными и взаимосвязанными проблемами, относящимися к изучению строя современного русского языка, закономерностей движущих сил и тенденций его развития, а также к изучению норм современной литературной речи в связи с практическими вопросами нормализации, особенно важное значение приобретает выдвинутая самой жизнью проблема обобщающего характера: «Русский язык и советское обще-

ство». По содержанию, теоретическим основам, по новизне задач и по результатам их разрешения исследование на эту тему может и должно войти в ряды трудов, обобщающих закономерности общественного развития в эпоху социализма, раскрывающих специфику языковых изменений, связанных с социалистическим строительством. В этом исследовании, естественно, будут освещены основные движущие силы развития языка в советском обществе. Сюда относятся изменения в социальной структуре советского общества, вызывающие изменения и в языке, и изменения в производственных отношениях и в производственных в широком смысле потребностях общества, также приводящих к изменениям в речевом употреблении, и своеобразные черты советской социалистической культуры, впитавшей в себя ценнейшие сокровища культуры прошлого, и своеобразные формы взаимодействия между языком советской художественной литературы и стилями книжнописьменной и разговорной речи и под.

Вместе с тем на этой широкой социальной основе еще ярче и острее выступают внутренние закономерности структуры языка и тенденций его современного развития. Исследование «Русский язык и советское общество» должно охватить не только широкие круги лексико-фразеологических, семантических и словообразовательных явлений современного русского языка, но и показать социально обусловленные изменения в его грамматической системе, а также в произносительных нормах. Само собой разумеется, что в труде, посвященном изучению путей и направлений развития русского языка в советском обществе, не могут быть оставлены без рассмотрения процессы влияния современной литературной речи на диалекты, в связи с проблемой дальнейшей судьбы диалектов в условиях социалистического общества, и разнообразные процессы воздействий (особенно в сфере лексики и терминологии) русского языка на другие языки народов Советского Союза, а также процессы их воздействий на русский язык.

Особенно крупных усилий и предварительных работ потребуют обобщающие исследования, относящиеся к характеристике новой складывающейся стилистической системы русского языка и новых критериев в принципах стилистической классификации и оценки лексики, новых процессов и явлений в характере взаимоотношения и взаимодействия устных и письменных стилей речи — газетного, ведомственно-делового, профессионально-технического, разговорно-бытового, просторечно-экспрессивного и др.

Естественно, что обобщающий труд, исследующий процессы развития русского языка в связи с историей советского общества, даст ценные выводы и теоретические установки для изучения путей развития других национальных языков народов нашей страны в Советскую эпоху.

4

Если изучение развития современного русского языка найдет глубокое отражение и специфическое обобщение в труде «Русский язык и советское общество», то в области истории русского языка главные усилия и задачи должны быть сконцентрированы на создании фундаментальных обобщающих трудов по исторической грамматике русского языка, построенной на широкой сравнительно-исторической славистической базе и охватывающей все периоды развития русского грамматического строя, начиная от эпохи восточнославянского языкового единства, на создании полной истории русского языка (включая сюда и историю лексики) и истории русского литературного языка с древнейших времен вплоть до современности.

Для осуществления этих великих задач необходимо расширение круга историко-диалектологических изучений, а также включение в живой научный оборот новых рукописных, неизданных памятников русского языка и новых извлеченных из них данных.

На протяжении предстоящего семилетия будет закончено обследование говоров населенных пунктов на территории всей Европейской части СССР по сетке 15—20 км между пунктами. Картографирование всего этого материала также будет идти параллельно с его собиранием, и мы будем располагать атласами русских народных говоров для всей этой территории к концу данного периода. Завершение работы по изучению говоров методами лингвистической географии явится весьма своевременным в связи с той интенсивной нивелировкой диалектных черт, которую мы наблюдаем в настоящее время. Остается, однако, недостаточно развернутой работа по изучению русских говоров Сибири. Основной задачей является здесь монографическое изучение русских говоров, преимущественно расположенных в Сибири отдельными массивами. В ряде случаев необходимы исследования, которые охватывали бы говоры целого массива с учетом истории формирования данного массива. Картографирование материала окажется здесь, вероятнее всего, лишь частным приемом исследования, применяемым в тех случаях, когда в пределах массива будет наблюдаться дифференциация диалектных черт с территориальной точки зрения.

Значительная задача, связанная с необходимостью в возможно ближайшие сроки собрать и зафиксировать диалектные материалы, заключается в настоящее время в подготовке диалектных словарей для основных территорий, различающихся в диалектологическом отношении. В этой работе Институт русского языка выступает, как, впрочем, и при подготовке атласов, в качестве организующего и руководящего центра, направляющего работу объединяющихся вокруг него кафедр высших учебных заведений.

На основе большой работы, направленной на собирание диалектных данных как при подготовке атласов русских народных говоров, так и при подготовке диалектных региональных словарей, становится все более неотложным исследование ряда проблем более общего характера. Такова прежде всего проблема формирования русского языка во всем многообразии его говоров, которая может в настоящее время разрабатываться на основе углубленной интерпретации изоглосс в свете собственно исторических данных в сочетании с данными памятников письменности. Разработка этой проблемы предполагает также и освещение вопроса о генезисе восточнославянских языков, вместе взятых.

Важную роль сыграют диалектные данные при разработке вопросов о происхождении русского литературного языка и о его связи с народными говорами в процессе его развития.

Должна быть пересмотрена классификация русских народных говоров; в связи с этим в новом свете встает и вопрос о понимании границ между восточнославянскими языками. Открывается возможность создания нового курса диалектологии русского языка.

Историческая фонетика и историческая грамматика русского языка не давали до сих пор систематического обзора поздних процессов исторического развития тех или иных сторон языковой структуры с учетом многообразия этого развития по диалектным группам. В настоящее время есть полная возможность создания ряда монографий по вопросам этого рода, а также создания такого обобщающего труда по истории русского языка, который будет воспроизводить ход развития всех сторон и элементов его структуры с полным охватом всего его диалектного многообразия.

С фактами историко-диалектологического характера при построении исторической грамматики и истории русского языка должны сомкнуться данные, извлеченные из памятников русской письменности, и исторические свидетельства других славянских языков. К сожалению, за послед-

ние годы очень мало внимания уделялось изучению рукописных русских памятников различных периодов, хотя без их изучения невозможна дальнейшая плодотворная разработка важнейших проблем исторической фонетики и исторической грамматики русского языка, не говоря уже об истории русского литературного языка. Между тем у нас в настоящее время даже крупные теоретические исследования в области исторической фонетики славянских языков пишутся порой без обращения к новым письменным источникам, а лишь с использованием прежней и даже главным образом еще дореволюционной литературы.

В фонетическом отношении должны изучаться как памятники, переписанные с южнославянских протографов и переводные (с различных языков и разных жанров), так и оригинальные. Для более поздних периодов (XVI — XVII вв.) недостаточно изучены грамоты.

Изучение письменных памятников необходимо для дальнейшей разработки основных проблем не только исторической фонетики, но и исторической морфологии, поскольку печатные издания, даже хорошие (в лингвистическом отношении), не могут дать вполне адекватной письменному источнику картины. Многие древнерусские памятники, представляющие интерес в морфологическом отношении, до сих пор не изданы и лингвистически не описаны. Морфологические новшества, складывающиеся на русской почве, отражаются и в церковно книжных памятниках, восходящих к южнославянским протографам. В качестве примера такого памятника, который содержит немало морфологических новшеств, может быть названа Рязанская Кормчая 1284 г.

Изучение памятников церковно книжного характера, писанных на Руси, имеет значение для разработки важнейших проблем не только исторической фонетики и исторической грамматики русского языка, но и для разработки истории грамматического строя старославянского и церковнославянского языков, так как для некоторых вопросов в этой области памятники южнославянских изводов не представляют достаточного материала. Некоторые памятники такого рода имеют значение еще в том отношении, что в южнославянских изводах они вообще неизвестны, между тем как представлены в многочисленных русских списках.

Почти совершенно не ведется в последние годы работа по сличению различных списков и редакций важнейших произведений церковно книжного характера, а эта работа имеет огромное значение для истории древнейшего периода русского литературного языка (и не только русского, но и некоторых других славянских).

6

В сущности очень близкий цикл проблем раскрывается перед нами и в сфере изучения других славянских языков. И тут остро дает себя знать необходимость в создании фундаментальных трудов по истории отдельных славянских языков литературных и народно разговорных с их диалектами, по сравнительно-исторической грамматике славянских языков, по разделу славянских этимологий, отчасти в связи с исследованием материальной культуры древних славян по славянской топонимии (например, по вопросам ареала балтийской и славянской топонимии), по проблемам балто-славянских языковых отношений и связей (особенно в области словообразования и акцентологии), по основным проблемам лингвистической географии, включая сюда и создание атласов как отдельных славянских языков, так и общеславянского или межславянского лингвистического атласа, и под.

Понятно, что разработка важнейших проблем славянского языкознания должна вестись в самом тесном согласовании и взаимодействии с развитием основных положений советской, марксистской теории языка. В пер-

спективном семилетнем плане научных исследований в области общего языкознания, предложенном Отделением литературы и языка АН СССР, ближайшее отношение к этому имеют следующие теоретические вопросы: марксистское учение о языке как общественном явлении и критика буржуазных лингвистических концепций; закономерности исторического развития языков и диалектов и проблема периодизации языка; принципы и методы описания и анализа языка; соотношение литературного языка и языка художественной литературы, соотношение языкознания и поэтики, а также вопрос о предмете стилистики как лингвистической дисциплины; язык и общество, основные понятия марксистской теории развития разных общественных явлений, проблема социальных диалектов, арго и жаргонов; соотношение формально-структурных, стилистических и внешне обусловленных элементов в системах грамматического строя, словообразования, словоупотребления и произношения этих разновидностей языка.

В заключение следует вспомнить слова Н. С. Хрущева, сказанные им в связи с изложением перспектив развития советской науки и стоящих перед нею задач: «Семилетний план открывает перед нашими учеными и научными учреждениями широчайшее поле деятельности. Есть где применить силы и знания».

И. И. МЕЩАНИНОВ

РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ КЛАССИФИКАЦИИ ЯЗЫКОВОГО МАТЕРИАЛА

В курсах, затрагивающих основные разделы общего языкознания, ставится первоочередным заданием внесение систематизации в обильный своим разнообразием языковой материал. В этих целях внимание обращается на социально обусловленный звук (фонема), на грамматически оформленное слово с его определенным значением и выполняемой функцией, а также на сочетания слов в законченном построении предложения. Каждая из этих сторон языка в отдельности и все они в своей совокупности могут лечь в основу проводимых классификаций языкового материала.

Учение о фонеме (фонетика), взятое в отдельности как особый раздел учения о языковой структуре, дает классификацию звуков по их физиолого-акустическим свойствам. Фонемы также противоплагаются одни другим, но с учетом их вхождения в состав слова. Тем самым фонемы рассматриваются или каждая в отдельности, или в составе высшей для них единицы, каковой является слово.

Что касается самого слова, то оно выделяется своей грамматической формой и своим же содержанием лексической единицы. То же можно сказать и о сочетаниях слов, когда они получают единое лексическое значение (сложное слово, композита). Все наличные слова равным образом рассматриваются и как отдельные выделяемые грамматически оформленные единицы с им соответствующим содержанием, и как занимающие определенное место в составе другой, высшей для них единицы — предложения. Последнее образуется использованием выступающего в нем состава слов. Оно насыщается содержанием законченного высказывания, которое может быть передано даже одним словом. Отношения между словами в предложении устанавливаются действующими законами синтаксиса.

При выражении этих отношений кроме лексических и синтаксических единиц выделяются также морфологические единицы. Ими устанавливается как форма слова, так и форма самого предложения. В первом случае морфема определяет построение слова как лексической единицы. Во втором — морфема выступает средством передачи тех отношений, которые через членение предложения переносятся на выступающие в нем слова. Здесь морфема, оказываясь оформителем того же слова, включает его в состав синтаксической единицы. Эта последняя использует в своих построениях различные средства, закрепляющие связь между словами. Именное склонение, глагольное спряжение, а также не без основания добавляемые сюда же Ж. Вандриесом ударение, интонация и местоположение¹ являются той материальной основой, которая широко используется синтаксическим строем и без которой остается невыполнимой сама передача существующих отношений, обуславливающих строение всего предложения. Тем самым устанавливается значение морфологической единицы, участвующей в построениях как слова, так и предложения. Морфемы с лексическим назначением служат для строения слов. Морфемы с синтаксическим назначением оформляют слова, устанавливая их положение в предложении.

¹ Ж. В а н д р и е с, *Язык. Лингвистическое введение в историю*, М., 1937, стр. 80—82. Относимые им к числу морфем такие приемы, как интонация и местоположение, можно было бы в отличие от морфем, оформляющих само слово, именовать синтаксемами.

Носителями морфем и в том и в другом случаях остаются сами слова. Двойственность назначения морфем в их отмечаемых разновидностях объединяет их в выделяемом разделе (морфология). В синтаксическом строе предложения морфология занимает свое определенное место, выступая выразителем передаваемых в предложении отношений между его членами, представленными соответствующими словами и их сочетаниями¹.

Таким образом, учение о слове (с его морфологически установленным строением) и учение о предложении (с используемыми в нем средствами морфологии) выделяются как самостоятельные, но взаимно связанные разделы. Слово выступает в предложении, выполняя в нем определенное синтаксическое назначение. Лексическое содержание слова сочетается, таким образом, с его синтаксическим использованием, осуществляемым в предложении. Здесь выступают уже не одни только отношения между словами, но также и отношения между словом и предложением, передаваемые средствами морфологии. В итоге выделяются лексические, морфологические и синтаксические единицы, вступающие в свои взаимные связи.

Разновидности слов, привлекаемых по их лексическому значению для выполнения синтаксической функции, распределяются по частям речи (лексические единицы). Построение отдельно взятого слова в его лексическом и синтаксическом оформлении дает возможность выделять его составные части (морфемы). Их сопоставления ложатся в основу морфологической классификации. Отношения между самими словами возникают в той синтаксической группировке, которая образуется построением предложения. Здесь слова вступают в отношения друг с другом потому, что основные элементы самого предложения вступают между собой в свои отношения: их выразителем служит привлекаемый для того словарный состав языка. В связи с этим слово оказывается в позиции определенного члена предложения (синтаксической единицы).

В центре внимания до последнего времени продолжает оставаться слово с его звуковым составом, лексическим значением и положением в предложении². Благодаря преимущественному вниманию исследователей к слову оказались наиболее обследованными фонетика и морфология. Менее затронутым остается само предложение. О нем говорится в описании строя каждого изучаемого языка там, где приводится обзор положения слова в строении предложения. Тем самым дается остов его структуры. Все же такой обзор ограничивается пределами отдельно взятого языка и составляется в интересах лишь его изучения. Задача выяснения деталей синтаксической типологии в их сравнительных сопоставлениях тут не ставится. Сводного обзора особенностей синтаксического строя разнотипных языков пока еще не имеется.

¹ Здесь, как и во всем дальнейшем изложении, имеются в виду языки с развитым морфологическим строением. В языках аморфных для передачи тех же отношений между членами предложения используются свои синтаксические приемы, лишь частично привлекаемые в языках с морфологическим строем, а в аморфных получающие ведущее значение в построении всего предложения. Сюда относятся местоположение, примыкание и др., которые можно было бы именовать синтаксемами. Выполняя в строе предложения те же функции, что и морфемы, они, в отличие от морфем, имеют одностороннее синтаксическое содержание. Связанные с членением предложения, передающим те же предикативные, атрибутивные и объектные отношения, они сохраняют связь с лексическим составом только в его синтаксическом использовании. Тем самым части речи в этих языках ставятся в особое положение за счет усиливающегося значения членов предложения.

² Ср. O. Behaghel, *Deutsche Syntax. Eine geschichtliche Darstellung*, Bd. I — *Die Wortklassen und Wortformen*, Heidelberg, 1923. В этом труде членение предложения приводит не к членам предложения, а к частям речи, которые выступают в предложении. Остается примерно та же схема, какую дает Н. В. Крушевский (см. «Прибавление. Предмет, деление и метод науки о языке» в его кн. «Очерки по языковедению. II. Антропoфоника», Варшава, 1893): выделяемые им разделы лингвистики сводятся к фонетике, морфологии и синтаксису; последний раздел ограничивается учением о флексии (см. там же, стр. 44).

Между тем различные отношения между предикатом и субъектом, лежащие в центре структуры предложения, не дают единой схемы ни в самих отношениях, ни в их грамматическом оформлении. Сказуемое может согласоваться не только с подлежащим, но и с дополнениями, получая их показатели (ср., например, многочисленные языки Кавказа). Подлежащее ставится не только в именительном падеже, но и в косвенных (ср. в ряде тех же языков, а также в языках чукотской группы, в эскимосских). Разные падежи получает подлежащее при переходных и непереходных глаголах (ср. в тех же языках). Выделяется особый падеж активного производителя (древний урартский, современные картвельские). Падеж подлежащего может зависеть от степени активности действующего лица (бабийский язык), но может зависеть и от семантики глагола (аварский язык). Субъектно-объектные отношения при отсутствии склонения имен могут получать свое выражение в одной только глагольной аффиксации (абхазский). Имеются языки с аморфной передачей отношений между членами предложения, выработавшие другие способы их грамматического выражения, и т. д.¹

В языках аморфного строя выступают различия в оформлении существующих отношений не между словами, а между ими передаваемыми членами предложения. Используемые тут слова являются лишь носителями этих отношений и выражают их своими грамматическими формами. Получающиеся расхождения в грамматических формах слова вполне закономерны. Они обусловлены действующей системой каждого изучаемого языка с ему свойственными грамматическими приемами построения слов, выступающих в соответствующих членах предложения. От этих же приемов зависит и наличный в языке морфологический строй, обслуживающий данную синтаксическую конструкцию. Общим остается само членение предложения, тогда как синтаксические отношения внутри него со способами их грамматической передачи не дают единой схемы.

При всем получившемся разнообразии передаваемых отношений между членами предложения и при всех разнообразиях применяемых для этого грамматических форм все же удается отметить имеющиеся схождения в способах выражения синтаксических отношений. Эти схождения дают возможность проводить синтаксические группировки как по самим способам передачи отмечаемых отношений сходными построениями слов, так и по сопоставляемым языкам, сближаемым по их синтаксической конструкции. Уточнение положения того или иного способа выражения синтаксических отношений в строе языка путем использования сравнительной типологии разносистемных языков углубит исследование всего языкового строя и обогатит выделяемое оформление слова за счет изучения его обуславливающих синтаксических форм. Тем самым строение языка окажется взятым и по морфологическим, и по синтаксическим показателям. Но последние еще нуждаются в дополнительном анализе для выяснения выступающих в них группировок. В интересах общего учения о языке предстоит к существующей морфологической классификации присоединить недостающую классификацию по синтаксическим приемам построения предложения².

¹ Выступающие тут расхождения вовсе не ограничиваются одними грамматическими формами. Даже отношения между членами предложения неодинаковы во всех языках. В аварском падеж подлежащего зависит от семантики глагола, выражающего сказуемое. В индоевропейских языках такой ярко выраженной зависимости не наблюдается. Все эти расхождения обусловлены различием языковых систем и потому непосредственно связаны с языковым материалом. Обзор самого материала частично дается мною в работе, ²подготавливаемой к печати.

² Г. Глинт, приступая к членению предложения в немецком языке, выделяет в нем *Stellungsgliedern* в которые включаются также и синтаксические группы (см. H. Gl i n z, *Die innere Form des Deutschen. Eine neue deutsche Grammatik*, Bern, 1952). Предлагаемая им схема в применении ее к языкам разных систем могла бы лечь

Языковой материал, привлекаемый в нашей статье для характеристики отмеченных выше основных построений слова и предложения, относится к различным системам языков. Широко применяемые здесь сопоставления берут из разных языков то, что их объединяет только в части морфологии и синтаксиса. Лексика и тем более фонетика привлекаются тут лишь частично, поскольку это зависит от целевой установки проводимого исследования. Такому их обособленному изучению противопоставляется группировка языков по сложившимся цельным системам (генеалогическая классификация), которая распределяет языки по семьям, устанавливая общие для них показатели, свидетельствующие о родственных между ними связях.

Фонема участвует в образовании слова. Последнее выступает в строю предложения. Все эти три единицы, сохраняя свое значение, остаются в каждом языке тесно связанными друг с другом. Объединение этих языковых единиц образует цельную систему, ею устанавливаются ведущие лексические и грамматические категории изучаемого языка, которые в системе языка выступают в объединении¹. Путем сравнения ряда языков по их характеризующим признакам проводится распределение этих языков по группам, которые, таким образом, строятся не по отдельно взятым грамматическим категориям и не на сличении одного только лексического состава, но на их совокупности, вскрывающей наличные расхождения между языками и одновременно их же схождения по основным структурам сопоставляемых систем.

Связь, существующая между лексическими и грамматическими категориями, наиболее ясно выделяется именно в такой сложившейся системе отдельно регистрируемого языка. Этим объясняется то преимущественное положение, которое занимает сравнительно-исторический подход, выясняющий содержание сложившейся системы и положенный в основу проводимых группировок языков по генеалогической классификации. Только генеалогическая классификация дает возможность такого комплексного подхода к изучаемому материалу. Одной лишь фонетики и отдельно взятой лексики или грамматики с обособленным подходом к морфологии и синтаксису оказывается далеко недостаточно для даваемой характеристики каждого отдельно изучаемого языка: он выделяется среди других языков именно сложившейся совокупностью этих своих сторон. В свою очередь слагаемые части такого комплекса получают ему присущие свойства. ими характеризуется данный язык и та группировка, которая устанавливается сравнительными сопоставлениями языков, близких по своей структуре. Изучение строя каждого отдельно взятого языка замыкается здесь в его собственном материале, который вовсе не выступает представителем конструктивной схемы, единой для всех языков мира. Всестороннего охвата разновидностей морфологии и синтаксиса генеалогическая классификация сама по себе дать не может.

Фонетика, морфология и синтаксис получают свои классификации по образуемым в них системам. Такая их классификация не совпадает с генеалогической. Как известно, в основу всех классификаций ложатся определенные системы, привлекаемые к их изучению и описанию. Генеалогическая классификация имеет в виду систему данного языка в ее целом, объединяя все три указанные выше раздела строения языка. Морфологическая и синтаксическая же рассматривают каждый из разделов строения языка в отдельности. Цельной системе сложившегося языка с его лексикой, фонетикой, морфологией и синтаксисом противопоставляются системы этих

в основу синтаксической классификации с условием учета тех разновидностей отношений и выражающих их грамматических форм, какие выступают в каждом изучаемом языке.

¹ Лексические и грамматические категории могут рассматриваться также каждая в отдельности; в таком виде они обычно и излагаются в описаниях соответствующих грамматик, но связь, существующая между ними, при этом не устраняется.

же его основных отделов. Различная целевая установка обуславливает различный подход к самому материалу. Собираемый для генеалогической классификации, он ограничивается кругом языков, сближаемых по всему их строю. Материал, сосредоточиваемый для морфологической и синтаксической классификации, ограничивается их собственными построениями и прослеживает их в языках самых различных группировок.

По отдельно взятым фонетическим, морфологическим и синтаксическим категориям могут сходиться и неродственные языки. (Ср., например, языки с эргативным строением предложения, использующим разные падежи подлежащего в зависимости от переходности и непереходности действия. Сюда включаются языки Кавказа, чукотской группы и эскимосские дальнего Севера, баскский в Испании, индейские в Америке и ряд других.) Путем широкого охвата языков выясняются основные категории фонетики, морфологии и синтаксиса. Сводные по ним работы используют соответствующие разделы грамматик языков, группируемых генеалогической классификацией, и уточняют содержание этих разделов. Морфологическая и синтаксическая классификации не заменяют собою генеалогической, но дополняют ее, выясняя сравнительными сопоставлениями структуру изучаемого языка в его морфологических и синтаксических построениях.

Решающим в исследовательской работе остается анализ материала в его всестороннем освещении. Его не даст ни одна из упомянутых выше классификаций. Из них генеалогическая, ближе всего стоящая к комплексному анализу языковой конструкции, ограничена охватом языков, родственных по своему строю. Подход к строю языка благодаря этому получается односторонним. Между тем каждый язык отличается от другого, даже близко родственного, своими особенностями грамматических построений, выявить которые можно только типологическими сопоставлениями. Но эти сопоставления не нужно ограничивать случайно взятыми сравнениями грамматических форм.

Типологические сопоставления приводят к соответствующим классификациям морфем и синтаксических построений. И эти классификации, при широком охвате ими языков, все же остаются замкнутыми односторонним подходом или к морфологическим, или к синтаксическим единицам: положение, занимаемое той или иной единицей в комплексе языкового строя, тут не дается. Такие классификации становятся необходимыми в исследовательской работе, но они получают свое практическое применение при учете данных также и генеалогической классификации. Тем самым устанавливается тесная связь между отмеченными выше классификациями.

*

В сводных обзорах, где делаются попытки установить структуру языка, наиболее сложными и наименее изученными остаются те отношения, которые существуют между лексическими единицами и синтаксическими, в частности между частями речи и членами предложения. Слово выступает в предложении. Последнее разбивается на синтаксические группировки — ведущие в построении предложения (предикативные) и включаемые в состав первых (атрибутивные и объектные). В них используются соответствующие по своему значению слова, лексически распределяемые по частям речи. Тем самым лексическое содержание слова ставится в связь с его синтаксическим использованием. Слово, относимое к определенной части речи, оказывается в позиции соответствующего члена предложения. Как часть речи, так и член предложения, несмотря на существующую между ними связь, выступают каждый со своим значением¹.

¹ См. об этом: K. F. Becker, *Organism der Sprache als Einleitung zur deutschen Grammatik*, Frankfurt am Main, 1827; H. Paul, *Prinzipien der Sprachgeschichte*, Halle a. S., 1937; H. Glinz, *Geschichte und Kritik der Lehre von den Satzgliedern in der deutschen Grammatik*, Bern, 1947; ег о ж е, *Die innere Form des Deutschen*, и др. Критический обзор высказываний о классификации членов предложения

Слова, попадающие в словарь, определяются в нем по своему собственному содержанию и иллюстрируются показом их использования в предложении, тогда как члены предложения устанавливаются его же строем и, в свою очередь, иллюстрируются в грамматиках соответствующими примерами с привлекаемым для того составом слов. Тем самым части речи вступают во взаимные отношения с членами предложения, не сливаясь в одну общую для них грамматическую категорию. Лексическая единица и синтаксическая не поглощают одна другую, хотя и воздействуют друг на друга. Это не приводит к единству лексической единицы с синтаксической, хотя части речи и выступают в членах предложения¹.

Лексические и синтаксические единицы не отождествляются даже тогда, когда их объединяет общее содержание. Предметное и атрибутивное значения присущи как частям речи, так и членам предложения. Имя существительное содержит предметное значение, тогда как прилагательному свойственна передача атрибутивного. Такое же различие противопоставляет подлежащее определению. Части речи, используемые в предложении, выступают в его членах и в тех группировках, которые объединяют члены предложения. Выступая в предложении, слово может соответствовать по своему значению тому содержанию, какое имеет член предложения, включающий в свой состав это слово, но наблюдаются также отдельные случаи значительных расхождений; к примеру, сказуемое обычно передается глаголом (вербальное сказуемое), но в качестве того же члена предложения может выступать и имя (именное сказуемое) и т. д.

Относительная свобода использования слова в членении предложения, возможность помещения слова в необычной для него синтаксической позиции указывают на известную степень самостоятельности выступающих в предложении лексических и синтаксических единиц. В связи с этим усложняются функции словоизменительных морфем. Они, оформляя соответствующее слово, устанавливают в то же время и его положение в предложении. Тем самым морфемы становятся в связь и с лексическими, и с синтаксическими единицами. Выполняя двоякое назначение, такие морфемы могут в зависимости от действующей языковой системы закрепляться не только за частью речи, определяя ее синтаксическое положение, но и за самим членом предложения, в котором выступает та или иная часть речи.

Такую связь частей речи с членами предложения, из которых и то, и другое сохраняют свое самостоятельное значение, можно проследить в любой структуре языка. Везде член предложения обуславливает грамматическую форму выступающей в нем части речи, остающейся всегда носителем этой формы, поскольку член предложения не может выступать вне передачи его соответствующими словами. Все же отношение самих морфем к лексическим единицам различно в разных языках: оно устанавливается строем языка. В тех языках, где части речи, выступая в предложении, получают свое морфологическое оформление, морфемы сохраняют лексико-синтаксическое значение. В тех же языках, где в построениях предложения члены его выделяются своими морфемами, последние получают одно-стороннее синтаксическое назначение. Для примера остановимся на предикативном построении именного сказуемого, привлекая материалы различных языков.

Именное сказуемое получает различные построения, что подтверждается сравнительными сопоставлениями языков разных систем. Это дает ос-

см.: П. И. Поллер, О системах членения предложения в зарубежной грамматической литературе (Критический обзор), сб. «Проблемы изучения языка», М., 1957; T. Milewski, [ред. на книги:] I. I. Mieszczaninow, Prace M. J. Marra o języku; I. I. Meščaninov, «Nové učení o jazyku» v SSSR v jeho současné vývojové fázi; И. И. Мещанинов, Глагол, «Lingua posnaniensis», I, Poznań, 1949, стр. 303—335; J. Knobloch, La situation actuelle de la linguistique soviétique, «Lingua», vol. III, 2, 1952.

¹ См. об этом также F. Slotty, Wortart und Wortsinn, TCLP, 1, 1929.

нование ближе подойти к выяснению того содержания, какое вкладывается в морфемы, используемые для выражения этого сказуемого. Выполняя одну и ту же функцию в его составе, словоизменительные морфемы занимают в нем различное положение. Оно зависит от действующей системы каждого изучаемого языка. В одних языках предикативные морфемы оформляют глагольную связку, в других — само имя, что ставит эти морфемы в различные отношения к члену предложения и к тем частям речи, которые в нем выступают.

В индоевропейских языках носителем предикативных показателей при именном сказуемом остается связка. Выступающий тут вспомогательный глагол, сочетаясь с именем, оставляет само имя без этих показателей. Таким образом, морфемы, относимые к парадигмам спряжения, остаются в названных языках вербальными показателями и тем самым закрепляются за соответствующей частью речи (глаголом и вербальной связкой в именном сказуемом). Само имя если здесь и изменяется в своем морфологическом составе, то все же по тем нормам, по которым изменяются именные формы вне сказуемого. Имя в составе сказуемого может склоняться (ср. *Он был хорошим учеником*). Синтаксические морфемы связываются тут с выступающими частями речи.

Иное положение занимают такие же показатели лица и времени в тех языках, в которых имя в сказуемом может само оказаться носителем предикативных морфем, получая их в своей собственной аффиксации. В кабардинском, например, имя в составе сказуемого спрягается так же, как глаголы состояния; ср. в настоящем времени: *Сы-щыс-щ* «Я сижу», *У(ы)-щыс-щ* «Ты сидишь», *Щыс-щ* «Он сидит»; *Сы-щГалэ-щ* «Я юноша», *У(ы)-щГалэ-щ* «Ты юноша», *ЩГалэ-щ* «Он юноша». Как глагол состояния, так и именное сказуемое получают одинаковую грамматическую форму: в префиксах стоят личные местоименные показатели, в конце поставлен предикативный суффикс *-щ*. Такое же совпадение форм глаголов состояния и именного сказуемого прослеживается и в других временах; ср. в прошедшем I (завершенном): *Сы-щыс-а-щ* «Я сидел (сел)», *У(ы)-щыс-а-щ* «Ты сидел», *Щыс-а-щ* «Он сидел»; *Сы-щГэл-а-щ* «Я был юношей», *У(ы)-щГэл-а-щ* «Ты был юношей», *ЩГэл-а-щ* «Он был юношей» (перед предикативным суффиксом *-щ* стоит показатель времени *-а-*); в будущем I: *Сы-щысы-н-у-щ* «Я буду сидеть», *Сы-щГэлэ-н-у-щ* «Я буду юношей, стану молодым» (к показателю «безвременной» формы *-н-* прибавляется показатель времени *-у-*).

Употребляясь в качестве других членов предложения (не в составе именного сказуемого), имя получает в кабардинском языке падежные окончания: *ЩГалэ-м тхылгы-р йы-тх-а-щ* «Юноша письмом написал» [подлежащее стоит в форме косвенного падежа на *-м*, выступающего здесь в значении эргативного, прямое дополнение поставлено в прямом падеже. Переходный глагол имеет в префиксе притяжательное местоимение 3-го лица ед. числа (*йы*), в суффиксе выступает показатель времени *-а-* (прошедшее I) и предикативный показатель *-щ*. В качестве показателей лица в глаголах состояния используются личные местоимения, в которых 3-е лицо — нулевое]; *ЩГалэ-р щыс-а-щ* «Юноша сидел» (при глаголах состояния подлежащее становится в прямом падеже). В последнем примере глагол *Щыс-а-щ* «Он сидел» имеет ту же грамматическую форму, как и именное сказуемое *ЩГэл-а-щ* «Он был юношей».

Именное сказуемое в этих построениях резко отличается от такого же сказуемого в индоевропейских языках, в которых имя, даже в составе сказуемого, может сохранять нормы именного склонения. В кабардинском, наоборот, само имя может присоединять предикативные показатели и тем самым получать грамматическую форму, общую для него с непереходными глаголами и глаголами состояния: *Сы-кГу-а-щ* «Я пошел», *Сы-щыт-а-щ* «Я стоял», *Сы-щакГу-а-щ* «Я был охотником».

В приведенных примерах ясно выступает оформление частей речи по

соответствующим членам предложения. Одни и те же слова склоняются в позиции подлежащего и спрягаются в сказуемом: *Мы-лажэ-р — хуэмыху-иц* «Неработающий — лодырь» (подлежащее имеет префикс отрицания *мы-* и суффикс прямого падежа *-р*; сказуемое оканчивается на предикативный суффикс *-иц*). Те же два слова, переставленные в членении того же предложения, получают в подлежащем падежное окончание, а в сказуемом — его предикативную аффиксацию: *Хуэмыху-р — мы-лажэ-р-иц* «Лодырь — неработающий» («Лодырь — это тот, кто не работает»)¹. Подлежащее имеет свое оформление, так же как и сказуемое. Выступающие тут морфемы оказываются показателями не части речи, а члена предложения. Такая грамматическая форма обусловлена в приведенных примерах выделением сказуемого интонацией и паузой. Более ясно эта же предикативная форма выступает в одночленном предложении, где в самом сказуемом уже передается законченное высказывание; ср. для примера сочетание придаточного предложения с главным, представленным одним сказуемым: *Сэ кэлэм сы-ицы-кIуэ-кIэ, сы-ицIэл-а-иц* «Когда в город я ездил, я был юношей». Причастная форма глагола в придаточном предложении получает суффикс *-кIэ* и префикс места *-ицы-*, помещенный после показателя 1-го лица (*сы-*). В главном предложении стоит именное сказуемое указанного выше построения.

В таких предложениях можно переставлять сочетаемые в них слова. Они получают грамматическую форму по тому члену предложения, в функции которого они выступают: *ИцIалэ-м тхылгы-р езых-а-р егъэд-жакIуэ-р-иц* «Юноше книгу подаривший — (это) учитель». Первое имя стоит в косвенном падеже (*-м*), второе имя и причастие прошедшего времени (на *-а-*) действительного залога поставлены в прямом падеже (*-р*); сказуемое имеет суффикс определенности *-р* и за ним — показатель предикативности *-иц*. Ср. *Егъэд-жакIуэ-м тхылгы-р езых-а-р ицIалэ-р-иц* «Учителю книгу подаривший — (это) юноша» (ср. тот же пример со сказуемым в прошедшем времени: *Егъэд-жакIуэ-м тхылгы-р езых-а-р ицIэл-а-иц* «Учителю книгу подаривший был юноша»); *Егъэд-жакIуэ-м ицIалэ-м йырит-а-р тхылг-иц* «Учителем юноше подаренное — (есть) книга». Оба имени существительные стоят в косвенном падеже (*-м*), причастие страдательного залога получает пную префиксацию (*йы-ри-*), именное сказуемое сохраняет суффикс предикативности *-иц*. Ср. фразу с именным сказуемым в прошедшем времени: *Тхылг-а-иц* «Была книга», а также предложение с вербальным сказуемым: *ИцIалэ-м тхылгы-р йытх-а-иц* «Юноша книгу написал»².

В том же кабардинском языке такие же сочетания слов могут выступать с иным членением. Из двух приведенных выше предложений, придаточного и главного, образуется одно двучленное, в котором придаточный оборот обращается в комплекс подлежащего, а главное одночленное предложение становится сказуемым. Здесь именное сказуемое представляет собой сочетание имени со связкой. В таком двучленном предложении морфемы получают другое назначение. Имя как вне сказуемого, так и включенное в его состав сохраняет за собой падежные окончания, тогда как предикативные показатели сосредоточиваются в вспомогательном глаголе: ср. вербальное сказуемое в двучленном предложении: *ЕджакIуэ-р тх-а-иц* «Ученик писал» и именное сказуемое в двучленном предложении: *Тхылгы-р зых-а-р еджакIуэ-р иц-а-иц* «Письмо написавший ученик был»³; *Мылажэ-р хуэмыху-р ар-иц* «Неработающий лодырь тот есть». Именное сказуемое в этих двучленных предложениях получает сложное построение и состоит из имени и связки, каждое из которых имеет свою грамматическую форму. Показатели предикативности переносятся на связку.

¹ См. Н. Ф. Яковлев, Грамматика литературного кабардино-черкесского языка, М.—Л., 1948, стр. 12, 40, 44—47.

² Глагол имеет в префиксе местоименный показатель 3-го лица ед. числа *йы-*.

³ В причастиях выступает префикс отношения *зы-*.

Освобожденное от них имя подчиняется именному склонению. Оно ставится в том же падеже, как и подлежащее (оба стоят в прямом падеже на *-р*). Морфемы предикативности остаются за вербальной единицей, передаваемой вспомогательными глаголами *цым-а-иц* «был», *ар-иц* «тот есть»¹.

В таких конструкциях предложения имена противопоставляются глаголам по самому своему морфологическому оформлению. Склонение сохраняется за первыми, спряжение — за вторыми. Здесь словоизменительные морфемы относятся уже к частям речи. Всё же эти последние, получая свои парадигмы склонения и спряжения, используют их в соответствии с теми членами предложения, в которых они выступают (подлежащее ставится в эргативном и прямом падежах в зависимости от переходности и непереходности действия, прямое дополнение стоит в прямом падеже и т. д.). Такие морфемы выполняют синтаксические задания. Тем самым связь частей речи с членами предложения сохраняется и тут².

Части речи сохраняют свое значение как при закреплении за ними соответствующих морфем, так и тогда, когда морфемы приурочиваются к определенным членам предложения. Части речи остаются теми же. Кабардинское *егэджак/уэриц* «(это) учитель» является именем существительным в предикативной форме. Получив показатель сказуемости, слово не перешло в другую часть речи, а осталось в пределах той же. Его грамматическая форма подчинилась члену предложения, в функции которого слово выступает.

Такое же их положение сохраняется и тогда, когда словоизменительные морфемы закрепляются за самими частями речи, когда имена склоняются, а глагол спрягается. Их оформляющие морфемы оформляют также и соответствующий член предложения, передавая те отношения, которые устанавливаются между словами в структуре предложения. В именительном падеже индоевропейских языков ставится имя, выступающее подлежащим, в винительном падеже стоит прямое дополнение и т. д. Приурочиваемая к слову морфема здесь не только не отрывается от синтаксического назначения, а наоборот, она появляется для выполнения этого назначения. Тем самым перед исследователем ставится задание уточнить отношения, существующие между частями речи и членами предложения и обуславливающие различное положение привлекаемых для этого морфологических единиц. Единой для всех языков схемы этих отношений не существует.

Лексическая единица присоединяет к своему лексическому содержанию соответствующее синтаксическое значение в соответствии с тем, каким членом она оказывается в строе предложения. Значение слова тем самым уточняется. Его содержание варьируется в своих оттенках в зависимости от положения слова в предложении и от той функции, какую оно в нем выполняет, но само слово как лексическая единица остается тем же.

Определение, в функции которого обычно выступает прилагательное, может передаваться также и существительным (ср. русск. *изделия из камня*, франц. *mouchoir de soie*, казах. *мас уй* и др.). Существительное, оказавшись в позиции члена предложения с атрибутивным значением, остается тем не менее в пределах той же части речи с ее предметным содержанием, получая атрибутивное значение лишь в определенной синтаксической группировке. Так же и прилагательное субстантивируется и при этом переходит в другую часть речи не тогда, когда выступает подлежащим. Оно и тут сохраняется в той же части речи, используемой в иной синтаксической позиции, в ином члене предложения. Оно субстантивируется синтак-

¹ В состав вспомогательного глагола *ар-иц* входит указательное местоимение 3-го лица *ар* «тот».

² См.: «Грамматика кабардино-черкесского литературного языка», М., 1957, стр. 171—174; Г. Турчанинов, М. Чагов, Грамматика кабардинского языка, I, М.—Л., 1940, стр. 115, 143—145, 148; Б. М. Кардапов, Глагольное сказуемое в кабардинском языке, Нальчик, 1957, стр. 17, 29—38, 52—54, 131—137.

сически, но не лексически. Прилагательное переходит в другую часть речи, в разряд имени существительного, когда оно превращается в лексикоморфологическую единицу, имеющую предметное содержание (ср. *столовая* и *столовая посуда*).

Переключение слова из одной части речи в другую, связанное также и с синтаксическим его использованием, происходит не в строении самого предложения, а в выделяемом составе лексики. Такой переход имеет место внутри самих частей речи. Слово *столовая* становится именем существительным, потому что за ним закрепляется предметное, а не атрибутивное значение; противопоставление указанных значений осуществляется в этом случае не членами предложения, а частями речи. В этом новом значении *столовая* выступает как лексическая, а не как синтаксическая единица. Рассматриваемое слово сохраняет это значение и тогда, когда включается в сочетания слов, образующих строй предложения со своим собственным членением. Лексические и синтаксические единицы здесь не отождествляются, а сопоставляются.

Члены предложения отличаются своей устойчивостью как определенные синтаксические единицы, наличные во всех языках, несмотря на разнообразие их систем. Члены предложения, выделяемые в разных языках, могут различаться по тем отношениям, которые устанавливаются между ними в каждом языке, но само членение предложения по лежащим в его основе предикативным, атрибутивным и объектным отношениям остается тем же. Для передачи этих отношений используются соответствующие члены предложения, сохраняющие везде закрепленное за ними значение. Части речи устойчивы как лексические единицы. Но они при своей основной функции могут выполнять второстепенные, выступая в разных членах предложения. Части речи могут в связи с этим давать новые образования в самой своей классификации, отвечая структуре данного языка (ср. «категория состояния» в русском), и получать в каждой системе языка присущие ей особенности.

Тем самым обуславливается взаимная связь членов предложения и частей речи. Первые из них могут использовать разные части речи. Последние могут выступать в различных синтаксических позициях. Этим устанавливается устойчивость синтаксических единиц при устойчивости лексических только в их лексическом содержании, но не в их же синтаксическом употреблении. Слово может изменяться в своем лексическом содержании, образуя новую лексическую единицу. Оно же может занимать разное положение в строении предложения. Имеют место лексические деривации с образованием нового слова (куда включаются также отмеченные выше переходы из одной части речи в другую) и синтаксические деривации с различным использованием лексического значения слова в построении самого предложения, что имеет место при выступлении слова во вторичных для него синтаксических позициях с сохранением его в составе той же части речи. Тут же знаменательное слово может приобретать служебное назначение¹.

Таким деривациям подвергаются не синтаксические единицы, а лексические. Слово, получив новое содержание путем словообразовательных морфем, становится новой лексической единицей (лексическая деривация). Слово, включенное в состав предложения, остается той же лексической единицей, хотя может выступать в качестве разных членов предложения. Получается синтаксическая деривация в использовании одной и той же лексической единицы. Части речи вступают здесь в различные отношения с членами предложения, что и закрепляет указанные деривации за лексическим составом языка.

Такой подход к строению языка вновь приводит к тем отношениям, которые устанавливаются между словом (лексической единицей) и предло-

¹ Ср. об этом: J. K u r y ł o w i c z, *Dérivation lexicale et dérivation syntaxique* (Contribution à la théorie des parties du discours), BSLP, t. XXXVII, fasc. 2, 1936.

жением (синтаксической единицей). Лексический состав языка разбивается на слова, результатом группировки которых оказываются части речи. Предложение разбивается на свои членения, которые в его построениях могут передаваться как одним словом, так и сочетанием слов, образующим синтаксические группы. В предложении *Хорошая лошадь быстро бежит* выступают группа подлежащего и группа сказуемого. В этих группах выделяются ведущий (главный) член и его дополняющий (второстепенный). В приведенном выше предложении передаются отношения между ведущими членами предикативной группы (подлежащим и сказуемым) и отношения между ее членами (атрибутивные группы, представленные сочетаниями ведущих членов с определением и обстоятельством). Выразителями этих отношений выступают использованные в предложении слова¹.

Наличные здесь слова выступают в соответствующих членениях предложения, в основу которых ложатся не эти слова, а те отношения между самими членами предложения, выразителями которых являются используемые слова. Поэтому подход к членению предложения должен исходить из него самого. Выступающие в нем слова с их грамматическим оформлением остаются его материальной основой, по которой устанавливаются связи между отдельными членами предложения².

¹ См. также: O. Jespersen, *Language. Its nature, development and origin*, London, 1925; его же, *The system of grammar*, London — Copenhagen, 1933; И. И. Мещанинов, *Члены предложения и части речи*, М.—Л., 1945; H. G l i n z, *Die innere Form des Deutschen*.

² См. также: Л. В. Щерба, *Очередные проблемы языковедения*, ИАН ОЛЯ, 1945, вып. 5; J. V e n d r y e s, *La comparaison en linguistique*, BSLP, t. XLII (1942—1945), fasc. 1, 1946.

В. К. ЧИЧАГОВ

О ДИНАМИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЕ РУССКОГО
ПОВЕСТВОВАТЕЛЬНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ *

§ 1. Тема настоящей статьи относится к области русской речевой интонации. Каждое русское предложение в фонетическом отношении характеризуется определенной интонацией. Интонация является важнейшим структурным элементом предложения как единицы речи.

Слово «интонация» в русской лингвистической литературе до сих пор не получило значения термина и употребляется обыкновенно в двух значениях: чаще всего — как обозначение совокупности ряда явлений, образующих фонетическое предложение: высоту тона, силу, темп и тембр¹, затем как обозначение только первого из перечисленных выше составов фонетического предложения — изменения высоты тона. В этой работе слово «интонация» будет употребляться в первом из указанных значений, для обозначения же изменений высоты тона мы принимаем, вслед за другими, термин «мелодика».

Данная статья посвящена изучению одного из перечисленных выше составов русской интонации, а именно — явлениям с и л о в н о г о п р о з н о ш е н и я, которые в дальнейшем, как и другие исследователи, мы будем называть д и н а м и ч е с к и м и, или с и л о в ы м и. Наблюдения наши над указанными явлениями в основном относятся только к тем предложениям, которые принято называть повествовательными.

§ 2. Словые, или динамические, явления русской речи изучены очень слабо, даже по сравнению с мелодикой. Основной причиной отставания изучения русской интонации, в частности — ее динамических явлений, являются прежде всего технические трудности: интонационные явления, в числе их и динамические, трудно бывает уловить простым слухом в достаточной полноте, еще труднее записывать их, а в связи с тем и другим не менее трудно и исследовать. Только развитие экспериментальной фонетики, основанной на применении усовершенствованных приборов, может помочь русистам ликвидировать это отставание.

Отлично сознавая все это, автор настоящей статьи тем не менее решает опубликовать работу, основанную на наблюдениях простым слухом и на самонаблюдении, считая, что исследуемые явления доступны для проверки на своей собственной речи каждому русскому. Подобные наблюдения могут послужить и некоторым новым толчком к исследованию русской речевой интонации, и не только с помощью обыкновенного слуха, но и с помощью достижений современной техники.

§ 3. В русской лингвистической литературе описание динамических (словых) явлений предложения обыкновенно сводится к указанию на на-

* Настоящая статья покойного лингвиста В. К. Чичагова представляет собой главу из большого неоконченного труда, посвященного вопросам интонации, словорасположения и различий в «стилях говорения» современного русского языка. Статья подготовлена к печати О. Г. Гецевой. — *Ред.*

¹ Ср., например, В. Всеволодский-Гернгросс, Теория интонации, Пг., 1922, стр. 5. Нельзя не вспомнить, что подобным же образом понимал интонационные особенности речи еще двести лет назад М. В. Ломоносов (см. его «Российскую грамматику», Полн. собр. соч., т. 7 — Труды по филологии, М.—Л., 1952, стр. 395—396).

личие в предложении так называемого логического ударения или, в лучшем случае, — еще одного или нескольких ударений меньшей силы, которые одними исследователями называются «фразовыми» (Л. В. Щерба), а другими никак особо не называются (А. М. Пешковский). Однако динамические, или силовые, явления русского предложения состоят не только в ударениях, хотя за последними и должно быть признано большое значение.

Л. В. Щерба в своем исследовании о восточнолужицком наречии посвятил специальный раздел фонетической характеристике фразы обследованного им наречия. В этом разделе он между прочим писал: «фонетическая фраза характеризуется тем, что слова, входящие в нее, за исключением слова или слов, которые носят так называемое логическое ударение, имеют менее выраженные ударения, а то и вовсе их не имеют»¹. Эти слова Л. В. Щербы сохраняют полную силу и по отношению к русскому языку. Поэтому А. Н. Гвоздев с полным основанием пишет, что в русском языке «сила ударений в ряде слов, составляющих одно предложение или словосочетание, неодинакова. Обычно в предложении выделяют одно наиболее сильное ударение, которое и получило название фразового, или логического, ударения. ...несомненно, что имеется целый ряд градаций по силе и среди слов, не имеющих фразового ударения»².

Таким образом, в интонации каждого предложения, наряду с его мелодией или мелодической структурой, представляющей собой известное движение тона, следует различать его динамику или его динамическую структуру, представляющую собой движение силы произношения в пределах интонации того или иного предложения. Согласно сказанному выходит, что ударяемыми словами в составе предложения, в том числе и логически ударяемыми, не исчерпываются динамические явления предложения. Более того, сами эти ударяемые слова или ударения не являются в интонации предложения чем-то стоящим на особом положении, изолированным, а тем более привносимым говорящим извне, а являются лишь элементами динамических структур соответствующих предложений. Итак, в интонации предложения, наряду с его мелодией или мелодической структурой, следует различать не просто ударения, а определенную динамическую структуру, которая существует в ней одновременно и неразрывно со структурой мелодической. Изучение указанных явлений должно состоять не только в констатировании наличия логического ударения или ударений в предложении, как это обычно делалось до сих пор, а в описании различных динамических структур предложения, подобно тому как при описании мелодических явлений предложения никогда не ограничиваются описанием одних наибольших повышений тона.

§ 4. О динамических явлениях современной русской речи нам известно очень немногое. И это немногое в основном сводится к учению о так называемом логическом ударении или ударении в предложении. Термин «логическое ударение» хотя и определяется издавна более или менее одинаково, однако это не мешает тому, что разные авторы, в том числе и лингвисты, принимают за логическое ударение разные фонетические явления в интонации предложения.

Хотя учение о логическом ударении было хорошо известно и в XIX в. и с тех пор изменилось мало, однако было бы неправильно сказать, что изучение динамических явлений русской речи в XX в. вперед не продвинулось: были высказаны новые мысли, сделаны новые наблюдения. Наибольший интерес представляют для нас высказывания А. М. Пешковского и Л. В. Щербы.

¹ Л. В. Щерба, Восточнолужицкое наречие, т. I («Зап. ист.-филол. фак-та Имп. Петрогр. ун-та», ч. СХХVIII), Пг., 1915, стр. 38.

² А. Н. Гвоздев, О фонологических средствах русского языка, М.—Л., 1949, стр. 105—106.

§ 5. Рассматривая интонацию как «способ выражения категории сказуемости», А. М. Пешковский пишет: «Интонационный способ есть не что иное, как особый вид ударения, которое мы делаем на о д н о м из слов фразы. Ударение это обычно называется «логическим», но на самом деле по происхождению своему оно может быть и логическим, и психологическим, и до некоторой степени грамматическим... и даже чисто ритмическим (когда во фразе не выделяется никакого логического или психологического центра), и потому его лучше всего называть безразличным в отношении происхождения термином **фразное ударение**. Так вот именно фразное ударение, о б ъ е д и н я ю щ е е и о б у с л о в л я ю щ е е в интонационном отношении всю фразу, но помещающееся только на о д н о м ее слове, и является выразителем того, что фразы эта сказана не говорильной машиной и не с экспериментальным удалением мысли из речи, а является естественным выражением человеческой мысли. ...Ударение это имеет три основных вида: повествовательный, вопросительный и восклицательный. В тех случаях, когда вся фраза состоит из одного слова, оно, конечно, помещается на этом единственном слове... Когда же во фразе несколько слов, оно может поместиться на л ю б о м полном слове»¹.

Критика А. М. Пешковским термина «логическое ударение» не лишена некоторых оснований. Попытки связать это ударение — явление по природе своей языковое — с логикой действительно делались². Но, с другой стороны, термин «фразное ударение», предложенный А. М. Пешковским, сам не лишен существенных недостатков: он не указывает на функции обозначаемого им ударения. Между тем термин «логическое ударение» может быть понят (и понимается многими) как указание на функцию этого ударения в речи, как указание на то, что с этим ударением связана интонационная, а вместе с нею и смысловая законченность предложения, хотя бы и относительная. Поэтому термин «фразное ударение» и оказался не в состоянии вытеснить термин «логическое ударение».

Не получила научного применения и мысль А. М. Пешковского о трех видах фразного ударения: повествовательном, вопросительном и восклицательном. Это различие, основанное на внешних по отношению к изучаемому явлению фактах (типах предложений, в которых это ударение обнаруживается), очень мало может содействовать уточнению наших представлений о динамических явлениях русского предложения.

Не можем мы согласиться и с положением, получившим очень широкое распространение в нашей лингвистической литературе, согласно которому логическое («фразное») ударение в предложении «может поместиться на любом полном слове». Получается, будто между логическим («фразным») ударением и интонацией, а также структурой всего предложения в целом нет никакой связи, никакой взаимозависимости³. Это, конечно, неправильно. Читая книгу, например какое-нибудь художественное произведение, мы почти никогда не задумываемся над тем, на какие слова в проходящих перед нашими глазами предложениях приходится логическое ударение, а между тем предложения эти мы понимаем в общем правильно, т. е. так,

¹ А. М. Пешковский, Русский синтаксис в научном освещении, 6-е изд., М., 1938, стр. 176—177.

² Так, например, в 1907 г. в Одессе была издана книга И. Смоленского, которая называлась «Пособие к изучению декламации. О логическом ударении. Недостатки в трудах по логике глава» (разрядка моя.—В. Ч.) (см. А. М. Пешковский, там же).

³ Подобный взгляд отражается и в более поздних работах. Так, во «Введении в общую фонетику» (Л., 1948) М. И. Матусевич при описании мелодики предложения принимает во внимание произношение всего предложения, а при описании динамических явлений ограничивается описанием изолированных явлений (ударений), не делая при этом ни малейшей попытки установить между теми и другими какую-нибудь связь или какие-нибудь отношения.

как их понимал автор сочинения. Если бы между ударением, интонацией и структурой предложения зависимости не существовало, то такое чтение и понимание написанного с листа было бы невозможно.

Несколько слов о примерах А. М. Пешковского. Все приводимые им предложения, состоящие из ряда одинаковых слов: *у нас, вчера, был, спектакль*¹, конечно, могут встретиться в русском языке. Но все они отнюдь не являются вариантами одного предложения. Каждое из них вполне самостоятельно и отличается от других не только по смыслу, но и по употреблению. В самом деле, нетрудно заметить, что все эти «варианты» могут явиться в речи лишь при разных условиях. Например, в начале рассказа повествования может явиться лишь такое предложение: *У нас вчера был спектакль. Народу собралось много. Пришли знакомые моих родителей, мои товарищи по школе.* Ни одно из трех других предложений при описанных условиях появиться не может. Но все они возможны в диалогической речи. Однако и здесь условия их появления будут неодинаковы. Так, предложение *У нас вчера был спектакль* может явиться как ответ на вопрос: *У вас вчера был спектакль?* Последнее предложение *У нас вчера был спектакль* может возникнуть лишь при особых условиях, при которых необходимо громкое говорение. Например, если бы мы обратились к какому-либо собранию с вопросом: *У кого вчера был спектакль?*, то из аудитории можно было бы услышать: *У нас вчера был спектакль.* Таким образом, приводимые А. М. Пешковским четыре предложения, состоящие из одинаковых слов, свидетельствуют не о том, что логическое («фразное») ударение может поместиться на любом полном слове, а лишь о том, что в данных и подобных им предложениях логическое ударение может находиться только на одном слове.

Одно из важных наблюдений А. М. Пешковского состоит в том, что в предложениях повествовательного вида, кроме логического («фразного») ударения, могут существовать и другие, менее заметные ударения. Наряду с интонацией (мелодикой), эти ударения привлекались А. М. Пешковским для объяснения ряда явлений русского языка, в том числе и грамматических (ср., например, известное его учение об обособленных второстепенных членах).

Весьма важным мы считаем определение значения логического ударения для структуры русского предложения. По мнению А. М. Пешковского, это ударение объединяет и обуславливает в интонационном отношении всю фразу, хотя и помещается только на одном ее слове. Из этого определения следует, что логическое («фразное») ударение не является в предложении чем-то посторонним по отношению к интонации, но является структурным элементом этой интонации, а вместе с нею — всего предложения в целом. Именно эта мысль А. М. Пешковского положена в основу предлагаемых ниже наблюдений и рассуждений, хотя сам он не только не реализовал ее полностью, но и вступал в явное противоречие с нею.

§ 6. В общем в том же направлении шла исследовательская мысль и Л. В. Щербы. Заключая свою мысль о том, что разные слова фразы могут иметь ударение разной степени (см. выше), Л. В. Щерба пишет: «Само собой разумеется, что одни слова реже находятся в таком неударенном положении, другие — чаще, третьи — всегда»². Данное наблюдение имеет значение и по отношению к русскому языку. Из этого наблюдения следует, что каждое слово в составе того или иного предложения имеет свою определенную характеристику в динамическом отношении, т. е. занимает в динамической структуре этого предложения свое определенное место. Отсюда следует также, что и слова, являющиеся носителями логического ударения, вовсе не представляют собой в интонационной структуре фразы чего-то изолированного, а являются элементом этой структуры. Рассматривая сочетания определения и определяющего слова,

¹ См. А. М. Пешковский, указ. соч., стр. 177.

² Л. В. Щерба, указ. соч., стр. 38.

Л. В. Щерба пишет, что самая важная часть в этих сочетаниях «носит ударение, все же остальные части приближаются к энклитикам»¹. Это ударение в «Оглавлении» называется «фразовым»².

Для понимания учения Л. В. Щербы о фразовом ударении очень важно также следующее место в его статье, посвященной лингвистическому толкованию стихотворения Пушкина «Воспоминание»: «... фразовое ударение, — говорится здесь, — играет двоякую роль: во-первых, цемента, скрепляющего фразу; во-вторых, сигнала, выделяющего тот или другой элемент речи и имеющего, в частности, либо эмоциональное значение, либо логико-психологическое, обозначая в таком случае так называемое „психологическое сказуемое“». Фразовое ударение в этой выделяющей функции известно под именем „логического ударения“, ... фразовое ударение, если имеет не выделяющую функцию, а одну лишь фразообразующую, падает в русском языке на конец „фразы“ и тогда нами не особенно замечается»³.

Л. В. Щерба, как и А. М. Пешковский, стремился уяснить значение логического ударения (и других ударений) на основе интонации предложения в целом. Оба исследователя были близки к мысли о том, что в интонации предложения следует различать не только мелодический рисунок или мелодическую структуру соответствующего предложения, но и его динамический рисунок или его динамическую структуру, хотя ни тот, ни другой из названных исследователей не сформулировал этой мысли с полной ясностью.

§ 7. Важное уточнение в понимание фонетической (материальной) природы логического ударения вносит упоминавшаяся уже превосходная работа В. Всеволодского-Гернгросса «Теория интонации». «В литературе почти всюду встречается утверждение, — говорится здесь, — что логическое ударение состоит не только в усилении, но и в повышении тона. ... Однако... мы можем категорически утверждать, что логическое ударение характеризуется: 1) усилением тона и 2) мелодическим акцентом, который, в зависимости от характера произнесения текста, может двигаться в обе стороны — вверх и вниз»⁴.

Если принять во внимание, что второй элемент этой характеристики — мелодический акцент — является составной частью мелодии предложения, являющейся в речи всегда вместе и одновременно с его динамической структурой, то в качестве физической характеристики логического ударения остается только один признак: усиление тона. Наибольшее усиление тона на одном из слов предложения и является логическим ударением в собственном смысле этого слова. Слово «ударение», следовательно, точно соответствует обозначаемому им явлению. К этому пониманию физической природы логического ударения присоединяется и автор данной статьи⁵.

¹ Л. В. Щерба, указ. соч., стр. 146.

² Там же, стр. XIII.

³ Л. В. Щерба, Опыты лингвистического толкования стихотворений. I. «Воспоминание» Пушкина, сб. «Русская речь», под ред. Л. В. Щербы, I, Пг., 1923, стр. 23—24. Ср. его же, Фонетика французского языка, М.—Л., 1937, стр. 78 и сл.

⁴ В. Всеволодский-Гернгросс, указ. соч., стр. 81.

⁵ В лингвистических трудах и работах по художественному чтению приходится встречаться и с другими точками зрения. Так, в некоторых современных исследованиях вновь встречается утверждение, будто логическое ударение состоит не только в усилении, но и в повышении тона (см., например: М. И. Матусевич, указ. соч., стр. 74; М. Воскресенский, К вопросу о словорасположении в русском языке, «Р. яз. в шк.», 1936, № 4, стр. 4; А. С. Чикобава, Введение в языкознание, ч. 1, 2-е изд., М., 1953, стр. 161; В. Суренский, Работа над осмысленным чтением, «Р. яз. в шк.», 1936, № 4, стр. 43). Авторы указанных работ не всегда разграничивают выделение слов с помощью ударения от выделения слов с помощью повышения голоса. Основой этого является широко распространенное убеждение, согласно которому логическое ударение представляет собой явление, блуждающее по поверхности интонации предложения и могущее поэтому «поместиться на любом [его] полном слове» (Пешковский).

§ 8. Ударение не является в предложении чем-то привнесенным со стороны, а органически связано с его интонацией. Положение логического ударения в интонации предложения весьма сходно с положением в ней наибольшего повышения (недаром последнее принимается некоторыми за логическое ударение). Как наибольшее повышение тона, приходящееся обыкновенно на одно из слов того или иного предложения, является лишь составной частью (при этом самой заметной для слуха) мелодии предложения, так и логическое ударение является лишь составной частью (также наиболее заметной для слуха) динамической структуры того же предложения. Мелодия и динамическая структура существуют в интонации предложения одновременно и неразрывно. И если изучать их самостоятельно, по отдельности и равноправно, то придется говорить не только об одних ударениях (или повышениях) в предложении, а о динамической и мелодической структурах.

Итак, следовательно, логическое ударение существует в интонации предложения не как что-то изолированное и самостоятельное, а как элемент его динамической структуры. Динамическая структура предложения, в свою очередь, является лишь одним из составов интонации предложения, связанным непосредственно прежде всего с его мелодией. Изучение взаимоотношений, в которых находятся в составе интонации динамическая структура и мелодия, а также и другие составы интонации, представляется нам одной из самых важных и интересных проблем фонетики русского предложения.

Положение о том, что в повествовательном предложении, как правило, представлено одно логически ударяемое слово, разумеется, несколько не противоречит тому, что в том же самом предложении могут быть еще другие, второстепенные, ударения: по силе произношения они будут уступать логическому ударению, а по значению будут приближаться к нему. Но в отличие от последнего, вносящего в предложение интонационную и смысловую законченность, они будут вносить интонационную и смысловую законченность лишь в определенный отрезок предложения.

§ 9. Согласно сказанному в предшествующем параграфе, логическое ударение в русском языке является наиболее заметным для слуха элементом динамической структуры предложения, в частности повествовательного. Теперь мы можем перейти к вопросу о способе разграничения динамических структур русских повествовательных предложений и о видах этих структур. Указанное разграничение может быть осуществлено без особых затруднений на основании места расположения в динамической структуре главного ударения, иначе говоря — места расположения в предложении слова, являющегося носителем логического ударения. В соответствии с описанным критерием в русском языке можно различить следующие три основных вида динамических структур повествовательных предложений.

1. У с и л и в а ю щ и е с я д и н а м и ч е с к и е с т р у к т у р ы.

В предложениях, построенных на основе названных динамических структур, слова произносятся все с более и более возрастающей силой, начиная от первого слова к последнему; слово, произносимое с наибольшей силой, т. е. логически ударяемое, находится в конце предложения. Примеры:

1) «Треплев кладет у ее [Нины] ног чайку. [Нина] Что это значит? [Треплев] Я имел подлость убить сегодня эту *чайку*...» (Чехов); 2) «[Ладыгин] Слушай, что они там у тебя затеяли? [Вера Артемьевна] Ты чудак, Митя. Они вешают твою *картину*» (Леонов); 3) «[Маша] Ну, хорошо, давайте помолчим (Пауза). [Маша] Мне нравится ваша дружба с *Васькой*» (Леонов); 4) «[Капитолина Петровна] За что же ты его так? [Мария] Его выгнали из *пионеров*!» (Михалков).

2. Убывающие динамические структуры.

В предложениях, построенных на убывающих динамических структурах, слово, произносимое с наибольшей силой, т. е. логически ударяемое, стоит в начале предложения; все остальные слова произносятся с более или менее постепенным ослаблением. Примеры:

1) «[Ладыгин] Что у нас там, сражение происходит? [Параша] *Сторож* с табуретки рухнул» (Леонов); 2) «[Кокорышкин] Это которая же Аниска? [Демидьевна] *Внучка* даве из Ломтева, от немцев, прибежала» (Леонов); 3) «[Татьяна] Что нужно сделать, чтобы жить иначе?.. Вы знаете?... [Левшин] (таинственно) *Копейку* надо уничтожить... *схоронить* ее надо!» (Горький); 4) «[Кочубей]... Где ты теперь живешь? [Шура] *Здесь* я живу. У Вишняковых» (Михалков); 5) «[Шура] ...Изобрази его посмешнее. [Валерий] (ворчит) *Не умею* я эти рожицы вырисовывать» (Михалков).

3. Смешанные динамические структуры.

В предложениях с названными динамическими структурами ударяемое слово находится в середине предложения. Слова, предшествующие ему, произносятся с постепенным усилением каждого из них. Таким образом, ударяемое слово оказывается завершающим и самым сильным словом этого ряда. Слова, идущие после ударяемого слова, произносятся с постепенным ослаблением. Примеры:

1) У него от страха *мурашки* по спине забегали; 2) «[Матвей] И как бы тебе хотелось жить? [Лаврентий] Чтоб все *кипело* вокруг меня, чтоб на людях работать и свои способности развернуть» (Афиногенов); 3) «[Валерий] Ты откуда это шел, когда мы подъехали? [Шура] Я *в больницу* ходил. У меня мама *в больнице* лежит... Совсем *плохо* ей стало» (Михалков).

Возможно, что некоторые из приведенных примеров могут быть произнесены с логическим ударением не на тех словах, на которых оно показано, а на других. Но ту или иную из описанных динамических структур предложение все-таки иметь будет. Выше указано наиболее обычное чтение (произношение) приведенных текстов.

В предложениях с усиливающейся динамической структурой могут оказаться слова, которые хотя и находятся ближе к концу предложения (= ударяемому слову), однако произносятся они могут с меньшей силой, нежели слова, им предшествующие. И наоборот, в предложениях с убывающей структурой ближе к ударяемому слову могут оказаться слова, произносимые с меньшей силой, чем слова, следующие за ними. Например, в предложении *Голова у меня что-то разболелась* слова-местоимения могут быть произнесены с меньшей силой, чем слово *разболелась*. Действительно, слова не знаменательные, например некоторые из видов местоимений, в предложениях с любой динамической структурой отличаются в отношении своих динамических свойств от слов знаменательных, но это вопрос особый.

§ 10. Предложенное разграничение динамических структур повествовательных предложений связано и с другими различиями и прежде всего — фонетическими (акустическими). Одно из действующих лиц пьесы Кожевникова говорит: «*Болят у меня душа*, Апполинарий». Та же мысль или то же состояние могут быть выражены и иначе. Ср.: *У меня душа болит, а тебе все шутки*. Возможна еще и такая конструкция: «*Душа у меня болит!* — азартно воскликнул Фома» (Горький). Если сопоставить эти предложения в их живом произношении или звучании, то, по нашему мнению, нетрудно будет обнаружить, что все они прозвучат по-разному, а именно: одни прозвучат громче, а другие тише. Предложение *У меня болит душа*, имеющее усиливающуюся динамическую структуру, прозвучит как самое тихое. Предложение, имеющее смешанную динамическую структуру (*У меня душа болит*), прозвучит громче или сильнее. Но громче всех прозвучит предложение, имеющее убывающую динамическую структуру: *Душа у меня болит* (ср. и в авторской речи: «воскликнул Фома»).

Из сказанного следует, что различные выше три вида динамических структур повествовательных предложений отличаются друг от друга в фонетическом (акустическом) отношении прежде всего тем, что одни из них произносятся громко или служат для громкой речи — структуры убывающие и смешанные, а другие произносятся тихо или служат для тихой и относительно спокойной речи — структуры усиливающиеся.

Различные динамические структуры можно наблюдать и в предложениях, по содержанию неэмоциональных. Приведем пример. Один из рассказов Тихонова начинается так: «Это было на даче. Я сидел на складном стуле...». Представленный здесь начин рассказа повествования может иметь в русском языке и иной вид; ср.: «Ты если хошь слушай, а врать не мешай», — сказала одному из присутствующих и после этих слов приступила к рассказу. — «Дело на даче было, — начала она. — Время осеннее, ночи темные». Наконец, ср. последнюю строку следующих стихов:

В сто сорок солнц закат пылал,
В июль катилось лето.
Была жара, жара плыла,
На даче было это.

При сопоставлении и этих предложений обнаруживаются те же различия в звучании разных динамических структур: с самой меньшей громкостью или тихо будет звучать начин, имеющий усиливающуюся динамическую структуру (*Это было на даче*); с наибольшей громкостью прозвучит предложение в стихах Маяковского, для которого громкость является неотъемлемой чертой поэтической интонации. С средней громкостью прозвучит начин, построенный на смешанной динамической структуре: *Это на даче было*.

В большей громкости убывающих и смешанных динамических структур русской речи можно убедиться и на основании более непосредственных наблюдений над живой русской речью. Ср., например, звучание в живой речи следующих предложений: *Его спрашивает Мйша; Его Мйша спрашивает; Мйша его спрашивает*. Или: *У него болит голова; У него голова болит; Голова у него болит*. Или: *Это было давно; Это давно было; Давно это было* (ср. в пьесе Лавренева: «Давно это было. Жил был тощий ободранный цыганёнок»).

§ 11. О большей громкости смешанных и убывающих динамических структур по сравнению со структурами усиливающимися свидетельствует, между прочим, то обстоятельство, что к указанным структурам, как к структурам более громким и вообще более сильным, мы прибегаем обыкновенно при пересрозе о чем-нибудь сказанном нами же, но не расслышанном нашим собеседником. Ср. такой диалог: *Я была в театре*. Не расслышав, собеседник переспрашивает: *Где, где? — В театре, говорю, была*, — следует ответ. Иначе говоря, при надобности усилить речь мы с предложений с усиливающимися динамическими структурами переходим на предложения со структурами убывающими или смешанными, т. е. на формы более громкого говорения.

Мы пользуемся убывающими и смешанными структурами как структурами более громкими и тогда, когда нам нужно усилить слово, которое в предшествующей речи не имело на себе логического ударения. Ср., например, следующий диалог в рассказе Левитова: «— Настрааааете вы девочку-то, Осип Петрович, — повторяла жена. — Я бы вот чаю ей налила. — Ш-што? — крикнул Осип Петрович, обратившись к ней в поллица. — Девочку настраааете, — несмело ответила заступница, стараясь не смотреть на мужа...».

Такой же переход с усиливающимися структурами на убывающие как структуры более громкие и сильные мы наблюдаем и в речи одного лица, не прерываемой другим говорящим лицом. Ср.: «[Лиза] (стучится к Молчалину) Послушайте. Извольте-ка проснуться. Вас кличет барышня, вас барышня

зовет» (Грибоедов); «Француз никогда не позволит себе невежества: во время даме стул подаст, раков не станет есть вилкой, не плюнет на пол, но... нет того духу! Духу того в нем нет!» (Чехов); «[Сорин] Без театра нельзя. [Треплев] Нужны новые формы. Новые формы нужны...» (Чехов).

Переход с усиливающих структур на убывающие для усиления речи широко использован Михалковым как прием индивидуализации речи главного героя одной из его комедий. Этому герою принадлежат такие высказывания: «— Кажется, культурные вы люди, а главного не видите! Не видите главного!»; «— И ты тоже, Харахорина, руководишь отделом, а кругозора у тебя настоящего нет! Нет кругозора. Настоящего»; «— А за счет освободившегося пространства расширить городскую площадь и залить ее асфальтом. Асфальтом залить! Да, да!» и т. п.

§ 12. В процессе общения может возникнуть и противоположная потребность, т. е. потребность не в усилении, а в ослаблении речи. Достигается это при помощи перехода говорения с громких динамических структур на тихие. Ср., например, такой диалог в пьесе Леонова: «[Алексей] Почему ты не на даче, дядя Митя? [Ладыгин] Вот жду фронтового друга. Томлюсь, и время идет на убыль».

Может быть, полдюжины часов в разных комнатах квартиры вперевивку вызывают время. Дядя и племянник переживают этот музыкальный шум.

[Ладыгин] ...идет на убыль время, и не приходит старый друг».

Предложение *Время идет на убыль* имеет убывающую, громкую динамическую структуру, предложение *Идет на убыль время* — усиливающую, тихую. Полагаем, что эти различия связаны с разными целями произношения указанных предложений: первое предложение вызвано вопросом собеседника и произносится с таким расчетом, чтобы собеседник услышал его. Второе, возникающее в связи с боем часов, представляет собой в сущности разговор Ладыгина с самим собой или внутреннюю речь говорящего. Оно не рассчитано на слух собеседника, непосредственно с происходящим диалогом не связано и может быть произнесено очень тихо.

§ 13. О большей громкости убывающих динамических структур особенно убедительно свидетельствует то обстоятельство, что мы постоянно пользуемся ими тогда, когда довести наши слова до слушателя нам представляется особенно необходимым. В таких случаях речь наша становится особенно громкой и легко переходит даже в крик. Примеров такого употребления предложений с убывающими динамическими структурами можно было бы привести большое количество. Ср.:

«— Папа, коновал пришел! — крикнула из другой комнаты Варя» (Чехов); «— Володя приехал! — крикнул кто-то на дворе. — Володичка приехали! — завопила Наталья, вбегая в столовую» (Чехов); «Яков погулял по выгону, потом пошел по краю города куда глаза глядят, и мальчишки кричали: „Бронза идет! Бронза идет!“» (Чехов); «— Солнце взойшло! — вскричал он, увидев блестящие верхушки деревьев...» (Достоевский); «— И вдруг раздался крик: „Верфи горят!“» (Лит. газета).

Во всех этих примерах слова автора *кричали, вскричали, завопили* и др. указывают, что перед нами предложения не просто громкие, а громкие в высшей степени.

Таким образом, рассмотренный материал приводит нас к заключению, что те виды динамических структур повествовательного предложения, которые были намечены нами выше на основании расположения в них логически ударяемых слов, отличаются друг от друга прежде всего тем, что одни из них служат в нашей речи для громкого или более или менее громкого говорения (структуры убывающие и промежуточные), а другие — для тихого или более или менее тихого говорения (структуры усиливающиеся).

§ 14. На основании того же критерия, который был выше положен нами в основу разграничения громких и тихих динамических структур,

т. е. на основании месторасположения логически ударяемого слова в повествовательном предложении, может быть намечена шкала громкости динамических структур, встречающихся в нашей речи. Если усиливающуюся динамическую структуру, лежащую в основе предложений с логически ударяемым словом в конце предложения, условиться считать динамической структурой первой степени громкости, то структуру, лежащую в основе предложений с логически ударяемым словом на втором месте от конца предложения, можно считать структурой второй степени громкости; структуру, лежащую в основе предложений с логически ударяемым словом на третьем месте от конца предложения, — структурой третьей степени громкости и т. д. Ср., например, предложения с динамической структурой четвертой степени громкости: «*Мама* ваша вас ждет»; « — *Совершенно* не понимаю этого человека! — растерянно разводил руками Николай Николаевич» (Василевский).

Ударяемое слово может находиться и не в начале соответствующих предложений. Ср.: «Вдруг у самой его ноги *снег* воронкой до земли протаял» (Бажов); «На другой день весь *народ* на Думной горе собрался» (его же). Можно привести предложения и с динамической структурой пятой степени громкости: «*Много* теперь девушек бродит по тайге» (Василевский); «— Сказка, Пантелей Петрович, сказка! Уж я-то *лучше* вас знаю о Соколином Глазе!» (его же).

Расположение ударяемого слова в предложении связано со степенью громкости произношения данного предложения по правилу: чем ближе к началу расположено в предложении ударяемое слово, тем громче его динамическая структура.

Особое замечание следует сделать о предложениях, в которых логически ударяемое слово находится в абсолютном начале. В таких случаях, какое бы место от конца предложения ударяемое слово ни занимало, предложение это будет иметь все возможные в нашем языке степени громкости. Например, предложение *Дождь идет* по месту расположения ударяемого слова от конца предложения имеет структуру второй степени громкости, но в действительности оно может быть произнесено и с третьей, и с четвертой, и с пятой, и вообще с любой степенью громкости, возможной в русском языке. Сказанное относится и к предложениям, в которых начальное ударяемое слово занимает третье, четвертое и т. д. места. Объяснения этому явлению следует искать в особых условиях фонетики начала предложения.

§ 15. Возникает вопрос, с какими свойствами интонации связана большая громкость одних динамических структур и меньшая громкость или тихость других. Полагаем, что это объясняется прежде всего различной силой произношения ударяемых слов: логически ударяемое слово произносится тем сильнее, чем ближе к началу предложения оно находится. Следовательно, наиболее сильным ударение бывает на первом слове предложения, а наиболее слабым — на его последнем слове. Самым сильным логическое ударение бывает на слове, стоящем в начале предложения. Конечно, это нуждается в экспериментальной проверке.

Однако имеются и данные наблюдений других исследователей, указывающие на правильность выдвинутого положения. Н. Н. Дурново писал, что «порядок слов (в русском языке. — В. Ч.) может служить для выделения слова во фразе как такого, на котором сосредоточена мысль говорящего. Такое слово, если не выделяется особой подчеркивающей интонацией, в невопросительных фразах ставится обычно в конце: у нас вчера был *спектакль*; спектакль вчера был *у нас*; спектакль вчера у нас *был*; у нас спектакль был *вчера*»¹.

¹ Н. Дурново, Повторительный курс грамматики русского языка, вып. II — Синтаксис, ч. I — Введение и учение о формах словосочетаний, М.—Л., 1929, стр. 19.

В этом высказывании безусловно преувеличено значение порядка слов, и именно значение последнего места в предложении, ибо совершенно непонятно, каким образом место, явление пространственного (на письме) или временного (в живой речи) значения, может служить средством выделения. Однако это преувеличение имеет в своей основе заслуживающее полного доверия наблюдение, согласно которому в конце предложения логически ударяемое слово может не выделяться «особой подчеркнутой интонацией» (разрядка моя.—В. Ч.). Из этого, однако, не следует, что указанное слово не будет произноситься с большей силой, чем все остальные слова этого предложения.

Гораздо дальше идет в выводах из своих наблюдений, по-видимому, над подобными же предложениями М. И. Матусевич. В упоминавшейся выше работе этого автора говорится: «При помощи логического ударения можно дать одной и той же фразе (? — В. Ч.) целый ряд различных смысловых оттенков. Например, фраза *сегодня я пойду в театр* может быть сказана и без логического ударения, выражая в этом случае простое констатирование факта»¹. По нашему мнению, М. И. Матусевич допускает неточность, утверждая, что в русском языке существуют предложения без логического ударения. Таких предложений не бывает, за исключением случаев специального значения. Ряд грамматически организованных слов (*Сегодня я пойду в театр*) может получить значение констатирующего предложения только при условии, если он будет произнесен с интонацией, имеющей ударение на последнем слове (*в театр*). Слово это прозвучит в указанном предложении, действительно, слабее, чем, скажем, в предложении *Сегодня я в театр пойду* или *Сегодня в театр я пойду*. Вероятно, это обстоятельство и послужило поводом, как и у Н. Н. Дурново, для заключения о существовании в русском языке предложений, не имеющих логического ударения.

Не о том же ли (т. е. о более слабом произношении ударяемого слова в условиях конца предложения) говорят и приведенные выше слова Л. В. Щербы: «фразовое ударение, если имеет не выделяющую функцию, а одну лишь фразообразующую, падает в русском языке на конец „фразы“ и тогда нами не особенно замечается»² (разрядка моя. — В. Ч.). Весьма показательно, что все эти наблюдения относятся к логически ударяемому слову в конце предложения, между тем как по отношению к тем же словам в середине или в начале предложения подобных наблюдений, сколько нам известно, в печати не сообщалось.

Дополним приведенные выше наблюдения еще одним. При художественном чтении нередко в предложениях описательного характера логическое ударение в конце предложения не слышится, но зато вместо него наблюдается несколько замедленное произношение, по сравнению с другими словами того же предложения, тех слов, на которые должно было бы приходиться логическое ударение. Таким образом, и эти случаи, строго говоря, не представляют собою исключения из правила, согласно которому в русском языке не бывает предложений без логического ударения. Отметим также, что не в конце предложения описанная замена логического ударения более медленным произношением соответствующего слова нами не наблюдалась. Следовательно, приходится признать, что в конце предложения логически ударяемое слово произносится менее сильно, нежели в середине или в начале предложения.

§ 16. Итак, на основании вышесказанного мы заключаем, что логически ударяемое слово в предложении произносится тем сильнее, чем больше оно выдвигается в начало предложения. Следовательно, в предложениях, имеющих динамические структуры убывающего типа, логически ударяемое слово будет произноситься с наибольшей силой, в предложениях со

¹ М. И. Матусевич, указ. соч., стр. 74.

² Л. В. Щерба, Опыты лингвистического толкования стихотворений, стр. 24.

смешанной динамической структурой оно будет произноситься менее сильно, но сильнее, чем в предложениях с усиливающейся структурой. В предложениях с усиливающейся динамической структурой оно будет произноситься с наименьшей возможной для ударяемого слова силой и поэтому может не замечаться. В этом состоит первое фонетическое различие между описанными выше динамическими структурами.

Второе различие связано с первым и может быть установлено лишь после того, как будут выяснены отношения, в которых находятся различные динамические структуры к мелодике соответствующих предложений. Приведем в известность наиболее важные для наших наблюдений данные из области изучения мелодики русского повествовательного предложения. Здесь важное значение имеют наблюдения, послужившие основанием для разграничения в русском языке предложений повествовательных, вопросительных и восклицательных.

А. М. Пешковский, выясняя интонационные особенности этих типов предложений, дает схемы мелодии сложного и простого повествовательного предложения. По его наблюдениям, повествовательная интонация является интонацией восходяще-нисходящей: начавшись с определенного тона, она повышается до известного слова или слога, а затем до конца предложения понижается. Эти наблюдения в общем согласуются и с наблюдениями других исследователей, например Городненского, Богородицкого, Всеволодского-Гернгросса. По наблюдениям В. А. Богородицкого, мелодия повествовательного предложения (нераспространенного) — нисходящая или падающая. С этими наблюдениями совпадают в общих чертах и наблюдения Л. В. Щербы. По его мнению, в русском языке различаются два вида «фраз»: двучленные и одночленные. Мелодию первых он описывает так: «Первая часть двучленной фразы произносится, как одночленная, но с обязательным повышением на последнем слоге. Вторая часть является целиком падающей, причем особо характерным для двучленности является внезапный переход от повышающегося последнего слога первой части к низкому тону первого слога второй части, который контрастирует с плавным падением одночленной утвердительной фразы...»¹. Согласно этому описанию, предложения *Ленинград — большой город* или *Он вырезал это замечательное произведение искусства простым ножом* имеют восходяще-нисходящую мелодию.

«Одночленным фразам» русского языка Л. В. Щерба не дает полного описания. Указав, что во французском языке в таких случаях «наибольшая высота передвигается на предпоследний слог, последний же слог оканчивается сильно падающим по высоте», он замечает: «Подобное падение, характеризующее конец утвердительной фразы, существует и в русском языке»². Если обратиться к примерам «одночленных фраз»³, то среди них мы найдем и такие, которые будут произноситься приблизительно так же, как произносятся, по Богородицкому, нераспространенные предложения, т. е. с нисходящей или падающей мелодией:

Он пошел в театр.

Но среди них имеются и такие (например, *Я вернулся из командировки вчера вечером*), которые наряду с вышеуказанным произношением, по-видимому, могут иметь и мелодию восходяще-нисходящую. Эта мелодия вряд ли отличается чем-нибудь в отношении ее общего рисунка от мелодии «двучленной фразы». То, что Л. В. Щерба считает «особо характерным» для двучленных фраз, не изменяет общего восходяще-нисходящего вида рисунка.

¹ Л. В. Щерба, Фонетика французского языка, стр. 124.

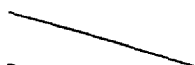
² Там же, стр. 120.

³ Там же, стр. 117.

Итак, можно считать, что русскому повествовательному предложению свойственны два вида мелодий: восходяще-нисходящая мелодия и падающая, или нисходящая.

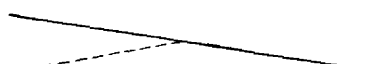
§ 17. Переходим теперь к рассмотрению вопроса о взаимоотношениях между мелодией и динамической структурой в интонации русского повествовательного предложения. Ввиду чрезвычайной ограниченности наших знаний по мелодике и динамике русского предложения речь будет идти ниже лишь об отношениях наибольшего повышения тона и наибольшего ударения (логического ударения). Указанные элементы в интонации русского повествовательного предложения могут находиться в следующих отношениях:

1. Наибольшее повышение приходится на первое или одно из первых слов предложения, а логическое ударение падает на последнее слово предложения, произносимое при наибольшем падении тона:

 „Поезд давно пришел. Что же дети-то не едут?“ (Л. Леонов)

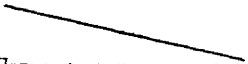
Так же будут произноситься и такие предложения: «Рагозин протянул руку:— Смета с вами?» (Федин); «Калитка стояла настежь» (его же); «[Вагин] Люблю видеть тебя поэтом» (М. Горький); «Мешков потянул внука за рукав» (Федин); «Никакой полет в небо невозможен без земли» (его же); «В необычайной грусти Аночка улыбнулась» (его же); «[Треплев] Я имел подлость убить сегодня эту чайку» (Чехов); «[Нина] Ваша жизнь прекрасна!» (его же).

Во всех этих примерах наибольшее повышение и ударение, как было указано, будет приходится на разные слова. О наибольшем повышении нужно сказать еще следующее. Интонация предложения может начинаться непосредственно с наибольшего повышения. Но ему может предшествовать и некоторый подъем или приступ. Так, например, предложение «Вам шлют поклон ваши почитатели» (Чехов) может быть произнесено только с мелодией падения, но наибольшее повышение при произнесении может поместиться на слове *поклон*, слова же, предшествующие этому слову, будут произноситься при постепенном повышении тона:


Вам шлют поклон ваши почитатели.

Первое из описанных произношений представляется наиболее живым и естественным. Второе — несколько искусственным и даже, пожалуй, книжным. Сказанное здесь относится и к последующим двум группам фактов.

2. Повышение приходится на первое слово предложения или на одно из первых его слов, а ударение — на срединное (второе слово от конца). «[Ладыгин] И какой же вуз вы себе избрали? [Аннушка] (застенчиво):

 —Папка в науку уговаривает“ (Л. Леонов)

Другие примеры: «На дворе гроза собирается» (Чехов); «[Александра Ивановна] А Василий в подлодке ходит, под водой» (Леонов); «[Лена] Меня танкисты подвезли» (его же); «—Мы с нею дуэты играли» (Чехов); «[Катерина] Пойдем, я тебе покушать накрою. Тут у нас собрание будет» (Леонов); «[Стрекопытов] У меня там колышки стоят и ямки накопаны» (Леонов).

3. Повышение на первом слове или на одном из первых слов предложения, а ударение — на одном из срединных слов (третьем, четвертом и т. д. от конца предложения):

„Старики редко бывают правы“ (М. Горький)

Другой пример: «[Ладыгин] Фу, жара! (опускаясь в кресло). В такую погоду рыбу на речке удить» (Леонов).

4. Наибольшее повышение и наибольшее ударение приходятся на одно и то же слово, стоящее в начале предложения:

„Павел идет... слышу его нелегкие шаги“ (М. Горький)

Другие примеры: «[Аркадина] Нога моя здесь больше не будет!» (Чехов); «[Настасья Тимофеевна] Голова у меня что-то разболелась» (его же); «[Шабельский] (входит и хохочет) Честное слово, это не мошенник, а мыслитель, виртуоз! Памятник ему нужно поставить» (его же); «[Сухожилов] Вот конце с письма, волосы дыбом поднимаются!» [Н. А. Некрасов (Перепельский)]; «[Назар] Не слышал разве? Волнение идет в народе... по случаю болезни этой...» (М. Горький).

Явление повышения или подъема в начале предложения, которое, по крайней мере факультативно, может являться при произношении примеров первых трех групп, возможно, по-видимому, и в этой группе фактов, но в более ограниченном виде. Объясняется это тем, что в первых из указанных примеров безударная начальная часть предложения, при произношении которой повышение могло себя обнаружить, может состоять из нескольких слов, а в примерах данной группы она может — в лучшем случае — состоять всего из нескольких безударных слогов. В соответствии со сказанным полагаем, что предложения вроде *Голова у меня что-то разболелась* могут быть произнесены следующими двумя способами:

Голова у меня что-то разболелась.

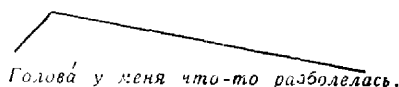
Схематически отношения между наибольшим повышением тона и наибольшим ударением в приведенных примерах можно изобразить следующим образом:

Павел идет.

Наибольшее повышение и ударение приходятся на одном слоге: на первом слове слова *Павел*.

Нога́ моя здесь больше не будет!

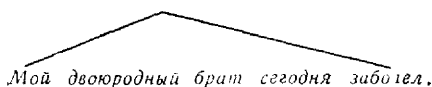
Наибольшее повышение здесь приходится на первый слог слова *нога*, наибольшее ударение — на слог *-га* в том же слове.



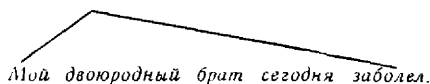
Наибольшее повышение приходится здесь на второй слог слова *голова*, ударение — на последний слог того же слова.

Эти изображения показывают между прочим, что наибольшее повышение и ударение совпадают полностью на начальном слове и слоге предложения только тогда, когда предложение начинается со слова с ударяемым первым слогом. Если же ударение на первом слове помещается на втором или третьем слоге, то наибольшее повышение может приходится на начальные неударяемые слоги, а логическое ударение — на слог ударяемый, произносимый уже при некотором понижении. Из сказанного становится ясным, что логически ударяемое слово никогда не может находиться на волне повышения тона, если оно не заключает эту волну, но всегда лишь на волне его спада.

Объясним то же самое еще на примере А. М. Пешковского — *Мой двоюродный брат сегодня заболел*. При самом обычном его произношении наибольшее повышение, как и показано в схеме А. М. Пешковского, будет находиться на слове *брат*, а ударение — на слове *заболел*. Но если бы мы захотели при помощи той же конструкции сказать, что заболел *брат*, а не *сестра*, и сделали бы ударение на слове *брат*, то тогда наибольшее повышение «отступило» бы на слово *двоюродный*:



Если же при помощи той же конструкции мы бы захотели сказать, что заболел именно *двоюродный* брат, и сделали бы ударение на этом слове, то тогда наибольшее повышение пришлось бы на безударные слоги этого слова:



Таким образом, наибольшее повышение и наибольшее ударение находятся в интонации повествовательного предложения как бы в антагонистических отношениях. Они совпадают полностью только тогда, когда не имеют никакой возможности разойтись, т. е. когда логическое ударение приходится на начальное слово с ударяемым первым слогом.

§ 18. Приведенные выше данные позволяют сделать следующие заключения:

1. Отношения между мелодией и динамической структурой (наибольшим повышением и наибольшим ударением — мелодическим акцентом и логическим ударением) в повествовательном предложении могут складываться по-разному: оба указанных элемента интонации — повышение и ударение — могут выступать в нем раздельно, помещаясь на разных словах предложений (первые три группы примеров); но они могут выступать и совместно на первом слове предложения. При этом следует заме-

тить, что ударение будет или совпадать с наибольшей высотой тона (4-я группа примеров), или будет приходиться на слова, произносимые на волне падающего тона, но никогда не будет приходиться на слова, произносимые с постепенным повышением.

С выдвижением логически ударяемого слова вперед — хотя бы на одно слово — изменяется его положение по отношению к мелодической структуре предложения.

2. Чем сильнее выдвигается вперед (к началу) в предложении ударяемое слово, тем более высоким тоном оно будет произноситься. Из этого следует, что если ударяемое слово находится в начале предложения, то оно будет произноситься при наибольшей возможной в мелодии данного предложения высоте тона. Наоборот, если ударяемое слово будет находиться в конце предложения, оно будет произноситься при наименьшей возможной в мелодии данного предложения высоте тона (т. е. при наибольшем понижении или падении).

3. Совпадение наибольшей высоты с наибольшим ударением на ударяемом слове первого слова предложения по законам физики должно дать наибольшую громкость звука в том звуковом ряду, которым является предложение. Если ударение помещается на одном из средних слов, т. е. произносимых на волне падения, то громкость произношения данного слова будет слабее, чем слова, произносимого при наибольшем повышении, но сильнее всякого другого ударяемого слова, идущего после указанного слова. С наименьшей громкостью произносятся ударяемые слова в конце предложения. Из сказанного следует, что наиболее громкими являются в нашей речи убывающие динамические структуры, менее громкими — смешанные и самыми негромкими или тихими являются структуры усиливающиеся.

Итак, следовательно, большая громкость убывающих и смешанных динамических структур обусловлена, во-первых, тем, что ударяемое слово находится в них на первом месте (или первых местах) в предложении, а во-вторых, тем, что в этих случаях и повышение интонации, и ударение могут находиться на одном (первом) слове предложения.

Из сказанного следует далее, что в создании фонетических структур предложений разной степени громкости участвуют не только сила, но и голос или тон. Это вполне понятно, ведь сама по себе сила произношения не может быть ни громкой, ни тихой. Она получает значение в приложении к чему-нибудь, в данном случае — в приложении к голосу или тону, что и предусматривается в принимаемом нами определении логического ударения как «усиления тона».

§ 19. Теперь попытаемся выяснить значение различных динамических структур в системе русского общенародного языка. Нельзя не обратить внимания прежде всего на то, что появление в речи громких и тихих динамических структур не является чем-то случайным, объясняемым, например, особенностями индивидуального говорения и т. п. Громкие и тихие структуры существуют в языке как структуры соотносительные, противопоставленные. Приведем некоторые примеры.

С о о б щ е н и я о д в и ж е н и и к о г о - н и б у д ь:

«[Маша] Папа, дети, смотрите, вон объявление идет» [о человеке, который нес плакат с надписью] (Л. Андреев).

Ср. реплику того же лица:

«Папа, дети, смотрите, идет полицейский».

«Эх, миз-лай! Посмотри, вон татарин идет» (Короленко).

«[Тарас Бульба] Смотрите, детки, вон скачет татарин!» (Гоголь).

Сообщения о приходе или прибытии кого-нибудь:

«[Лакей] (входит) Анна Петровна приехала» (Салтыков-Щедрин).

«[Кулыгин] Приехала начальница, пойдём» (Чехов).

«[Оброшенов] Верочка! Саша пришел!» (А. Н. Островский).

«[Живоедова] [после того, как вошел слуга.— В. Ч.] Пришел Дмитрий, Прокофий Иванович» (Салтыков-Щедрин).

Сообщения о явлениях природы:

«[Маккавеев] Что на свете-то делается Дождь идет!...» (Леонов).

«— А, идет снег! — сказал я, вставая и глядя в окно» (Чехов).

Сообщения о физических и душевных состояниях:

«[Сорин] Но опять со мной что-то того... (пошатывается). Голова кружится» (Чехов).

«[Магда] Что, с вами, Говард?! [Флинк] Не понимаю. ...Кружится голова...Подкашиваются ноги...» (Я. Анушкин).

Сообщения о зове или ожидании:

«[Романюк] (Батуре) Да, Сергей Павлович, вас Надя ждет» (Корнейчук).

«[Ксения Ионовна] [директору. — В. Ч.] Вас ждут женщины. Целая очередь!» (Погодин).

Сообщения предположения:

«[Ласуков] Холодно становится... Может, завтра мороз будет...» (Н. А. Некрасов).

«[Маша] Душно, должно быть ночью будет гроза» (Чехов).

Начин повествования:

«Старик да старушка жили, семьи у них один внук был» (Ончуков).
«Два брата жили, оба женаты» (его же).

«Жил старик да старуха, а у них был сын Иван» (Ончуков).
«Жили два брата, один жил бедно, другой богато» (его же).

Речь рассказчика в диалогах:

«— Што ты делаешь?—мужик спроси» (его же).

«— Что, любезный мой муж, пришел ты кручиноват, печален,— спрашивает его жена» (его же).

«— Прощай, черный ворон, я сейчас пойду от тебя прощ,— Иван Поповиц говорит ему» (его же).

«— А где тут человек с собакой? — Не видал,— говорит старик.— — Врешь! — говорит Яга» (его же).

Противопоставленность громких и тихих динамических структур наблюдается не только в простых предложениях, но и в сложных. Ее можно наблюдать и в первых, и во вторых составях сложных предложений. Приведем несколько примеров только для предложений с подчинительными союзами.

Противопоставленность динамических структур вторых составов сложных предложений:

«Давеча ехала — листья последние летят» (Леонов).

«...ты забыла пословицу: застреляли пушки, значит — замолчали книжки» (Федин).

«[Толстая барыня] Когда мой муж был болен, то все доктора отказались» (Л. Толстой).

«...И когда, наконец, и этот парус завололоскал, ...раздается громовая команда:...» (Чехов).

«[Лука]...а ежели целый век Лазаря петь, то и старуха того не стоит» (Чехов).

«Если Заречная опоздает, то, конечно, пропадет весь эффект» (Чехов).

Противопоставленность динамических структур первых составов сложных предложений:

К р с в] Где это такая сила
(сть н свете, которая у меня
ее отымет» (А. Н. Островский).

«А что меня бабы любят, так
я в этом не причинен,— очень про-
сто» (Л. Толстой).

«У ней есть отец и мать, которых
она любит и хотела бы видеть»
(Чехов).

«А что в доме живет врач...,
это вам и в голову не пришло?»
(Леонов).

Противопоставленность громких динамических структур (убывающих и смешанных) структурам тихим (усиливающимся), разумеется, не исчерпывается приведенными выше случаями. Сфера ее проявления гораздо шире. Описание фактов этой противопоставленности, в частности — определение ее границ, является большой и важной темой, требующей специального и всестороннего обследования. Но и приведенные нами данные убедительно свидетельствуют о том, что указанная противопоставленность громких и тихих динамических структур проявляется весьма широко и охватывает различные виды речевой деятельности: от отдельных высказываний-сообщений о явлениях окружающей жизни, физических и душевных состояниях человека до высказываний, образующих повествовательную речь. Эта противопоставленность охватывает не только простые предложения, но и сложные, не только речь действующих лиц, но и косвенную речь (речь рассказчика). Указанное обстоятельство обязывает нас говорить не просто о громких и тихих динамических структурах, но о двух разных стилях говорения русской речи.

Итак, на основании различения двух типов динамических структур повествовательного предложения и наблюдений над отношениями этих типов динамических структур к мелодическим структурам повествовательных предложений мы приходим к необходимости разграничения в русской речи двух стилей говорения, существующих в системе русского общенародного языка. Один из этих стилей может быть назван стилем громкого говорения, а другой — стилем тихого говорения.

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

СЮЙ ГО-ЧЖАН

ОБЗОР СТРУКТУРАЛЬНОГО НАПРАВЛЕНИЯ В ЛИНГВИСТИКЕ

От редакции. Статья тов. Сюй Го-чжана помещена во 2-м номере (1958 г.) трехмесячного журнала «Сифан юйвэнь» («Западные языки и литературы»), выходящего в Пекине и являющегося важнейшим в КНР периодическим научно-методическим изданием по европейским языкам (см. ВЯ, 1958, № 3, стр. 120—121). Мы помещаем перевод этой статьи потому, что, как это видно из ее содержания, она вызвана обсуждением вопросов структурализма, ведущимся на страницах нашего журнала, и является, следовательно, откликом на нашу дискуссию.

Статья печатается без сокращений в авторском тексте, но с опущением раздела 7 — «Понятие языка „как системы“ в применении к методике преподавания иностранных языков», посвященного более частным методическим вопросам. В переводе также сохранено название статьи, какое ей дал автор, хотя оно не вполне соответствует содержанию: в статье разбираются не все школы структурной лингвистики, а только одно из ее направлений — так называемая «дескриптивная» лингвистика. Этим объясняется тот факт, что автор оставляет в стороне рассмотрение основных положений Пражского лингвистического кружка и новых работ Е. Куриловича и других исследователей, посвященных изучению структурных отношений в области семасиологии. Внимание автора к «дескриптивной» лингвистике и прежде всего к работам, посвященным английскому языку, обусловлено, вероятно, тем, что именно это направление нашло ряд своих последователей в области практического языкознания, в частности в области методологии описательных грамматик, методики преподавания иностранных языков и в преподавательской практике.

1. Предисловие

1. 1. Во многих странах Европы и Америки структуральная лингвистика является одним из самых распространенных направлений в языкознании за последние 10—20 лет. Советские лингвисты постоянно знакомят общественность с работами представителей этого направления и выступают с критикой их¹. За последние несколько лет структурализму были посвящены две специальные дискуссии. Первая дискуссия в 1952—1953 гг. развернулась на страницах «Известий АН СССР» ОЛЯ². В центре обсуждения стояли вопросы фонологии в структуральном направлении. За исключением одного С. К. Шаумяна, ученые, принявшие участие в дискуссии, в основном отнеслись к структуральной лингвистике критически.

¹ См. М. М. Гухман, Против идеализма и реакции в современном американском языкознании (Л. Блумфилд и «дескриптивная» лингвистика), ИАН ОЛЯ, 1952, вып. 4; е е же, Лингвистический механицизм Л. Блумфилда и дескриптивная лингвистика, «Труды Ин-та языкознания [АН СССР]», т. IV, 1954; О. С. Ахманова, О методе лингвистического исследования у американских структуралистов, ВЯ, 1952, № 5; е е же, Глоссематика Луи Ельмслева как проявление упадка современного буржуазного языкознания, ВЯ, 1953, № 3; е е же, О понятии «изоморфизма» лингвистических категорий (В связи с вопросом о методе лексикологического исследования), ВЯ, 1955, № 3; е е же, Основные направления лингвистического структурализма, М., 1955.

² См. ИАН ОЛЯ, 1952 — вып. 4, 5, 6; 1953 — вып. 1, 4, 5.

1. 2. Вторая дискуссия, начавшаяся в 1956 г.¹, пока еще не окончена. Общее направление этой дискуссии сводится к критике идеалистической философии, лежащей в основе структуральной лингвистики, но наряду с этим дается и положительная оценка тех или иных результатов исследований, проведенных представителями этого направления. Такие ученые, как С. К. Шаумян, М. И. Стеблин-Каменский, Р. Г. Пиотровский и др.², положительно относящиеся к структурализму, считают необходимым различать чисто лингвистическую сторону структурального направления от его идеалистической философии (или псевдофилософии).

Так, А. А. Реформатский, который в своей статье «Что такое структурализм?» разбирает этот вопрос наиболее подробно, в основном положительно оценивает методику исследования у структуралистов. Он считает, что эта методика имеет огромное значение для составления описательных грамматик и изучения типологии языков, для разработки или реформы алфавитов и всякого рода систем практической транскрипции, для решения многих проблем лексикографии и ряда технических вопросов машинного перевода, связанных с различными языками, анализа материалов по диалектологии, лингвистической географии и даже для изучения истории языка и т. д.³

С другой стороны, целый ряд ученых сохраняет резко отрицательное отношение к современному структурализму или, по меньшей мере, занимает в отношении него настороженную позицию, считая, что различные направления структуральной лингвистики связаны с идеалистической философией в различных ее толках, что лингвисты-структуралисты неправильно понимают самую природу языка, подходя к изучению фактов языка в отрыве от истории народа — творца и носителя данного языка; что методика структуралистов, правда, помогает решить те или иные практические вопросы, но это отнюдь не означает, что принципиальные основы структурализма являются научно правильными.

Выступая на научной сессии, посвященной проблемам синхронии и диахронии в лингвистике, М. М. Гухман указала: «Нельзя забывать, что к структурализму примыкают и такие языковеды, теоретические положения и лингвистическая практика которых находятся в явном противоречии с принципами советского языкознания»⁴.

1. 3. Из стран Восточной Европы родиной одного из важнейших направлений современного структурализма является Чехословакия, где дискуссия о структурализме прошла еще в 1950 г. Положение в других странах за последние годы остается для нас неясным. Мы знаем лишь то, что участие в последней дискуссии, проходившей в Советском Союзе, приняли также некоторые лингвисты Чехословакии, Польши, Румынии и Югославии.

1. 4. После того как в 1952—1953 гг. структурализм подвергся критике советских языковедов, у нас в Китае также появились отдельные работы, посвященные его критике. Назовем, например, «Критику англо-американской буржуазной фонологии» Ли Чжэнь-линя⁵ и «Критику теории фонемы у буржуазных ученых» Ло Чан-пэя и других авторов⁶. Хотя ни одна из этих работ не посвящена непосредственно «критике структуральной лингвистики», обе они касаются теории фонологии — одного из ключевых теоретических вопросов структурального направления в языкознании. В обеих работах указывается, что противопоставление фонемы звукам речи, пренебрежение единством «частного» и «общего», затушевы-

¹ См. «О некоторых актуальных задачах современного советского языкознания» [передовая], ВЯ, 1956, № 4.

² См. их статьи в ВЯ, 1956 — № 5; 1957 — №№ 1, 4.

³ А. А. Реформатский, Что такое структурализм?, ВЯ, 1957, № 6.

⁴ См. ВЯ, 1957, № 4, стр. 129.

⁵ См. «Фудань Сюэбао» («Вестник Фуданьского ун-та»), вып. 2, 1955.

⁶ Ло Чан-пэй, Ван Цзюнь, Очерки по общей фонетике, 1957, стр. 194—211 (на китайск. яз.).

вание единства материального существования звуков и их общественной значимости определяют буржуазную фонологию как метафизическую теорию.

1. 5. Проходившая в Советском Союзе вторая дискуссия по вопросам структурализма привлекла особый интерес китайских лингвистов к этому направлению. В августовском номере журнала «Чжунго юйвэнь» за 1957 г. был помещен перевод статьи Стеблина-Каменского «К вопросу о структурализме». В журнале «Эвэнь цзяосюе» за август того же года был опубликован доклад «О структурализме и его методе», сделанный в Институте русского языка в Пекине советским специалистом Сахаровым¹. В статье Дегтерева «Краткий обзор европейских лингвистических учений», помещенной в переводе в «Эвэнь цзяосюе», тоже говорится о структурализме².

1. 6. Нашу статью мы называли «обзором», а не критикой, однако это отнюдь не означает отказа от критики. Критика совершенно необходима, поскольку критический подход к буржуазной науке является для нас единственно правильным. И если мы назвали нашу статью «обзором», то, во-первых, потому, что мы отбрасываем все бесполезное в этом направлении лингвистики и сохраняем лишь то, что в нем есть полезного; во-вторых, потому, что автор лишь за последний год ознакомился с работами представителей структуральной лингвистики и не считает себя достаточно компетентным для их всестороннего анализа. Слово же «обзор» предполагает одновременно и описание и критику, и автор надеется, что некоторые его взгляды вызовут у нас обсуждение разбираемых здесь вопросов.

1. 7. Автор использовал преимущественно литературу на английском языке, вследствие чего он в основном разбирает то направление структурализма, которое распространено в настоящее время в США (так называемая «дескриптивная лингвистика»). Поэтому в своих пояснениях, что представляет собою структурализм, автор будет оперировать примерами на английском языке. Поскольку у нас в Китае большинство людей, занимающихся западными языками, хорошо владеет именно английским языком, предлагаемый обзор поможет им вынести собственное суждение о методе и результатах исследования структурального направления в английском языке. В заключение мы коснемся того значения, которое структуральная лингвистика может иметь в области машинного перевода и методики преподавания иностранных языков.

2. Что такое структурализм

2. 0. Прежде чем ответить на этот вопрос, необходимо провести различие между структурализмом и структурным анализом языка. Начнем с пояснения, что такое структурный анализ языка.

Возьмем для примера фонетику. Приступая к анализу (или обследованию и описанию) фонетики данного языка (или диалекта), мы на первом этапе нашей работы обычно приглашаем в качестве диктора лицо, говорящее на данном языке, точно и тщательно записываем звуки, им произносимые (в составе отдельных слов, в речевом потоке и в связанном отрывке). Существует два способа описания звуков: во-первых, описание с точки зрения физиологии речи, куда относится, например, описание артикуляции (подъем языка, участие голосовых связок, наличие лабиализации и т. д.); во-вторых, описание с точки зрения физики, т. е. при помощи акустических приборов (например, кимографа или новейшей звукозаписывающей аппаратуры), определяющих длительность, силу и т. д. данного звука.

2. 2. Однако если мы ограничимся только этим этапом нашей работы, нам придется удовлетвориться крайне неточными результатами. Возьмем для примера звук *t* в английском языке. В различном фонетическом окру-

¹ «Эвэнь цзяосюе» («Методика преподавания русского языка»), вып. 4, 1957.

² «Эвэнь цзяосюе», вып. 1, 2, 1958.

жении он произносится по-разному, например в словах *ten* (апикальный слегка аспирированный смычный), *stone* (неаспирированный), *Atkins* (невзрывной), *mutton* (пазализованный взрывной) и т. д.¹ Опытные фонетисты легко уловят на слух эти аллофоны и опишут различие в их артикуляции. Акустические приборы также регистрируют эти различия. Чем же объяснить тот факт, что англичанин, говоря на родном языке, этих различий не ощущает? Происходит это, во-первых, потому, что несмотря на наличие у *t* множества различных аллофонов, все они в английском языке не несут смыслоразличительных функций. Например, произнесем ли мы в английском языке [st'oun] с аспирированным *t* или [stoun] (с *t* неаспирированным) — никакой разницы в значении произносимого слова не получится. Отсюда ясно, что хотя физиология и физика в результате соответствующего исследования природы звука *t* говорят о наличии в английском языке аллофонов [t'], [t], [t¹], [t̃] и др., однако фонетическая структура английского языка допускает лишь единое *t*. Во-вторых, размещение звуков [t'], [t], [t¹], [t̃] отнюдь не является произвольным, а подчиняется определенным закономерностям и обусловлено фонетическим окружением в каждом отдельном случае. Например, [t'] появляется в ударном слоге типа *ten* или *table*; [t] появляется после [s] и т. д. При таком размещении аллофонов в английском языке они отнюдь не противопоставляются один другому, а тем самым их наличие никак не отражается на коммуникативной функции речи.

Итак, закончив первый этап своей работы, лингвист должен еще исследовать размещение звуков и свести их в фонемы [t'], [t], [t¹], [t̃]... = [t]. Только после этого можно считать, что анализ закончен и фонетическая структура данного языка (или диалекта) выяснена. «Фонетическая структура» языка может быть, таким образом, названа и «фонетической системой».

2. 3. Фонетическая структура разных языков неодинакова. Так, в английском языке фонемы [t'] и [t] не играют смыслоразличительной роли, в китайском же национальном языке («шутунхуа») вопрос стоит иначе: концовки слогов *tùng* и *dùng* совершенно одинаковы, но начальные согласные в них различны. Придыхание начального согласного или его отсутствие представляет собой здесь смыслоразличительный фактор, что говорит о наличии в данном случае двух разных фонем. Напротив, придыхание согласного звука или его отсутствие в английском языке отнюдь не образует различных фонем, так как оно не играет смыслоразличительной роли. Таким же образом в пекинском диалекте [s] и [θ] равнозначны по смыслу, и если кто-нибудь произнесет слоги *šan* или *sù* как [θan] или [θuei], т. е. вместо [s] произнесет [θ], то слушающий лишь уловит нечеткое произношение говорящего (или, как говорят, «шепелявость»), но значение истолкует правильно. В английском же языке [s] и [θ] — две совершенно различные фонемы, которые не могут заменять одна другую. Например, [sin] «грех» и [θin] «тонкий» имеют совершенно различное значение².

Естественно, что размещение фонем [t'], [t], [s] в китайском и английском языках также неодинаково. Например, в английском языке существуют звуко сочетания [st-], [-st], а в китайском таких звуко сочетаний нет. Подробно останавливаться на этом вопросе мы здесь не будем.

2. 4. На приведенных примерах мы убеждаемся в том, что в каждой так называемой «структуре» (пока мы говорим лишь о фонетической структуре) заложен глубокий смысл. По существу она указывает на отношение между внутренними составными элементами языка и на законы их размещения, например на отношение [t'] : [t] или [s] : [θ] в китай-

¹ Можно обнаружить еще большее число различных «аллофонов» (см. «Очерки по общей фонетике», стр. 212).

² Пример взят из «Очерков по общей фонетике», стр. 184.

ском или английском языках и на законы их размещения. Если говорящий на английском языке считает необязательным различать [t'] и [t], а говорящий на пекинском диалекте полагает, что неразличение звуков [s] и [ʃ] не создает никаких препятствий для взаимного понимания, то это происходит не из-за отсутствия объективных физиологических и физических предпосылок для их различения, и не потому, что говорящие на этих языках физически неспособны эти пары различать (хотя, конечно, они их различать не привыкли), а лишь в силу того, что язык как таковой представляет собой систему, которая не требует такого различения. Под термином «система языка как такового» понимается специфическая структура каждого отдельного языка.

2. 5. Применение «структурного анализа» в области фонологии известно уже давно. Те два метода работы, о которых мы говорили выше, их основные принципы и основной порядок использования (подробная регистрация звуков, констатация их противопоставленности и сведение к фонемам) давно нашли себе применение в работе наших лингвистов по обследованию языков малых народностей Китая и территориальных диалектов китайского языка.

2. 6. Что касается исследователей структурального направления в языкознании, то они при практическом обследовании языков прибегают к такому же порядку в работе вне зависимости от тех методов анализа, сторонниками которых они являются¹.

В этом вопросе наши позиции в основном совпадают². Однако по другим вопросам мы во многом расходимся с представителями структурального направления.

2. 7. Выше, в разделе 2. 0, мы уже говорили о необходимости проводить различие между структурализмом и тем структурным анализом языка, которым мы пользуемся. Остановимся теперь на наших расхождениях со структурализмом и одновременно попытаемся выяснить, что же представляет собой структурализм и каковы его особенности.

2. 71. Прежде всего лингвисты-структуралисты считают, что первый из тех двух этапов работы, из которых складывается фонетический анализ данного языка, не имеет ни малейшего отношения к языкознанию вообще. Физиологические и физические особенности звуков, по их мнению, являются «нелингвистическими» (non-linguistic). Л. Блумфилд, один из основоположников американского структурального направления, писал: «Важным в языке является отнюдь не его звучание. Как действует говорящий, каковы колебания звуковых волн и как вибрируют барабанные перепонки слушающего — все это, взятое само по себе, весьма мало су-

¹ В докладе на VIII Международном съезде лингвистов (август 1957, Осло) К. Л. Пайк (Summer Institute of linguistics) между прочим говорит: «Читатель, не искушенный во взглядах этого направления, должен всегда помнить, что порядок и методы, которые рекомендуются в работах этой школы, сплошь и рядом являются только идеальными и в действительной практике работы не применяются. Иными словами, рекомендация гласит: „Вот путь, которому необходимо следовать в принципе“. Авторы же практически идут боковой тропинкой, иногда именуемой „практическим порядком“, применяя методы, совершенно отличные от рекомендуемых, и скрытые теоретические положения». Сам К. Л. Пайк является представителем эклектиков в американском структурализме. Он предполагает использовать в фонологическом анализе и значение слова, и данные грамматики (см. K. L. Pike, Grammatical prerequisites to phonemic analysis, «Word», vol. 3, № 3, 1947, стр. 155).

² В статье М. И. Стеблин-Каменского «Несколько замечаний о структурализме» говорится: «...благодаря их работам (имеется в виду Пражский лингвистический кружок. — Сюй Го-чжан) понятие системы фонем и фонемы как элемента системы вошли в обиход мировой науки и были использованы сотнями ученых в конкретных исследованиях звуковой стороны различных языков мира. Именно в области фонологии анализ, абсолютно свободный от структуралистских принципов, стал в сущности вообще невозможным» (см. ВЯ, 1957, № 1, стр. 37). Здесь «структуралистские принципы» смешиваются с понятием «структурный анализ». Мы можем заниматься структурным анализом языка, но для этого не обязательно быть структуралистом. По нашему мнению, М. И. Стеблин-Каменский в своей статье проявляет несколько преувеличенные симпатии к структурализму.

существенно. Важное же в языке заключается в обеспечении им связи между стимулом, исходящим от говорящего, и реакцией на него со стороны слушающего... Все, что необходимо для выполнения языком этой роли, — это четкое отличие каждой данной фонемы от всех остальных»¹. С точки зрения структуралистов, фонема «не представляет непосредственно существа (entity) какого бы то ни было звука, а представляет собой лишь структурную точку в общей фонетической структуре (phonology)»². Фонема «в известном смысле является продуктом интеллектуального творчества (intellectual creation) лингвистов»³.

В этом нетрудно разглядеть самый настоящий идеализм: звуки речи несущественны, существенны фонемы, а они в свою очередь представляют собой «продукт интеллектуального творчества», лишенный материальной основы. Здесь лежит первое коренное различие между нашими взглядами и взглядами структуралистов.

Мы считаем, что «исследовать систему фонем данного языка, определять „семантизированные“ (фонологизованные) признаки каждой из них можно только на основе изучения конкретного произношения данного языка и разных не менее конкретных причинных связей между отдельными элементами этого произношения... Только в свете такого изучения будут понятны многие явления фонологии»⁴.

В отличие от этого структуралисты противопоставляют фонологию фонетике, а некоторые из них⁵ считают даже, что фонетика может служить предметом изучения только для физиологов и физиков, но отнюдь не для лингвистов. Структуралисты проявляют интерес к фонеме лишь как к «структурной точке»; поэтому «структура» как единственный объект изучения у них превращается в догму, возводится в принцип.

2.72. Говоря выше о структурном анализе фонетики данного языка, мы касались уже «противопоставления», «заменяемости» и «размещения» как средств для такого анализа. При этом, однако, этими средствами мы оперируем на базе установления того значения, которое выражается данными звуками речи. Именно по этой причине в научное определение фонемы мы и включаем всегда ее смысловозначительную функцию.

Иначе смотрят на дело языковеды структурального направления. Они считают, что семантика не может привлекаться в качестве критерия установления фонем, вследствие чего они всячески стараются обойти семантику (подробнее об этом см. ниже в разделе 3.3. настоящей статьи) и в своих исследованиях опираются исключительно на «противопоставление» и «размещение». Изучение же семантики, по мнению большинства структуралистов⁶, лучше всего было бы возложить на социологов и психологов.

¹ Л. Блумфилд (L. Bloomfield, *Language*, New York, 1933, стр. 128), как и де Соссюр, фактически считает неважным материальное существование самих звуков (см. F. de Saussure, *Cours de linguistique générale*, Paris, 1916, стр. 163—164).

² H. A. Gleason, *Introduction to descriptive linguistics*, New York, 1956, стр. 186.

³ Там же, стр. 170 (Восходит к Э. Сепиру. См. «Selected writings of Edward Sapir», 1951, стр. 46).

⁴ Л. В. Щерба, *Очередные проблемы языковедения*, ИАН ОЛЯ, 1945, вып. 5, стр. 185—186.

⁵ Известным исключением является работа Р. Якобсона [R. Jakobson, C. G. M. Fant, M. Halle, *Preliminaries to speech analysis. The distinctive features and their correlates*, Cambridge (Mass.), 1952], в которой объединяются исследования по экспериментальной фонетике и фонологии. В журнале «Word» (vol. 9, № 1, 1953, стр. 58) имеется рецензия А. В. де Грота на эту книгу.

⁶ Некоторые из языковедов прочих стран также пользуются структуралистскими методами при изучении семантики (главным образом методом исследования внутренних связей в языке). Германский языковед Н. Трип, который провел исследования так называемого семантического поля (Bedeutungsfeld), считает, что данное изолированное слово вообще не имеет значения, оно приобретает свое значение лишь после сопоставления его со словом той же категории (см. Л и Ю - х у н, *Некоторые проблемы исследования семантики*, § 6, «Сифан юйвэнь», т. 2, N 2, стр. 22). Кроме этого, датский языковед Л. Ельмслев также интересовался семантикой. В своей аргументации он между прочим использовал сравнение с цветом [см. L. Hjelmslev,

Структуралисты пытаются реорганизовать лингвистику, чтобы она стала такой же точной, как естественные науки, чтобы каждая языковая единица имела свое точное определение; семантике же, по их мнению, такое определение дать невозможно. Приведем еще одно высказывание Л. Блумфилда: «Названиям минералов мы можем давать определения при помощи химии и минералогии. Например, в английском языке *salt* „соль“ — это то же, что хлористый натрий (NaCl)... Однако мы не располагаем такими же точными способами для определения слов, подобных *love* „любовь“ или *hate* „ненависть“..., а именно таких слов в языке подавляющее большинство»¹.

Мы считаем семантику познаваемой, структуралисты же считают ее едва ли не непознаваемой. Мы считаем, что семантика является необходимым критерием для установления фонемы, так же как для установления морфемы необходимым критерием является состав предложения. Структуралисты же утверждают, что семантика не может служить таким критерием, что критерием является лишь «противопоставление» и «размещение». Мы считаем, что именно в семантике находит свое воплощение общественная функция языка; структуралисты же просто отвергают семантику, обходят ее молчанием. В этом состоит второе коренное отличие наших взглядов от взглядов структуралистов.

2. 73. Расхождений наши со структуралистами по приведенным выше двум пунктам влекут за собой столь же кардинальное расхождение и по третьему пункту — о сущности языка. Структуралисты сбрасывают со счетов фонетику и семантику не потому, что не могут заниматься их исследованием, а лишь потому, что они не считают ни то, ни другое областью лингвиста. По их мнению, язык представляет собой лишь систему «знаков» или «сигналов» на манер флажного кода или огней светофора, а «противопоставление», «заменяемость» и «размещение» этих «знаков» или «сигналов» и является объектом исследования для лингвиста². Мы говорим, что язык представляет собой общественное явление, что он служит средством общения людей, вследствие чего при изучении языка необходимо учитывать и «человеческий» фактор.

В погоне за «строгой авторитетностью» своей науки структуралисты сознательно изгоняют из нее всякое упоминание о «человеческом факторе». Именно в этом пункте и невозможны для нас никакие компромиссы со структуралистами, именно в нем заключено наиболее радикальное наше с ними расхождение.

Перейдем теперь к рассмотрению методов исследовательской работы представителей структурального направления в лингвистике на примере анализа ими фонологии, морфологической структуры и синтаксиса английского языка.

3. Структуральное направление в лингвистике и фонология

3. 1. Основной способ, которым лингвисты-структуралисты пользуются для выделения фонем, состоит в «противопоставлении», т. е. в сравнении фонем путем «сопоставления слов» или «наименьших сопоставимых единиц» (*minimal pairs*). Например, английские слова *bill* : *pill* представляют собою «наименьшие сопоставимые единицы». Слово «наименьшие» в составе этого термина указывает, что данные звуко сочетания отличаются друг от друга только одной парой фонем. Путем сопоставления *bill* : *pill* выделяются две фонемы [b] и [p]; таким же образом путем сопоставления звуко сочетаний *till* : *dill* : *chill* : *Jill* : *kill* : *gill* можно выделить фонемы [t], [d], [tʃ], [dʒ], [k], [g].

Prolegomena to a theory of language, Baltimore, 1953 (Suppl. to «International journal of American linguistics», vol. 19, № 1, 1953, стр. 33—34). См. также L. Bloomfield, указ. соч., стр. 140 и H. A. Gleason, указ. соч., стр. 4].

¹ L. Bloomfield, указ. соч., стр. 139.

² См. J. B. Carroll, The study of language, Cambridge (Mass.), 1955, стр. 36.

3.2. Однако для выделения некоторых фонем в английском языке не-легко найти такие «наименьшие сопоставимые единицы». Так обстоит, например, дело с фонемами [ʒ] и [ʃ]. Структуралисты разрешают подобный вопрос путем сопоставления в два приема: прежде всего они берут «сопоставимые единицы», которые различаются двумя парами различных фонем, сначала определяют первую из них и затем — вторую. Например, в словах *treasure* : *pressure* требуют сопоставления две пары фонем: [t] : [p] и [ʒ] : [ʃ]. Структуралисты считают, что «если мы попросим диктора несколько раз подряд повторить эти два слова, то в составе слова *treasure* неизменно будет присутствовать звук [ʒ], а в слове *pressure* — звук [ʃ]... Для этого явления существует два возможных объяснения. Первое: мы имеем дело с двумя различными фонемами, вследствие чего произнесение диктором этих двух звуков является одинаковым на всем протяжении эксперимента; второе: наличие звуков [ʒ] и [ʃ] обусловлено влиянием предшествующих [t] в одном случае и [p] — в другом. Сделаем пока следующее допущение, которое и подвергнем в дальнейшем проверке: если в слове присутствует [t], то в дальнейшем в нем возможен звук [ʒ], но не [ʃ]; если же в слове присутствует звук [p], то в дальнейшем в нем возможен звук [ʃ], но не [ʒ]. Такое допущение позволяет нам объяснить состав пары *treasure* — *pressure*. Однако для других случаев оно оказывается несостоятельным. Например, в слове *pleasure* наличествуют звуки [p] и [ʒ], а в слове *tresky* — [t] и [ʃ]. Поэтому нам остается лишь отказаться от сделанного допущения: иначе оно только запутает наши рассуждения... Мы должны рассматривать данные звуки как две разные фонемы»¹.

3.20. Мы привели длинную цитату из работы одного из представителей структурального направления не потому, что в ней заключалось какое-то выдающееся открытие, а только потому, что на этом примере со всей отчетливостью обнаруживаются характерные особенности методики исследований у структуралистов.

3.21. Во-первых, мы не должны считать бессмысленным или абсурдным допущение, что наличие звуков [ʒ] и [ʃ] зависит от предшествующих [t] и [p]. Конечно, такое допущение представляется несколько смешным, когда оно делается в отношении такого старописьменного и подробно описанного с фонетической стороны языка, каким является английский. Однако в принципе оно лишь иллюстрирует «осторожный подход» структуралистов к изучаемому вопросу. Прежде всего американское направление структуральной лингвистики возникло на основе обследования языков американского материка (так же, как английское направление структуральной лингвистики возникло на основе изучения африканских языков), которые первоначально были бесписьменными. Представители структурального направления в лингвистике переносят на английский язык тот же метод исследования фонем, который применялся ранее к языкам, еще не имевшим письменности.

3.22. Во-вторых, в приведенной выше цитате нигде не говорится, что [ʒ] и [ʃ] различны в фонетическом отношении: автор доказывает их различие лишь на основе противопоставления. Это говорит о том, что структуралисты в своих теоретических изысканиях (но не на практике своей работы) намеренно уклоняются от того первого этапа работы, о котором мы говорили выше — от обследования звуков речи. Объектом исследования для структуралистов являются исключительно фонемы и отношения между ними, но не материальная основа фонем. Поэтому они предпочитают заниматься отысканием «наименьших сопоставимых единиц», а не пользоваться данными, предоставляемыми фонетикой. Например, для того чтобы доказать соотношение [ʒ] и [ʃ], были найдены «наименьшие сопоставимые единицы» *allusion* : *Aleutian* (на отыскание чего,

¹ Н. А. Gleason, указ. соч., стр. 26.

говорят, было потрачено два года); чтобы доказать соотношение [θ] : [ð], были найдены такие «наименьшие сопоставимые единицы», как *thigh* : *thy* и *thistle* : *this'll* и т. д.

3. 23. В-третьих, свой метод исследования структуралисты обосновывают также требованием строгой цельности системы и детального обоснования каждого теоретического положения. Допущение — доказательство — вывод — таков главнейший метод их лингвистических исследований. В принципе против этого возражать не приходится; однако, к сожалению, во многих вопросах у структуралистов мы находим много прекрасных логических рассуждений, но мало новых вскрытых ими фактов языка¹.

3.3. Здесь возникает интересный вопрос: раз структуралисты не желают пользоваться данными фонетики, то каким образом узнают они о том, что найденные ими «наименьшие сопоставимые единицы», например *thigh* «бедро» : *thy* «твой», являются разными словами? Мы в этих случаях обратились бы к семантике, но структуралисты отказываются и от нее. Как же решают они это противоречие?

3. 31. На этот вопрос едва ли не каждый структуралист отвечает посвоему, но все они единодушны в своем стремлении его обойти. Л. Блумфилд, например, отвечает на него так: «Конечно, мы должны семантическими путями вскрывать, какие из неразличаемых акустических черт (gross accoustic features) составляют в представлении „говорящего“ (т. е. диктора. — Сюй Го-чжан) „одно“ и какие представляют „разное“»² (NB! слова «одно» и «разное» в оригинале заключены в кавычки). Автор продолжает: «Единственным критерием для этого может быть ситуация говорящего и реакция слушающего»³. Эти слова позволяют еще раз убедиться, что структуралисты рассматривают язык как систему сигналов. В значении нет ничего «общего» и «разного», все определяется только «ситуацией» и «реакцией».

3.32. З. Харрис (Harris), известный в американском структуральном направлении как автор классического труда «Methods of structural linguistics», на тот же вопрос дает ответ, в общем солидаризируясь с Л. Блумфилдом. В главе «Различение фонем» Харрис пишет: «Возьмем для примера *she's just fainting* и *she's just feigning*. Попросим двух дикторов несколько раз повторить друг другу эти фразы и посмотрим, схватывает ли слушающий смысл сказанного говорящим. Если слушающий правильно угадает смысл сказанного хотя бы в 50% случаев, то это будет значить, что между обоими отрезками речи не существует таких различий, которые стоило бы описывать. Если же слушающий правильно угадывает смысл сказанного во всех 100% случаев, — значит между ними действительно существует различие, которое стоит описать»⁴. Угадывание сказанного в 50% случаев говорит о возможности взаимозамены обеих фонем, стопроцентное же угадывание — о невозможности такой замены. Однако слово «угадывание» является здесь весьма неудачным, ибо оно само по

¹ См. E. H a u g e n, Directions in modern linguistics, «Language», vol. 27, 1951, стр. 221. Э. Хауген является представителем эклектики в американском структуральном направлении, поскольку он стоит за использование данных фонетики и семантики при анализе структуры языка. В указанной выше статье дается осторожная оценка американскому направлению в структуральной лингвистике. Основное теоретическое положение Э. Хаугена: сущность (entity) любого языка может быть описана с двух точек зрения в зависимости от того, подходите ли вы к нему «снаружи» или «изнутри». Традиционное языкознание пользовалось подходом «извне», а современное языкознание (т. е. структурализм) пыталось подойти к языку «изнутри», т. е. для него основными критериями являются «отношение» — «размещение». Хауген считает, что такой подход, возможно, даст нам полезные сведения о внутренней структуре языка, однако внешние признаки все равно необходимы, в противном случае невозможно будет доказать объективное существование этих «отношений».

² L. B l o o m f i e l d, указ. соч., стр. 128.

³ Там же.

⁴ Z. S. H a r r i s, Methods of structural linguistics, Chicago, 1951, стр. 32-33.

себе уже предполагает наличие смысловых различий. И если автор говорит лишь о необходимости догадок со стороны дикторов и не требует, чтобы оба они сообща между собой определили, существует ли смысловая разница между словами *fainting* и *feigning* или ее нет, то в этом отчетливо обнаруживается стремление автора уйти от семантики.

3.33. Г. Глисон понимает вопрос иначе¹. Пользуясь формулировками датского структуралиста Ельмслева, он делит язык на две составные части — «содержание» (content) и «выражение» (expression). «Для того чтобы найти фонему (в английском языке), — пишет он, — мы выбираем для сопоставления примеры из разговорного английского языка, которые должны отличаться как по „содержанию“, так и по „выражению“. Так, *Bill* (мужское имя) и *bill* („счет“) совершенно различны по „содержанию“, но идентичны по „выражению“. Если мы прочтем вслух одно из этих слов вне контекста, то никто не сможет сказать, которое из двух было прочитано. Различие в „содержании“ не сопровождается здесь различием в „выражении“. Такая пара слов никак не помогает установлению фонем в английском языке. Напротив, взятые для сопоставления *bill* и *pill* различаются как по „содержанию“, так и по „выражению“. Последнее различие поможет слушающему дифференцировать эти слова и увязать их с соответствующим „содержанием“»².

Пользуясь понятиями «содержание» и «выражение», Глисон определяет значение как отношение между «выражением» и «содержанием», уклоняясь тем самым от вопроса о значении.

3.34. Из сказанного ясно, что структуралисты в своих работах уклоняются от учета семантики совершенно аналогично тому, как они уклонялись от учета фонетики. Отправным пунктом для этого им служит положение: «язык можно и должно изучать как имманентную структуру (structure immanente)», в чем и состоит методологическая основа структурального направления в лингвистике.

3.4. Что такая методология является идеалистической, мы указали уже выше, в разделе 2.71. Но этого мало. Даже в практической работе применение ее вряд ли оказывается состоятельным. Если даже понятие «наименьших сопоставимых единиц» действительно оказывается полезным для установления фонем, то этот метод может быть эффективным только при условии применения его на материальной основе — на звуках речи. Структуралисты считают этот метод единственно надежным, на деле же он все время заводит их в тупик. Так, до настоящего времени структуралисты все еще продолжают поиски «сопоставимых единиц» для английского фонем [ɜ]: [v, ʃ, tʃ, dʃ, h, j, w, h] и [h]: [ʒ, ð, j, w, h]. Поэтому в своей практической работе структуралисты фактически вынуждены избирать, как они выражаются, «кратчайший путь», который сплошь и рядом сводится к оперированию звуками речи.

Нельзя, однако, сказать, что представители структурального направления не достигли никаких успехов в работе по обследованию фонетической системы языков. Это относится особенно к обследованию ранее бесписьменных языков, например американских и африканских. Однако и здесь есть основания полагать, что эти успехи достигнуты ими не только благодаря структуральному анализу.

3.5. Другим способом анализа и описания фонемы у представителей структурального направления в лингвистике является «размещение». Подобно тому как при выделении фонем структуралисты отказываются от доказательств, предоставляемых фонетикой, при описании фонем они ни словом не касаются положения артикуляционных органов при произнесении данного звука, говоря лишь о связях, в которые данная фонема способна вступать с другими фонемами.

¹ Н. А. Gleason, указ. соч., гл. 2, 12, 13.

² Там же, стр. 15.

Например, структуралисты дают следующее описание гласной фонемы [a] в английском языке: [a] — слогаобразующая гласная, впереди и позади которой возможны одна, две или три согласных, но может не быть и ни одной согласной (иными словами, она способна и к самостоятельному существованию); в ударном положении она противопоставлена всем прочим фонемам. При помощи «отношений размещения» структуралисты пытаются по-новому объяснить такие проблемы, как определение гласного, согласного или слога, — проблемы, которые являются предметом бесконечных споров между фонетистами традиционного направления¹.

3.6. По сравнению со своими предшественниками структуралисты провели более тонкую работу по обследованию размещения согласных в английском языке. Их предшественники сплошь и рядом оперировали примерами, отбрасывая совершенно произвольно. Например, они объясняли особенности фонетической структуры английского языка тем, что [ʒ] не может якобы стоять в начале отрезка речи, что невозможно в начале слова стечение согласных [nr-] или что [h] не может стоять на конце и т. д. В противоположность этому, во французском языке возможно [ʒan] — *Jeanne*, а в русском [nraʃ] — *прав*. Лингвисты же структурального направления стараются давать подробное описание размещения фонем в данном языке на основании результатов проведенного ими фонологического анализа, т. е. приводят все возможные сочетания данной фонемы как в начале, так и в середине или на конце данного отрезка речи. Они показывают, какие фонемы способны появляться впереди или позади каких фонем и какие к этому неспособны. Чехословацкий лингвист Трнка (Trnka), руководитель кружка по изучению английского языка в Пражском университете, провел особенно тщательное исследование этого вопроса². Блумфилд дал общее описание размещения фонем в английском языке³; Харрис графически (в таблицах) изложил все возможные структуры начальных звуко сочетаний в английских словах, причем в простоте и наглядности превзошел описание Блумфилда⁴.

Подобные описания, безусловно, помогают разобраться в фонетической системе данного языка. Поэтому не случайно в книге советского профессора Б. А. Ильиша специальная глава посвящена размещению фонем в английском языке⁵.

4. Структуральная лингвистика и морфология

4.1. Переходя в нашем обзоре от фонетики в область грамматики и, в частности, морфологии, мы можем отметить еще одну особенность структуральной лингвистики — ее антиисторизм или, если воспользоваться терминологией самих же структуралистов, «синхронно-лингвистический»⁶ метод исследования. Так, например, под термином «American English» мы понимаем одно из ответвлений английского языка, распространенное в Соединенных Штатах. Это ответвление представляет собою диалект, сложившийся в определенных исторических и географических условиях после колонизации Америки англичанами в XVI в. Поэтому, трактуя вопросы «American English», лингвисты традиционного языкознания под-

¹ Например, J. D. O'Connor, J. L. M. Trim, Vowel, consonant and syllable — a phonological definition, «Word», vol. 9, № 2, 1953, стр. 103.

² B. Trnka, General law of phonemic combinations, TCLP, 6, 1936, стр. 57.

³ L. Bloomfield, указ. соч., стр. 131.

⁴ Z. S. Harris, указ. соч., стр. 153.

⁵ Б. А. Ильиш, Современный английский язык, М., 1948.

⁶ Обычно считают, что выражения «синхронический» (synchrónique), «диахронический» (diachronique) впервые предложены Ф. де Соссюром. Здесь следует сказать о его взглядах на грамматику. Ф. де Соссюр считал, что имеется лишь описательная, т. е. «синхронная», грамматика, а «историческая грамматика» не существует, поскольку нет такой грамматической системы, которая могла бы быть одновременно использована в нескольких различных периодах (см. F. de Saussure, Cours..., стр. 185). Структуралисты вслед за де Соссюром занимают такую же антиисторическую позицию относительно метода исследования грамматики.

ходят к ним под углом зрения отличий «American English» от собственно английского языка и не останавливаются на чертах, общих для того или другого¹.

Однако в работе представителя структурального направления Фриза «American English grammar» (1940) в термин «American English» вкладывается иное содержание: автор исследует практическое употребление тех или иных английских слов в примерах английской речи, собранных им в США. Что же касается вопроса о том, для какой части этих слов данное употребление в прошлом было одинаковым с их употреблением в собственно английском языке, а в настоящее время стало специфически отличным, и для какой части слов данное употребление было и остается в обеих странах совершенно одинаковым, — эти вопросы не являются для автора предметом исследования. «Грамматика американского английского языка» — это грамматика английского языка в его употреблении американцами (материал, обследованный Фризом, — это «письма из народа», поступившие в двадцатых годах в адрес правительства США).

Подлинной характерной особенностью структурального метода исследования является отказ от рассмотрения тех изменений, которые происходили в языке (например, от вопроса о том, как «American English» развился из собственно английского языка). Структуралистов интересует лишь современное состояние языка или, говоря точнее, изучение языка как застывшего, статического объекта. Поэтому их метод можно было бы называть статическим. Подобно человеческому обществу, язык постоянно изменяется (хотя некоторые его части, например основной словарный фонд и грамматика, изменяются медленнее). Если ради удобства своего исследования лингвист принимает язык в какой-то отрезок времени за объект, находящийся в статическом состоянии, то такое допущение является вполне правильным (например, грамматический анализ в учебных грамматиках большей частью представляет собою именно статический, т. е. синхронный, анализ).

4.2. Тем не менее многие явления не могут быть объяснены путем статического анализа. Возьмем, например, глаголы с внутренней флексией — типа *take* или *fall* в английском языке. Беря за основу парадигму глагола в современном английском языке, характеризующуюся добавлением к основе окончаний [ɪd], [d], [t] (*wanted, lived, passed*), некоторые грамматисты называют «неправильными глаголами» или «исключениями» те глаголы, которые образуют свои формы путем внутренней флексии. Фактически тем самым в интересах статического описания снимается трудно разрешимое противоречие. В самом деле, названия «неправильный глагол», «исключение» и т. д. приемлемы лишь под углом зрения «синхронности», при «диахроническом» же подходе к вопросу они вообще непримемлемы: ведь то, что теперь является «неправильным», в какой-то определенный исторический период было нормой.

4.3. Пытаясь сделать свое «синхронное описание» целостной системой, структуралисты разрешают данное противоречие тем, что подгоняют «неправильное» под «правильное» и «исключение» под «норму».

Их метод состоит в следующем: пары *take* и *took* или *fall* и *fell* рассматриваются как разные морфемы, *took* и *fell* считаются морфемными альтернантами *take* и *fall*, формы же прошедшего времени *took* и *fell* рассматриваются как основные с добавленным нулевым окончанием. Получается следующая парадигма:

форма прошедшего глагола *live* = *live* + окончание прошедшего времени [d];

¹ Наиболее известным примером, конечно, служит «A dictionary of American English on historical principles», edited by W. A. Craigie, vol. 1—4, Chicago, 1938—1944. В нем собраны слова и значения американского происхождения. См. также статью одного из редакторов этого словаря М. М. Мэтьюса: M. M. Matthews, Of matters lexicographical, «American speech», XXXII, 1, 1957.

форма прошедшего времени глагола *pass* = *pass* + окончание прошедшего времени [t];

форма прошедшего времени глагола *take* = *took* + окончание прошедшего времени [нуль];

форма прошедшего времени глагола *fall* = *fell* + окончание прошедшего времени [нуль].

Пользуясь тем же способом, Б. Блох сводит к девяти важнейшим типам флективные изменения в формах прошедшего времени и причастия II английского глагола¹.

Приведем для примера пять первых из них:

Тип	Окончание прошедшего времени	Окончание причастия прошедшего времени	Пример
A	[d]	[d]	live
B	[t]	[t]	pass
C	[нуль]	[n]	fall
D	[нуль]	[нуль]	put
E	[d]	[n]	show

Из положений автора следует, что к типу А, помимо «правильных» глаголов, им отнесены также глаголы, как *tell, told; told, say, said, said*, причем морфемными альтернантами первого из них являются [tel] и [toul], а второго — [sei], [se]. Таким же образом к типу В причисляются глаголы *think, thought, thought* или *keep, kept, kept* с морфемными альтернантами [θɪŋk, θɔ:] и [ki:p, keɪp]² соответственно. К типу D причисляются *sing, sang, sung* и *swim, swam, swum*. Отсюда следует, что хотя данный представитель структурального направления в лингвистике намеренно избегает всякого упоминания об исторических изменениях гласных звуков в парадигме времен английского глагола и строит свою теорию исключительно на окончаниях глагола в современном английском языке, тем не менее объединение в одном типе *swim, swam, swum* и *put, put, put* оказывается весьма произвольным.

Поскольку основная предпосылка структуралистов — это язык как система сигналов (или знаков), такому подходу к вопросу с их стороны не приходится удивляться. Раз это сигналы, значит задумываться над историческим развитием языка совершенно незачем.

4.4. При описании языка структуралисты ставят перед собой еще одну цель — добиться простоты описания. Простота описания составляет предмет особой гордости лингвистов структурального направления.

Простота описания сама по себе вещь очень хорошая. Излагая фонетическую систему или грамматику данного языка, каждый из нас всегда стремится добиться максимальной простоты изложения. Но если простота превращается в самоцель, если ради нее приходится втискивать язык в прокрустово ложе структуральных схем, например относить *swim, swam, swum* к одному типу с *put, put, put*, то результат может быть лишь один: создание еще одной новой схемы в идеалистической концепции структуралистов. Это, однако, не способствует обнаружению новых фактов в языке или объяснению фактов уже известных и оказывается тем более бесполезным для методики преподавания данного языка.

4.5. Мы отнюдь не хотим опорочить тех или иных лингвистов, которые потратили немало сил, стремясь к «простоте описания», например, хотя бы описания фонологических законов появления у английских существительных и глаголов окончаний [iz], [z], [s].

В самом деле, появление указанных фонем в окончаниях английских слов происходит в следующих четырех случаях:

¹ В. Влох, English verb inflection, «Language», vol. 23, № 4, 1947, стр. 399.

² Хотя, конечно, *tell, say, think, keep* в современном английском языке относятся к «исключениям», в древнеанглийском языке они относились к категории глаголов слабого спряжения, т. е. к одной категории с глаголом *live*, но изменение гласного в этих глаголах уже давно существовало в древнеанглийском языке.

1) форма множественного числа существительных:

<i>glass</i> : <i>glasses</i>	[iz]
<i>pen</i> : <i>pens</i>	[z]
<i>book</i> : <i>books</i>	[s]

2) форма притяжательного падежа существительных:

<i>Bess's</i>	[iz]
<i>John's</i>	[z]
<i>Dick's</i>	[s]

3) устная форма *is* (безударного):

<i>Bess's ready</i> (= <i>Bess is ready</i>)	[iz]
<i>John's ready</i>	[z]
<i>Dick's ready</i>	[s]

4) окончание глагола 3-го лица настоящего времени:

<i>He misses</i>	[iz]
<i>He runs</i>	[z]
<i>He breaks</i>	[s]

В учебниках традиционной грамматики практикуются два способа описания вариантов, отмечаемых в этих четырех случаях: первый способ — взять за исходную точку орфографию и объяснить, в каких условиях какое правописание применяется (например, после *ss*, *sh*, *ch* ставится *es*, после *o* также обычно пишется *es*, *y* на конце меняется на *ies*, в остальных случаях ставится *s* и т. д.), после чего делается переход к произношению. Второй способ строится на фонетической стороне явления. В этом случае поясняют, какие фонетические изменения происходят в результате изменений морфологических (например, после гласного и звонкого согласного появляется [z], после глухого [s], после сибилантов и аффрикат [iz] и т. д.). Однако независимо от того или другого способа, описание во всех случаях связывается с семантикой, ибо, конкретно говоря, формы *Bess's* (в контекстах *Bess's ready* и *Bess's hand*), хотя совершенно идентичны фонетически, передают различные значения.

Представители структурального направления пользуются совершенно иным способом описания. Не считаясь с различиями в значениях, они объединяют все четыре категории изменений в одну. Кроме того, в целях наибольшей простоты описания они берут за исходное [iz], поскольку [iz] может функционировать самостоятельно (в случае ударного *is*). Таким образом и получается следующее «простейшее описание». В английском языке любая морфема в форме [iz, ez] в безударном положении утрачивает свой гласный звук после всех фонем, кроме сибилантов и аффрикат, с последующей заменой [z] на [s] после глухих¹.

4.6. Описание языкового явления в наиболее простой форме позволяет изучающему данный язык прийти к максимально обобщенному пониманию данного явления и облегчает запоминание обучающемуся. Сама по себе такая цель является, конечно, вполне достойной: начинать описание языка с описания его фонетических форм — это порядок работы, принятый всеми уже давно. Укажем попутно, что некоторые учебники иностранных языков, вышедшие в Китае в настоящее время, в этом отношении подлежат еще значительной переработке: большая часть этих учебников начинается, правда, с «Фонетического курса», и в этом их положительная сторона, но с переходом к разделу грамматики все внимание авторов сплошь и рядом бывает обращено на орфографические формы, фонетические же формы игнорируются.

Однако, отдавая все свое внимание описанию одних только фонетических форм, представители структурального направления в лингвистике преследуют еще одну цель — уклониться от вопросов, связанных со

¹ См. L. Bloomfield, указ. соч., стр. 212.

«значением». Точно так же как они отказываются от «значения» в своих фонологических исследованиях, они отказываются от него и при исследовании морфологии и, как увидим ниже, при исследовании синтаксиса. Если в результате этого они и приходят формально к простому, пусть даже виртуозному, изложению описываемого явления, то описание это остается, возможно, интересным лишь для специалиста по дескриптивной лингвистике, и на практике (например, в методике преподавания) применить его оказывается едва ли не невозможным.

4.7. Другой способ, которым пользуются дескриптивные лингвисты структурального направления ради «простоты изложения», заключается в установлении ими понятия «морфемный альтернант», иначе «алломорф», что позволяет им сводить неодинаковые фонетические варианты одной и той же морфемы в одну общую морфему. Совершенно аналогично тому, как различные «аллофоны» сводились ими в одну общую «фонему», различные «морфемные альтернанты», или «алломорфы», тоже могут быть сведены в одну общую «морфему». Например, к глагольному окончанию [d] отнесен также «морфемный альтернант» [ɪd], поскольку нет необходимости отдельно описывать [ɪd] как появляющийся лишь в определенном фонетическом окружении после [t], [d]. Точно так же три «морфемных альтернанта» [z, s, ɪz] можно обозначить общим значком [z]. «Морфемный альтернант» по существу представляет собою обобщенное описание морфологических изменений и обусловленных последними изменений фонетической формы. Так появляется термин «морфофонемика», т. е. сводное описание морфемы и фонемы. На наш взгляд, это опыт, который оказывается довольно полезным.

4.8. Отказ представителей структурального направления от семантики определяет их подход и к изучению «частей речи». Выделение частей речи на протяжении всей истории языкознания всегда было спорным вопросом, и структуралисты особенно яро выступают против традиционного разграничения частей речи в духе латинской грамматики. Структуралисты предлагают иной способ выделения частей речи: совершенно аналогично тому, как «противопоставление» или «замещение» были использованы для сведения звуков в фонемы¹, они пользуются «замещением» для сведения слов в категории частей речи. Разумеется, это строится на теоретической основе, полностью отвечающей их фонологической теории: раз семантика лежит вне структуры языка, значит лучше всего ее вообще не касаться. К примеру, если в отрезке речи *the child disappeared* слово *child* заменить словом *man* и результатом такой замены окажется возможный в английском языке новый отрезок речи, значит можно считать, что *man* и *child* относятся к одной и той же части речи, или, пользуясь терминологией структуралистов, относятся к одному «классу замещения» (substitution class)².

Метод замещения по существу сводится к определению окружения, в котором способно появляться данное слово, и тем самым «размещение» этого слова. Таким образом, он целиком совпадает с методикой структуралистов в фонологическом анализе. Возможность замены словом *man* слова *child* в фразе *the child disappeared* означает не что иное, как способность появления обоих слов *man* и *child* в позиции после артикля *the* и перед глаголом *disappeared*. По этой причине такая грамматика получила также название «позиционной грамматики» (grammar of position)³.

Примеры описания частей речи в такой грамматике.

И м я с у щ е с т в и т е л ь н о е: морфемы, способные выступать

¹ *bill* : *pill* образуют «наименьшие сопоставимые единицы», другими словами [b] не может заменить [p].

² Пример взят из статьи: Z. S. Harris, From morpheme to utterance, «Language», vol. 22, № 3, 1946, стр. 163.

³ Определение взято из кн.: H. Whitehall, Structural essentials of English, 1957 (см. рецензию в журнале «Сифан юйвэнь», т. 2, № 1).

в позиции перед показателем множественного числа *s* или его альтернантами, а также после артикля *the* или после имени прилагательного.

Глагол: способен выступать в позиции перед показателем прошедшего времени *-ed* или перед его альтернантами, а также перед *-ing* и после существительного, сопровождаемого *should, will, might* или другими вспомогательными глаголами.

Глаголы 1 группы: сюда принадлежат глаголы, способные выступать в позиции между существительным и прилагательным (кроме глаголов на *-ing*). Таковы *appear, become, get, keep, stay* и т. д. Пример: *The stuff will stay fresh.*

Глаголы 2 группы: сюда принадлежат глаголы, способные выступать в позиции между существительным и глаголом на *-ing*. Таковы *stop, try, be* и т. д. Пример: *Mac will be walking.*

Глаголы 3 группы: сюда принадлежат глаголы, которые способны выступать в позиции перед двумя отдельными существительными. Таковы *make, consider* и т. д. Пример: *I consider the concert a success*¹.

Имя прилагательное: способно выступать между артиклем *the* и существительным, но никогда не выступает перед показателем множественного числа *-s*.

Надо признать, что для языков с твердым порядком слов и сравнительно слабым словоизменением, каким является английский язык, отнесение данного слова к той или иной категории частей речи в зависимости от позиций, в которых оно способно выступать, может оказаться полезным. Термину «позиция» здесь придается более широкое значение, чем обычный «порядок слов»; он включает в себя не только положение перед словами определенной категории, но и положение перед морфемами, например перед *-s* или *-ed*. По мнению структуралистов, такая позиция — достаточный критерий для деления слов на лексические классы («word-class», но не «part of speech»); одновременно выявляется **с т р у к т у р н о е з н а ч е н и е** слова (или морфемы). Чтобы пояснить эту мысль, Фриз приводит широко известные странные стихи, вложенные автором «Алисы в стране чудес» в уста Джемберуоки:

It was brillig, and the slithy toves
Did gyre and gimble in the wabe;
All mimsy were the borogoves,
And the mome raths outgrabe².

Это стихотворение является шутиливой абракадаброй, смысл которой понять невозможно, так как большинство слов выдуманы самим автором. Однако, прослушав его, Алиса говорит: «Не знаю почему, у меня от этих стихов голова битком набита мыслями, но только никак не могу понять, что это за мысли!» Но чем же вызваны эти «мысли», если большая часть слов стихотворения придумана автором? Фриз поясняет: ее мысли вызваны не «лексическим значением» (lexical meaning), а следующими «сигналами»:

It was—ing, and the—y—s.
Did—and—in the—;
All—y were the—s,
And the— s—».

Значение, которое сообщают эти «сигналы», структуралисты и называют «структурным значением» (structural meaning), чтобы не смешивать

¹ В оригинале глаголы делятся на семь категорий, мы приводим из них только три (см. Z. S. Harris, *From morpheme...*).

² Ср. русский «перевод»:

«Сварнело. Провко ящук
Паробуделись на вселянке.
Хворчасти были шивабраки,
Земены чхрыли в издомлянке»

(Перевод Л. В. Успенского, цит. по кн.:
А. Федоров, О художественном переводе, Л., 1941, стр. 234).

его с лексическим значением. Это довольно тонкое объяснение, и другие представители структурального направления также зачастую прибегают к подражанию этим странным стихам для пояснения важности «структурного значения»¹. Однако вопрос стоит так: может ли позиция, которую способно занимать данное слово, объяснить все, что этого слова касается? Как отмечает Харрис, слово, стоящее между артиклем *the* и существительным, действительно будет прилагательным, почему понятным оказывается и построение *And the — y — s*; однако это определение, данное прилагательному, ни в какой мере не делает понятным построение *All — y were*. Далее, об окончаниях прилагательных. Конечно, структуралист может сказать: морфемы *-y*, *-ish*, *-ous* способны выступать в позиции после прилагательного². Но, по определению самих же структуралистов, все слова (или морфемы), способные занимать одинаковые позиции, допускают взаимное замещение. Значит, казалось бы, *-y*, *-ish* и *-ous* также должны обладать такой способностью. Однако такое положение не может объяснить всех фактов языка. В самом деле, хотя слова *windy* и *windish* способны заменять друг друга без влияния на «структурное значение», в действительности слова эти имеют неодинаковое значение. Что касается *windous*, то в английском такой формы не существует.

4.9. Конечно, структуралисты пользуются понятием «позиция» для определения частей речи потому, что считают слишком громоздким метод исследования частей речи традиционных грамматистов. Фриз, например, указывал, что далеко не все грамматисты считают прилагательными слова, отмеченные в следующих предложениях: *My father's house was a large stone building*; *The appropriations committee approved our department budget*; *The culture of the plains Indians differed from that of the East Coast Indians*; *Most of these students arrived a few days ago*; *Some of the officers there are my friends*. Если представителей структурального направления не удовлетворяет чрезмерная громоздкость и сложность анализа при определении частей речи (форма слова, синтаксическая функция, значение и т. д.) у лингвистов традиционного направления, и они пытаются определять части речи при помощи единого критерия «заменяемости» или «размещения», стремясь унифицировать этот сложный и запутанный процесс, то их особенно упрекать не приходится. Тем не менее результаты их исследований часто сплошь и рядом дают повод для разочарования. Так, в приведенных выше примерах даваемое ими определение имени прилагательного может решить вопрос в отношении трех слов — *father's*, *appropriations*, *plains*, но оно никак не может решить вопрос в отношении слов типа *ago* и *there*³. Метод «замещения» очень часто подводит структуралистов. Очень трудно отыскать такое идеальное «окружение», которое позволило бы словам, относящимся к одной части речи, свободно замещать друг друга. Например, слова *poem* и *house* могут свободно замещать друг друга во фразе *that's a beautiful...*; однако слово *butter* подставить на их место нельзя. Если же сказать, что слово *butter* способно появляться лишь в окружении, несколько отличным от предыдущего (например, *that's a beautiful piece of...*), то какие-то категории существительных в английском языке придется описывать порознь, а тогда данное определение существительного окажется несостоятельным.

¹ Например, Глисон (H. A. Gleason, указ. соч., стр. 134) фразу *The iggle squigs trazed wombly in the harlish goop* объясняет так: хотя в этой фразе *in the harlish goop* понять нельзя, однако мы можем выяснить «структурное значение» этого отрезка речи путем сопоставления его с *in the red house* из предложения *He lived in the red house*. Далее, *-ish* в слове *harlish* позволяет думать, что это прилагательное; оно занимает именно такую позицию, в которой вообще может появляться прилагательное. Напротив, если в этом предложении пеликом смешать порядок слов, представив его в следующем виде: *Goop harlish iggle in squigs the the trazed wombly*, то мы не увидим никакой структуры.

² См. Z. S. Harris, *From morpheme...*, стр. 168.

³ В указанном сочинении Фриза имеется категория так называемых «слов-адьюнктов».

5. Синтаксис и структуральное направление

5.1. Когда при изучении «морфологии» структуралисты исходят из «окружения» слова (или морфемы), в котором возможно их замещение, то фактически тем самым в своих исследованиях они трактуют «морфологию» и «синтаксис» как одно целое. В самом деле, понятие «окружения» по существу относится уже к области «синтаксиса». Подобно тому как при изучении морфологии структуралисты были против традиционного определения «частей речи», в своих исследованиях по синтаксису они отказываются от традиционного определения «членов предложения» (в основе которого лежит значение)¹. Поэтому и здесь им приходится применять тот же метод, каким они пользовались в фонологии и морфологии: метод «замещения». Разница состоит только в том, что в фонологии и морфологии предметом замещения служили отдельные фонемы и слова (или морфемы), а в синтаксисе — отрезок речи (или несколько связанных между собой морфем).

Например, при определении членов предложения во фразе *The old man who lives there has gone to his son's house*, *old man* может быть замещено на *graybeard*; *lives there, has gone* и *his son's* можно соответственно заменить на *survives*, *went* и *that*. Такое замещение продолжается вплоть до получения непосредственных составляющих (*immediate constituents*, сокращенно I. C.) всего предложения. На таблице это выглядит следующим образом:

The	old man	who	lives	there	has	gone	to	his	son's	house
The	graybeard	who	survives		went		to	that		house
The	graybeard	surviving			went		to	Boston		
The	survivor				went		there			
He					went					

5. 2. Термин «непосредственные составляющие»² применяется структуралистами на всех ступенях последовательного анализа предложения. Так, в указанном нами предложении непосредственными составляющими будут *the old man who lives there* и *has gone to his son's house*, поскольку первая часть замещается в конце концов через *he*, а вторая через *went*. Если, однако, рассматривать одну часть, например *has gone to his son's house*, непосредственно составляющими будут уже *has gone* и *to his son's house*, поскольку первая часть может быть замещена через *went*, а вторая — через *there*. Принцип замещения состоит здесь в замене данного отрезка речи отдельным словом. Если после замещения результат его оказывается приемлемым для английского языка (т. е. полученное будет иметь смысл), то этим будет доказано, что та часть предложения, которая на данной ступени анализа подверглась замещению, представляет собой одну из «не-

¹ Например, Фриз против определения «подлежащего как субъекта действия»; он считает, что в следующем предложении *committee* веде будет «субъектом действия», но лишь в первом предложении это подлежащее: 1) *The committee recommended his promotion*; 2) *His promotion was recommended by the committee*; 3) *The recommendation of the committee was that he be promoted*; 4) *The committee's recommendation was that...*; 5) *The action of the recommending committee was that...*

² Здесь указывается лишь на основной метод анализа. Имеется еще более детальный (по существу, более перегруженный мелкими деталями) метод. См., например: R. S. Wells, *Immediate constituents*, «Language», vol. 23, № 2, 1947, стр. 81.

посредственно составляющих» рассматриваемого отрезка предложени я либо отдельное слово — это наименьшая единица, не поддающаяся уже дальнейшему замещению. Методом такого последовательного замещения возможно определить «непосредственные составляющие» на каждой ступени анализа и отсюда определить синтаксические связи между ними.

5.3. Из изложенного ясно, что как и в своей методологии исследования фонологии и морфологии, структураллисты и в синтаксисе пользуются методом, который с точки зрения системы представляется стройным и цельным. Однако при более пристальном рассмотрении этого метода можно убедиться, что в нем по существу ничего нового нет. Так называемые «непосредственно составляющие» предложения *The old man who lives there has gone to his son's house* оказываются в обычной терминологии не чем иным, как «группой подлежащего» и «группой сказуемого»; «непосредственно составляющие» словосочетания *has gone to his son's house* оказываются обычными «глаголом-сказуемым» и «обстоятельством». «Последовательное замещение» — это метод исследования, который оставляет в стороне значение и исходным пунктом которого служит исключительно структура. Но хотя это и так, нахождение «непосредственно составляющих» как способ синтаксического анализа, по-видимому, оказывается в известной степени полезным. Если привести в него элементы значения, он может оказаться полезным для синтаксического разбора предложения.

6. Структуральная лингвистика и машинный перевод

6.1. Идея машинного перевода, возникшая лет десять тому назад, к структуральной лингвистике прямого отношения не имеет. Насколько можно судить по появившейся литературе, мысль о возможности машинного перевода была выдвинута не лингвистами, а специалистами по счетно-электронным машинам. Машинный перевод представляет собой лишь одну из областей практического применения счетно-электронной машины. С другой стороны, большинство работ представителей структуральной лингвистики в капиталистических странах посвящено описанию фонетической и грамматической системы языка, и нам пока не приходилось видеть, чтобы кто-либо с позиций структуральной лингвистики ставил в своих работах на обсуждение вопросы машинного перевода. Все, кто в этих странах занимается вопросами машинного перевода, также подходят к нему только с точки зрения разработки словаря для автоматического перевода и проектирования программ перевода; судя по первым шагам этих исследований, пока нельзя утверждать, что отправным их моментом является структурализм. В этих работах вообще отводится очень мало места теории языкознания, в том числе и теории структурального направления в лингвистике¹.

6.2. В отличие от ученых капиталистических стран, которые стремятся лишь к решению практических проблем технического порядка, советские языковеды с первых же шагов обратили внимание на то, что «проблема машинного перевода представляет большой научный интерес, так как требует нового подхода к изучению языков и взаимоотношений между способами выражения одной и той же мысли на разных языках»². Они указывают, что машинный перевод строится на формализации соотношений между языками и что, следовательно, для решения этой задачи «необходимо опираться на те лингвистические теории, которые в исследовании языка исходят из его формальной стороны. В современном языкознании — это различные направления структурализма»³.

¹ В лучшем случае говорят только, что понятие «классы форм» (form classes), применяемое в машинном переводе, близко соприкасается с положениями Блумфилда, Харриса, Фриза и др. См. сб. «Machine translation of languages», New York — London, 1955, стр. 216.

² П. С. Кузнецов, А. А. Ляпунов, А. А. Реформатский, Основные проблемы машинного перевода, ВЯ, 1956, № 5, стр. 108.

³ Там же, стр. 109.

6.3. Здесь прежде всего надо ответить на следующий вопрос: поскольку представители структурального направления в лингвистике считают язык системой знаков, а бурижуазные ученые, занимающиеся машинным переводом, считают всякий перевод с языка на язык всего лишь переходом с одного кода на другой, то независимо от того, обращаются ли последние в своей аргументации к теориям лингвистов структурального направления или нет, в своем исходном положении («язык есть система знаков») они в итоге солидаризируются с теорией структурализма; и если мы признаем, что теории структурального направления в лингвистике оказываются полезными для исследований в области машинного перевода, то не означает ли это, что мы готовы признать и их теоретическую предпосылку — «знаковую теорию языка»?

Здесь нет необходимости еще раз доказывать, что язык — это специфическое общественное явление. Если бы даже мы и поставили знак равенства между машинным переводом и телеграфным кодом, неправомерность такого сравнения скоро обнаружилась бы. Верно, что код — это система знаков, однако она представляет письмо, но отнюдь не язык (каждый знак кода представляет букву или пиктограмму).

Письмо действительно является системой знаков, и кодирование — это перевод одних знаков на другие. Отсюда, однако, нельзя еще делать вывод о том, что сам язык является системой знаков. Гораздо более важно, что код является искусственной системой знаков; люди вольны по своему усмотрению вырабатывать те или иные коды для передачи письменных знаков. Другое дело — перевод с одного языка на другой: система каждого из них определена его собственными историческими и общественными условиями, и люди не могут создавать ее произвольно. Поэтому проблема машинного перевода заключается не в переводе с одного кода на другой, а состоит в отыскании взаимных соответствий обеих систем, или (что то же самое) в отыскании соотношений между различными формами выражения одной и той же мысли в обоих языках. Именно отысканием таких соответствий (или соотношений) лингвисты могут внести свой вклад в дело машинного перевода. И при изучении этих соответствий некоторые методические приемы структуралистов могут быть нами использованы.

6.4. В разделах нашего обзора мы не раз имели случай указать, что в своих исследованиях языка структуралисты отказываются от семантики, т. е. предполагают, что им самим значение анализируемого языкового материала неизвестно. Такая предпосылка, которая вряд ли применима в работе над языком, может оказаться, как нам представляется, полезной, если речь идет о машинном переводе. В самом деле, машина не может мыслить (но может «запоминать»); во время работы она способна лишь переводить последовательно слово за словом (или морфему за морфемой); эти механические операции, конечно, требуют от лингвистов разработки особых методов для разрешения вопросов значения при программировании перевода.

6.5. Слово, имеющее одно значение, не создает трудностей как для обычного, так и для машинного перевода. Трудность заключается в полисемии. Детальный анализ и синтез многозначных служебных слов сделан грамматистами традиционного направления уже давно; работа эта, однако, строилась на предпосылке, что значение, выраженное средствами языка, известно, и лишь в очень редких случаях этот вопрос решался на основе позиции, занимаемой данным служебным словом. Машина же неспособна улавливать значение целого отрезка текста. Поэтому при переводе значения целого необходимо исходить из порядков, в которых появляется то или иное служебное слово. В этом отношении «теория позиционной грамматики» структурального направления (см. выше, раздел 4.8), несомненно, представляет практическую ценность. Например, форма *der* в немецком языке может выступать и как артикль, и как указательное или относительное местоимение. В свою очередь, в качестве артикля она в раз-

ных случаях указывает на различный род, число и падеж. С точки зрения традиционной грамматики значение *der* изменяется в зависимости от его служебной роли. Если же подойти к этому явлению с точки зрения позиционной грамматики, описание его будет совершенно иным. Например, можно будет сказать, что если *der* появляется после слова, написанного с заглавной буквы (т. е. существительного, поскольку в немецком языке все существительные пишутся так), и не отделяется от этого слова запятой, то слово *der* можно перевести на английский язык через *of the*. Отсутствие запятой говорит о том, что в данном случае *der* не является относительным местоимением и, находясь между двумя существительными (наличие или отсутствие между ними прилагательного не является существенным), выступает в функции артикля, указывая на родительный падеж второго из них. Например, *Die Studenten der Universität* = *The students of the university*¹. Руководствуясь принципами позиционной грамматики, можно таким же образом определить некоторые соответствия при переводе, например, с французского языка на русский (например, *considérons la série* = *рассмотрим ряд*)².

6.6. Все эти примеры говорят о том, что теория позиционной грамматики структурального направления может помочь выработать конкретные правила перевода слов или морфем, обладающих несколькими грамматическими значениями. Однако это касается лишь явлений грамматической полисемии. Да и здесь приходится признать, что таких «чистых и гладких» правил получается немного. Если же перейти к лексике, то в ней проблема полисемии оказывается гораздо более сложной, и ограниченность метода позиционного анализа, конечно, скажется гораздо сильнее. Легко можно себе представить случай, когда одно и то же слово в одном и том же окружении или одно и то же предложение, состоящее из одних и тех же членов, могут получить совершенно различное значение в зависимости от интонации, эмоциональной окраски речи или отношения говорящего лица. Эта проблема не может быть решена при помощи позиционного анализа. Именно по этой причине современная переводная машина и способна переводить лишь научно-техническую литературу. Некоторые советские языковеды, положительно относясь к возможности машинного перевода, указывают вместе с тем на его ограниченность, органически связанную со специфическими особенностями самого языка³.

6.7. Машинный перевод представляет собою новую проблему, поставленную перед лингвистами с изобретением счетно-электронных машин. Она имеет огромное значение для сбора научной информации, для научных отраслей оборонного значения, а также для методики преподавания языков. В Советском Союзе изучением этой проблемы занимаются совместно и лингвисты, и математики. В I Московском государственном педагогическом институте иностранных языков создано отделение по машинному переводу. Сейчас выпускается специальное издание, посвященное машинному переводу. В Китае проблемами машинного перевода занимаются пока немногие. Чтобы достигнуть уровня передовой науки, с нашей стороны нужны еще большие усилия, мы должны еще более пристально следить за исследованиями в этой области, которые проводятся в Советском Союзе, и перенимать результаты этих исследований.

Перевела с китайского С. А. Серова

Под ред. проф. И. М. Ошанина

¹ Пример взят из доклада В. Н. Локке и В. Х. Ингве на VIII Международном съезде лингвистов.

² Пример взят из статьи: О. С. Кулагина, П. А. Мельчук, Машинный перевод с французского языка на русский, ВЯ, 1956, № 5, стр. 118.

³ См. Л. С. Бархударов и Г. В. Колшанский, К вопросу о возможностях машинного перевода, ВЯ, 1958, № 1.

Ю. Д. ДЕШЕРИЕВ, Г. А. КЛИМОВ, Б. Б. ТАЛИБОВ

ОБ УНИФИКАЦИИ НАИМЕНОВАНИЙ НЕКОТОРЫХ ЯЗЫКОВ КАВКАЗА

Из четырех групп (ветвей), составляющих иберийско-кавказские, или кавказские, языки, наиболее многочисленной по составу языков является группа горских дагестанских языков. Естественно, что чаще всего разноречием в названиях языков и языковых групп наблюдается именно в этой языковой группе. Данная группа распадается на следующие подгруппы: аваро-андо-цезская, или аваро-андо-дидойская, даргинская, лакская и лезгинская. Термины «даргинский», «лакский», «лезгинский» являются общепризнанными и никакого возражения не вызывают. Что же касается термина «аваро-андо-цезская», или «аваро-андо-дидойская», подгруппа, то совершенно ясно, что эти термины являются слишком громоздкими и малоудобными. Следовало бы называть эту группу просто «аварской». Данная группа может быть названа «аварской» с таким же правом, с каким мы аналогичную подгруппу называем «лезгинской».

Аварская группа соответственно распадается на три подгруппы: на собственно аварскую, представленную аварским языком с его многочисленными диалектами и говорами, андийскую и дидойскую (цезскую). Термин «андийский» широко употребляется и не вызывает возражений. На терминах же «дидойский», «цезский» мы остановимся ниже.

Такие языки, как аварский, даргинский, лакский, лезгинский, табасаранский, ругульский, агульский, цахурский, андийский, чамалинский, арчинский, хваршинский, гинухский, ахвахский, ботлихский, каратинский, имеют в специальной литературе закрепившиеся за ними наименования, и перед исследователями не встает вопрос об уточнении названия этих языков; что же касается наименований «кюринский язык», «хюркилинский язык», использованных известным исследователем кавказских языков П. К. Устаром для обозначения лезгинского и даргинского языков, то эти названия не получили распространения ввиду того, что ни языки в целом не называются «кюринским», «хюркилинским», ни жители, говорящие на них, не носят общего названия кюринцев, хюркилинцев. Стало быть, перечисленные языки не нуждаются в унификации их наименований. Но, кроме того, в Дагестане существуют еще сравнительно мало изученные языки, которые не имеют своей письменности и литературы. Именно в отношении некоторых из таких языков в кавказоведческой литературе существуют разнообразные названия, различные написания, которые порой вводят читателя в заблуждение относительно объекта, о котором идет речь. Особенное разнообразие в наименованиях одного и того же языка наблюдается в языках так называемой андо-дидойской подгруппы.

Так, например, язык, распространенный на северном склоне Кавказского хребта (в Дагестанской АССР), в специальной литературе именуется по-разному: одни исследователи называют этот язык цезским (или цунтинским), другие — цезским (или дидойским), а третьи — дидойским. Какому же термину из этих наименований данного языка можно отдать предпочтение? Можно было бы, конечно, этот язык назвать цезским, или цунтинским, поскольку эти наименования получили наибольшее распространение как среди самих цезов, так и среди окружающих их народов, в част-

ности среди аварцев. Однако термины «цезский», «цунтинский» имеют один большой недостаток, а именно: в специальной литературе эти термины встречаются реже, чем, скажем, термин «дидойский». В пользу последнего термина вместо терминов «цезский», или «цунтинский», говорит также весьма существенное обстоятельство, нашедшее отражение в памятниках древнегрузинской письменности: термин этот служил древнейшим племенным названием народа, жившего в местности, занимаемой ныне дидойцами¹; следует отметить к тому же, что такие древние авторы, как Плиний, Птоломей, называют носителей данного языка «дидурги», «дидур». Исходя из вышеизложенных соображений, мы считаем правильным предпочесть термин «дидойский» наименованиям «цезский» и «цунтинский».

В специальной литературе нет твердо установленного наименования также для гунзибского языка: он именуется гунзибским, гунзальским, хунзальским, энзебским, гунзским и нахадинским (от названия села Нахади). Все перечисленные разновидности для обозначения этого языка (за исключением названия «нахадинский») происходят от наименования с. Гунзиб б. Ритлябского района Даг. АССР, самого крупного пункта, населенного носителями указанного языка. Если в данном случае язык этот назван по наименованию населенного пункта, то в целях согласования с названием указанного пункта в официальной дагестанской литературе² этот язык, по нашему мнению, следовало бы назвать не гунзийским, гунзальским, хунзальским и т. п., а г у н з и б с к и м.

То же самое следует сказать и о бежитинском языке, который именуется то бежитинским, то капучинским (согласно грузинскому названию с. Бежта — Капуча), то капутино-гунзибским. В выборе наименования для данного языка, по нашему мнению, следует придерживаться вышеизложенного принципа наименования языка по названию населенного пункта, поскольку такое наименование встречается в литературе; это наименование должно согласовываться с названием соответствующего пункта в официальной дагестанской литературе³. Таким образом, этот язык следует называть не бежитинским, капучинским, хванским или капутино-гунзибским, а бежитинским языком.

Нет единого наименования и для таких языков, как тиндинский (он же тиндальский, тиндийский), годоберинский (он же годоберийский), багулальский (он же богулальский, богвалинский). При выборе наименований для данных языков мы исходим из принципа наибольшего употребления того или иного наименования в специальной литературе. С этой точки зрения мы предлагаем называть данные языки тиндинским, годоберинским, багулальским.

Из языков, относящихся к лезгинской подгруппе, варианты наименований имеют крызский (джекский) и будухский (будугский) языки. В последнее время в научной литературе наиболее употребительны термины «крызский» и «будухский», которые происходят от названий наиболее крупных населенных пунктов носителей указанных языков в Шахдагских горах и в то же время являются племенными названиями. Эти причины позволяют нам называть указанные языки «крызским» и «будухским».

Название «хиналугский» — единственный распространенный термин, употребляемый для наименования языка, носители которого живут в селе Хиналут Конахкентского района Азербайджанской ССР. Это наименование происходит от названия этого населенного пункта. Хиналугский язык занимает особое место среди горских дагестанских языков. Термин «шах-

¹ См. Н. Я. Марр, Кавказские племенные названия и местные параллели, «Труды Комиссии по изучению племенного состава населения России [Российской Академии наук]», 5, Пг., 1922, стр. 33.

² См. «Административно-территориальное деление Дагестанской АССР на 1 июля 1955 г.», Махачкала, 1955, стр. 72.

³ См. Там же.

дагские языки» употреблялся в качестве общего наименования для трех языков: будухского, крызского и хиналутского, когда не было известно, в каких генетических связях эти языки находятся с остальными горскими языками. Сейчас, когда точно установлено, что крызский и будухский относятся к лезгинской группе, а хиналутский занимает особое место среди кавказских языков, необходимость пользоваться этим термином отпадает.

Для обозначения картвельской языковой группировки в свое время было предложено несколько различных терминов. Наиболее удачным из них, как показывает специальная литература, оказался термин «картвельские языки», впервые использованный проф. А. Цагарели (*kartveluri enebi*). В настоящее время его употребление в советской литературе не вызывает никаких возражений и считается общепринятым. В западноевропейской литературе последний термин также вытесняет постепенно другие наименования. Не вызывает также никаких возражений употребление в специальной литературе терминов «грузинский язык» и «сванский язык».

Сложнее обстоит дело с наименованием третьего ингредиента картвельской языковой общности, для обозначения которого пока еще нет единого термина. Следует при этом отметить, что до последнего времени наукой не была дана даже точная лингвистическая квалификация этой единицы. Как известно, более ранние классификации картвельских языков включали четыре члена этой группы: грузинский, сванский, мегрельский (или мингрельский) и чанский (или лазский) языки. Указанные классификации создавались еще в то время, когда генетическое взаимоотношение данных языков было исследовано в очень слабой степени, и согласно им мегрельский и чанский представлялись отдельными языками; при этом особое значение придавалось культурно-историческому фактору, обусловливавшему серьезные различия между мегрелами и чанами. Сила этой традиции повлияла как на А. Цагарели, так и на Н. Я. Марра¹, считавших последние самостоятельными языками, а также на ранние статьи проф. К. Д. Дондуа².

В настоящее время наиболее авторитетным следует считать мнение, которого придерживаются крупнейшие картвеллисты: проф. А. С. Чикобава и проф. А. Г. Шанидзе³; согласно их мнению, чанский и мегрельский — два диалекта одного и того же языка. В настоящее время возникает потребность в закреплении единого названия за этим языком. Наиболее употребительным в специальной литературе в последнее время следует признать термин «занский язык» (груз. *zanuri ena*), впервые введенный в научный обиход А. С. Чикобава⁴. Хотя он и условен, однако имеет свои основания и исторически увязывается с племенным названием как мегрелов, так и чанов. Встречающийся также термин «чанско-мегрельский», или «мегрельско-чанский», для обозначения этого языка представляется громоздким и к тому же используется весьма редко. Наконец, заметим, что «лазский» и «мингрельский» — устаревшие синонимы названий обоих занских диалектов — чанского и мегрельского.

Несколько слов следует сказать о названиях грузинских диалектов, встречающихся в специальной литературе. Если в научной литературе на грузинском языке в отношении названий грузинских диалектов не

¹ Н. Я. Марр, впрочем, делал при этом одну весьма существенную оговорку: «Лазский и мингрельский собственно один язык с точки зрения лингвистических норм; это — два наречия одного языка, но вследствие культурного разобщения они разошлись до степени соотношения двух языков» (Н. Я. Марр, [реп. на кн.:] И. Кипшидзе, Грамматика мингрельского (иверского) языка с хрестоматией и словарем, ЗВО РАО, т. XXIII, вып. 1—II, 1915, стр. 204).

² К. Д. Дондуа, Об агглютинативном характере грузинского склонения, «Докл. АН СССР», [Серия] В, № 4, 1931, стр. 63.

³ См. Арп. Чикобава, Грамматический анализ чанского (лазского) диалекта с текстами, Тифлис, 1936, стр. 226—227; А. Г. Шанидзе, К этимологии слова *selicad-i*, сб. «Целидзеული» («Ежегодник Грузинского языковедческого общества», т. 1—2), Тифлис, 1923—1924, стр. 2 (на груз. яз.).

⁴ Арп. Чикобава, указ. соч., стр. 3—4.

существует расхождений, то в русской научной литературе имеются следующие расхождения: картлийский и карталинский; имерский и имеретинский. В последнее время употребление терминов «картлийский» и «имерский» становится все более систематическим. К тому же они являются более точными. Название «картлийский диалект» связано с названием области Картли (груз. Kartli), в то время как термин «карталинский» происходит от русского названия одного из грузинских княжеств — Карталинши. Что касается терминов «имерский» и «имеретинский», то термин «имерский» точнее соответствует грузинскому *imeruli*, в то время как термин «имеретинский» происходит от русского названия княжества Имеретии.

В области абхазо-адыгских языков прежде всего следует остановиться на этом термине. Последовательно употребляющийся в работах крупнейшего исследователя этих языков проф. Г. В. Рогава, он становится все более популярным и в остальной советской специальной литературе. Это название более или менее удачно отражает состав данной языковой группы, указывая на то, что она состоит, с одной стороны, из абхазского и абазинского, с другой же — из адыгских (черкесских) языков; это название, однако, не учитывает убыхский язык, также входящий в рассматриваемую группировку. Менее удачным представляется термин «абхазо-адыгейские языки», встречающийся иногда в литературе и указывающий по существу лишь на абхазский и адыгейский, тогда как под термином «адыгские языки» понимают два близко родственные языка — адыгейский и кабардинский, или кабардино-черкесский. Следует отметить при этом, что термин «черкесский» как синоним «адыгского» в последнее время не встречается.

Из названий отдельных языков данной группы никаких возражений не вызывают наименования «абхазский», «убыхский», «адыгейский». Термин «кабардинский язык», быть может, следовало бы заменить термином «кабардино-черкесский», с тем чтобы учесть говорящее на данном языке население Черкесской автономной области Ставропольского края.

Расхождение в терминологии имело место на почве существования различных точек зрения на диалектный состав абхазского языка. Согласно наиболее популярной из них, абхазский язык представлен двумя группами диалектов: южные диалекты представляют абжуйский и бзыбский (к югу от Кавказского хребта), а северные — тапанта́нский и анхарский. Согласно другой точке зрения два последних считаются диалектами самостоятельного абазинского языка. Поскольку в наше время развиваются два литературных языка, в основу каждого из которых положен определенный диалект, правомерно говорить о двух литературных языках — абхазском и абазинском, не совпадающих по литературным нормам и имеющих тенденцию в будущем еще больше расходиться. В то же время необходимо учитывать, что местные диалекты, лежащие в основу этих двух литературных близко родственных языков, восходят к одной и той же языковой основе. Это и дает право рассматривать их в сравнительно-историческом плане как два диалекта, восходящие к абхазо-абазинскому языку-основе.

Наконец, остановимся на вейнахской группе языков. Вейнахские языки вошли в научную литературу под разными названиями: «чеченские языки», «нахские языки», «вейнахские языки», «кистинские языки», «кистинско-бацбийские языки», «бацбийско-кистинские языки». Из этих терминов наиболее удачным мы считаем термин «нахские языки». К нахским языкам относятся ингушский, бацбийский и чеченский языки. Ингушский и чеченский дробятся на диалекты и говоры. Промежуточное положение между ингушским и чеченским языками занимает аккинская речь. За чеченским, ингушским и аккинским мы предлагаем закрепить термин «вейнахские языки», поскольку они весьма близки между собой и стоят несколько обособленно от бацбийского.

Исследователи справедливо отмечают, что аккинский, ингушский и чеченский языки настолько близки между собой, что представляется

возможным развитие их в единый литературный (письменный) язык. Аккинское наречие называется также ауховским. Термин «аккинский» восходит к племенному названию *аькксий*. За этим наречием следует закрепить термин «аккинский», который не нуждается в особом обосновании.

Обособленное положение в этой группе языков занимает бацбийский язык. Он имеет еще несколько наименований, встречающихся в литературе: тушский, тушинский, цовский, цова-тушинский. В последнее время наибольшее распространение получил термин «бацбийский», который восходит к самоназванию бацбийцев и который следует закрепить за их языком.

Ингушский язык имеет также названия «галгаевский» или «западновейнахский», однако наиболее употребительным является термин «ингушский», который и целесообразно закрепить за этим языком. Различные наименования существуют для чеченского языка, который называется еще кистинским, нохчийским, восточновейнахским. Наибольшее распространение получил ныне термин «чеченский», который и следует закрепить за этим языком.

Нами сделана лишь первая попытка унификации названий кавказских языков и групп. По нашему мнению, следует продолжить эту работу; было бы весьма желательно, чтобы местные научные учреждения организовали обсуждение вопроса: специалисты по отдельным языкам смогли бы внести ценные коррективы в рекомендуемые нами термины.

Ниже прилагается таблица терминов, рекомендуемых нами для языков и групп языков, в названиях которых наблюдается разноречие.

Термины, встречающиеся в научной литературе:	Рекомендуемые термины:
Аваро-андо-цезские языки, аваро-андо-дидойские языки	Аварские языки
Дидойские языки, цезские языки	Дидойские языки
Чеченский, нохчийский, восточновейнахский	Чеченский язык
Бацбийский, цовский, цова-тушинский, тушский	Бацбийский язык
Вейнахские, кистинские, бацбийско-кистинские и др.	Нахские языки
Ингушский, чеченский (вместе с аккинским диалектом)	Вейнахские языки
Цезский, цувтинский, цезский (дидойский), дидойский	Дидойский
Гунзибский, гунзийский, гундальский, гундальский, энзебский, нахадильский, гунзский, хванский	Гунзибский
Бежтинский, бежтитинский, капучинский, капучино-гунзибский, хванский	Бежтинский
Тиндинский, тиндийский, тивдальский	Тивдинский
Годоберинский, годоберийский	Годоберинский
Багулальский, багулальский, багваллинский	Багулальский
Крызский, дикеский	Крызский
Будухский, будугский	Будухский
Чанско-мегрельский, мегрельско-чанский, занский, лверский	Занский
Картлийский, карталинский	Картлийский
Имерский, имеретинский	Имерский
Абхазо-адыгские, абхазо-адыгейские, северо-западные языки Кавказа	Абхазо-адыгские
Кабардинский, кабардино-черкесский	Кабардино-черкесский
Адыгейские, адыгские, черкесские	Адыгские

СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ

Б. И. НАДЭЛЬ и Р. Г. ПИОТРОВСКИЙ

О ХРОНОЛОГИЧЕСКИХ И СТИЛИСТИЧЕСКИХ ПОПРАВКАХ В ДИАХРОНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

Определение соотношения между разговорной речью и языком письменных памятников является одним из основных вопросов при изучении истории того или иного языка. Некоторые языковеды пытаются решить этот вопрос путем простого отождествления живой речи с языком письменных памятников. Примером могут служить работы американских романистов школы Г. Ф. Мюллера (Г. Ф. Мюллер, И. А. Пей, Л. Ф. Сас, П. Тейлор), в которых меровингские и каролингские документы VII—VIII вв. рассматриваются как аутентичное свидетельство галлороманской речи¹. Однако живая речь в древних текстах обычно не отражена. Ее приходится восстанавливать при помощи косвенных данных. Чаще всего здесь применяются следующие приемы: а) обратные реконструкции при помощи данных родственных языков; б) использование текстовых реагентов, т. е. таких текстовых явлений, которые, обладая внутренней связью с другими интересующими ученого, но скрытыми от его непосредственного наблюдения процессами, отражают своими изменениями ход этих последних.

В меньшей степени здесь могут быть применены наблюдения древних писателей и грамматистов, а также анализ заимствований в других языках. Однако часто случается, что слишком прямолинейное использование этих приемов даст в отношении одного и того же восстанавливаемого явления разные, не сводимые к одному знаменателю результаты.

Одна из основных причин такого положения состоит в том, что указанные приемы применяются без учета дополнительных поправок, т. е. хронологических, стилистических, лингво-географических и других коррективов, каждый из которых представляет собой своеобразный дифференциал, получаемый в результате сопоставления не менее двух явлений, одно из которых может быть и не языковым феноменом (историческим, географическим, археологическим и т. п.). Поскольку каждый языковой факт представляет собой индивидуальный комплекс различных языковых и неязыковых функций, то по существу эта поправка (или поправки) должна выводиться применительно к каждому реконструируемому языковому факту в отдельности (в лучшем случае к группе близких или однотипных фактов).

Особенное значение приобретают лингвистические поправки в случаях применения статистического метода для анализа языкового материала. Дело в том, что в настоящее время одной статистической методикой пока еще нельзя исчерпать всю сложность языковых процессов. Больше того,

¹ Как известно, это положение подверглось в свое время справедливой критике Г. Мейера. См. H. M e i e r, Über das Verhältnis der romanischen Sprachen zum lateinischen, RF, Bd. 54, Hft. 2, 1940, стр. 187. Ср. также Б. И. Надэль, Проблема «народной» латыни и вопросы происхождения молдавского языка в свете трудов И. В. Сталина по языкознанию, «Уч. зап. [Ин-та истории, языка и литературы МФАН СССР]. Серия филологическая, т. IV—V, Кишинев, 1955, стр. 130—131.

без предварительных поправок на жанр, стилевую структуру, хронологическую характеристику исследуемого текста его статистическая обработка может дать искаженную картину языковой действительности¹.

Так, например, как уже указывалось, романисты американской школы проф. Мюллера считают, что позднелатинский текстовый материал до первой половины VIII в. может в «разумных пределах» отражать живую народную речь, в то время как документы конца VIII в. отражают уже «искусственный» язык, что связано с реформаторской деятельностью Карла Великого. Исходя из этой предпосылки, Л. Ф. Сас обстоятельно обследовал большое количество латинских памятников VI—VIII вв. с целью показать рост аналитических и сокращение флективных элементов в системе латинского склонения².

В выводах исследования даны процентно-статистические таблицы, которые должны дать общую картину хода исследуемого процесса³. Однако уже при беглом ознакомлении с материалом таблиц бросается в глаза, что подсчеты Саса не отражают последовательного нарастания в памятниках элементов аналитизма, которые следовало бы ожидать, исходя из данных романских языков⁴.

Преобразуя полученные Сасом результаты в виде графика, получаем:

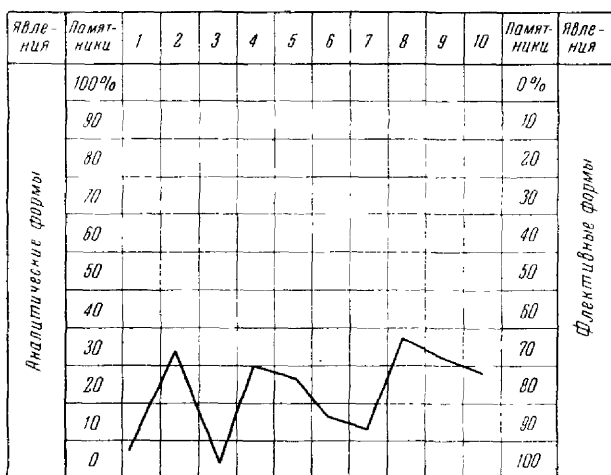


График наглядно показывает, что приведенные статистические данные очень непоследовательно отражают рост аналитизма в системе позднелатинского склонения. Уже «скачки» статистической кривой свидетельствуют о том, что подсчеты Саса не отражают реальный ход языкового развития, которое происходит обычно путем постепенного накопления фактов. Весь график нуждается в каком-то коррективе. В чем же сущность этого последнего? Здесь нужно иметь в виду не только общее соотношение

¹ Ср. по этому поводу: P. Guiraud, *Les caractères statistiques du vocabulaire. Essai de méthodologie*, Paris, 1954, стр. 75—88; В. В. Иванов, *Вероятностное определение лингвистического времени (в связи с проблемой применения статистических методов в сравнительно-историческом языкознании)*, сб. «Вопросы статистики речи (материалы совещания)», М., 1958, стр. 66—67; Р. Г. Потроровский, стр. 85—92; A. R a u n, *Über die sogenannte lexikostatistische Methode oder Glottochronologie und ihre Anwendung auf das Finnischugrische und Türkische*, «Ural-Altische Jahrbücher», Bd. XXVIII, III, 3—4, 1956, стр. 151—154.

² См. L. F. S a s, *The noun declension system in Merovingian Latin*, Paris, 1937, стр. 16. Правда, следует заметить, что в статистических выкладках Л. Ф. Саса имеются и некоторые недочеты: оперируя общим количеством интересующих его феноменов, автор не учитывает объема текста в разных памятниках, а также часто использует ничего не говорящие читателю малые величины (ср. стр. 408, 409, 430 и др.).

³ Там же, стр. 499—518.

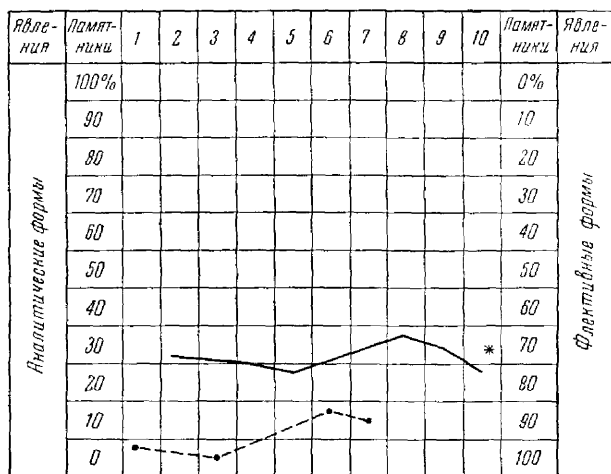
⁴ Там же, стр. 499, 500, 502, 506, 509.

языка письменных памятников раннего средневековья и народноразговорной протороманской речи, но и внутрителивую дифференциацию письменного языка. В письменном языке меровингской и каролингской эпох выделяются два стиля: литературно-повествовательный и канцелярско-деловой. Как известно, зависимость литературного стиля от классических норм была всегда весьма значительна. Проникновение народноразговорных элементов, конечно, имело здесь место, но оно встречало сознательное сопротивление со стороны средневековых книжников и совершалось помимо их воли.

Иное дело канцелярско-деловой стиль. Здесь авторы и переписчики средневековых документов шли обычно двумя путями в выборе языковых средств. Во-первых, средневековые книжники в меру своих филологических возможностей стремились копировать образцы латинской деловой речи. Они широко использовали (особенно в начале и конце документа) формулы латинского делового стиля, стремясь таким образом сублимировать изложение и придать ему характер авторитетности. Во-вторых, нужно было сделать содержание документа понятным для заинтересованных лиц, которые говорили на языке, уже довольно далеко ушедшем от латинских канонов. Поэтому авторы и переписчики вынуждены были несколько приближать свое изложение к нормам живой речи и наряду с бессознательным употреблением народноразговорных форм сознательно вводили в текст протороманские обороты, а иногда и целые купюры¹.

В связи с этим памятники, ориентирующиеся на литературный стиль, показывают значительно меньшую степень романизации, чем памятники канцелярско-делового стиля. Учитывая эту стилистическую дифференциацию, попробуем перегруппировать памятники, используемые в книге Саса. «Peregrinatio Aetheriae», «Historia francorum» Григория Турского, «Liber historiae francorum», а также в целом и «Formulae Marculfi»² попадут в группу памятников, написанных в литературно-повествовательном стиле, остальные памятники бесспорно отражают канцелярско-деловой стиль.

Учитывая эту стилистическую перегруппировку памятников, соответственно расчленим приведенный выше график:



* Сокращение аналитических форм в картуляриях 770—800 гг. объясняется оживлением латинских традиций в эпоху так называемого Каролингского возрождения.

¹ Это относится также ко всякого рода примечаниям на обороте документов. Ср.: J. Viellard, *Le latin des diplômes royaux et chartes privées de l'époque mérovingienne*, Paris, 1927, стр. 110; M. A. Pei, *The language of the eighth century texts in northern France*, New York, 1932, стр. 10—11 и 386.

² Хотя «Формулы Маркульфа» по содержанию представляют собой деловые документы, по характеру изложения они близки к памятникам литературно-повествовательного жанра.

Как явствует из последнего графика, применение стилистической поправки к статистическим данным Саса позволяет обнаружить в них реальное отражение постепенного накопления аналитических элементов в системе позднелатинского склонения.

*

В современных глоттохронологических исследованиях наряду со стилистическим коррективом приходится применять и собственно хронологическую поправку. При этом чаще всего оба корректива используются вместе. Примером такого комбинированного корректива может служить поправка, принимаемая при тех лингвистических расчетах, которые приходится проводить при определении времени возникновения романского артикля¹.

Критериями превращения позднелатинских указательных прилагательных *ille* и *ipse* в артикль служит, во-первых, их регулярное употребление, а во-вторых, фонетическая синкопа. Во Франции регулярное употребление синкопированных детерминативов (артикля) впервые отмечается в конце IX в. («Секвенция о св. Евлапии»), в Испании — на рубеже X—XI вв. (Силосские и Эмпляньские глоссы), в Италии — по существу с XI—XII вв. («Formula di confessione», «Ritmo cassinese» и др.²). Однако здесь мы имеем дело каждый раз с первым письменным проявлением романской речи, дата которого является более или менее случайной и не дает, таким образом, возможности судить о времени формирования артикля. В разговорном языке этот последний мог появиться и сто, и двести, и триста лет до появления первых романских памятников.

Поэтому необходимо фиксировать появление синкопированных детерминативов в тех стилях романо-латинской письменности, где письменная традиция не прерывалась. Наиболее подходящим с этой точки зрения стилем является канцелярско-деловой. Вместе с тем в деловых текстах встречаются изредка и вкрапления народноразговорной речи. Эти последние особо необходимы при определении искомой поправки.

В чем же состоит сущность этой поправки? Она заключается в том, что данные канцелярско-делового стиля необходимо спроецировать на народноразговорную речь, являющуюся той средой, в которой обычно происходит формирование новых языковых категорий. В свою очередь это стилистическое проецирование сводится к определению хронологической разницы между первым появлением интересующей нас формы в канцелярско-деловом обиходе и ее зарождением в разговорной речи. Именно поэтому указанная поправка является не только стилистической, но также и хронологической.

После этих предварительных замечаний перейдем к определению искомой поправки. Учитывая разные темпы формирования и развития романских языков, мы будем определять указанную поправку для каждой зоны отдельно. Начнем с зоны французского языка. Впервые препозитивные синкопированные формы местоименных сопроводителей появляются в деловых документах на рубеже IX и X вв. Ср. в Клунийских хартиях: «el alio campo in la cultura a Bieria, vocant super los Grineurios» (документ 900 г., Брея — см. ChCL, 1, стр. 78)³; «infra ista terminatione

¹ Ср. Р. Г. Плотровский, Формирование определенного артикля в романских языках. Автореф. докт. диссерт., Л., 1956. Ср. A. L. Kroese, Romance history and glottochronology, «Language», vol. XXXIV, № 4, 1958, стр. 454—457.

² См. соответствующие: В. Ф. Ишимарев, Книга для чтения по истории французского языка IX—XV вв., М.—Л., 1955, стр. 22—24; R. Menéndez Pidal, Orígenes del Español, Estado lingüístico de la península Iberica hasta el siglo XI, Madrid, 1950, стр. 1—24; W. von Wartburg, Raccolta di testi antichi italiani, Bern, 1946, стр. 110—12.

³ В статье приняты следующие сокращения: AGIt — «Archivio glottologico italiano», Torino; F. Brunot — F. Brunot, Précis de grammaire historique de la langue française, Paris, 1899; Э. Бурсье — Э. Бурсье, Основы романского языкозна-

la medietate» (документ 902 г., Каstellо — см. ChCl., I, стр. 86) и др. Разговорной речи они были известны, очевидно, уже в конце VIII в. Ср. их использование в нугливой надписи разговорного характера на рукописи Салической Правды: «de cabo. la tota, lis potionis, la terciat», Hussels, XII. Ср. также топоним *Lagarda* в документах начала IX в. (см. A. Vincent, § 733). Косвенным подтверждением появления этих форм в указанный период может служить также употребление синкопированного местоимения 3-го лица в романской формуле *tu le fuv* «помог ему», приведенной в одном из документов конца VIII в. (F. Brunot, стр. 11). Как известно, фонетическое ослабление личных местоимений идет параллельно с синкопированием форм детерминатива-артикла¹. Таким образом, хронологическая разница равна здесь 100—120 годам.

Попробуем проверить этот результат на другом материале.

Постпозитивное синкопирование местоименных сопроводителей широко представлено в деловых документах на рубеже VII—VIII вв. Ср. в «Формулах Маркульфа»: «*inlustri viro lui*», «*inoraе suae lei*» и др., а также в других формулах начала VIII в.² Впервые же постпозитивное синкопирование местоименного сопроводителя отмечено в черновой рукописи Григория Турского (около 590 г.): «*datis tamen domesticolli munera prius*»³.

Характерно, что этот последний контекст имеет разговорную тональность. Таким образом, развитие синкопы постпозитивных детерминативов в разговорной речи следует относить к концу VI в. Хронологический коэффициент равен здесь снова 100—120 годам. Эту цифру мы и будем использовать в качестве минимальной стилистико-хронологической поправки при анализе языка средневековолатинских документов Северной Галлии.

Сходную картину даст иберороманская зона. Впервые в деловой письменности препозитивно-синкопированные формы появляются в конце X в. Ср. в кастильском документе 978 г.: «*el III dia in na septimana inna aria iuxta el rozo*» и т. д.⁴. Аналогичные формы дают Эмильянские и Спасские глоссы (около 1000 г.). Однако в разговорной речи указанные формы употреблялись уже на 100—140 лет раньше. Об этом говорят данные топонимики IX в. Ср. «*per terminum de Penna do (de + lo) Vado*» (документ 866 г., Галисия)⁵.

Что касается латинских памятников Италии, то они в гораздо меньшей степени, чем документы Испании (не говоря уже о памятниках Галлии), отражают развитие живой разговорной речи. Как известно, в Италии латинская традиция была сильнее, чем в остальных областях Романии. Дело здесь не только и не столько в том, что в Италии больше, чем, например, на севере Франции, сохранились центры латинской образованности и что такие позднелатинские авторы, как Амвросий Медиоланский (конец IV в.), папа Григорий Великий (VI в.), в своих сочинениях давали образцы «цицероновской» латыни. Само собой понятно, что классической латынью в совершенстве владели лишь единицы, а основная масса средневековых книжников обладала более слабой филологической подготовкой.

ния. М., 1952; ChCl. — A. Bernard, A. Bruehl, Recueil des chartes de l'abbaye de Cluny, I—III, Paris, 1874—1884; Hussels — I. H. Hussels, H. Kern, Lex Salica, the ten texts with the glosses, London, 1880; MGH — «Monumenta Germaniae historica... Auctorum antiquissimorum», t. I—XV, Berlin, 1877—1919; REL — «Revue des études latines», Paris; A. Vincent — A. Vincent, Toponymie de la France, Bruxelles, 1937.

¹ См.: J. Meilandер, Étude sur l'ancienne abréviation des pronoms personnels régimes dans les langues romanes, Uppsala, 1928, стр. 156; G. Rydberg, Zur Geschichte des französischen *ô*, Monosyllaba im französischen demonstrativen Komposita, Relativa, Konjunktionen, Adverbien, Uppsala, 1907, стр. 420.

² J. Vieillard, указ. соч., стр. 142.

³ Цит. по кн.: E. Gamillscheg, Zum romanischen Artikel und Possessivpronomen, «Sitzungsberichte der preussischen Akademie der Wissenschaften», Phil.-hist. Klasse, XXI—XXIX, Berlin, 1936, стр. 342.

⁴ R. Menéndez Pidal, указ. соч., стр. 853.

⁵ A. G. Freijomil, El idioma gallego. Historia, gramática, literatura, Barcelona, 1935, стр. 81.

Сила латинской книжной традиции проявлялась в том, что даже малообразованные писцы и переписчики феодальных канцелярий всеми силами стремились соблюдать (разумеется, не всегда последовательно и удачно) нормы классической латыни, не допуская даже мысли об использовании элементов народной речи (volgate). Романские вкрапления в языке латинских документов Италии VI—X вв. должны быть отнесены только за счет качества филологической подготовки их авторов и переписчиков, но не за счет сознательного или несознательного стремления сделать язык документов понятным для заинтересованных лиц, как это бывало в Галлии и в Испании. Высокий престиж латинского языка объясняется здесь также не столько устойчивостью культурных латинских традиций, сколько исключительной политической ролью церкви с ее латинским делопроизводством и культовым использованием латинского языка. Кроме того, политическая раздробленность Италии, отсутствие устойчивых государственных образований препятствовали формированию новороманского национального самосознания. А это, разумеется, также тормозило проникновение народноразговорных элементов в язык итало-латинской средневековой письменности¹.

Таким образом, следует полагать, что стилистико-хронологическая поправка на употребление артикля для итало-латинских документов раннего средневековья должна быть больше, чем хронологический коэффициент памятников, написанных в других областях Романии.

Перейдем к определению хронологии развития артикля в Италии и выведению стилистико-хронологической поправки. В деловых документах синкопирование артикля после предлога прослеживается с конца X в. Ср. «*da lu mercatum*» (документ 966 г., Центральная Италия — см. de Bartolomea, *Spoglio del Codex Cavensis*, AGIt., XV, 1901, стр. 267); «*a la fusaga*» (документ 988 г., Центральная Италия — см. там же). В топонимии, отражающей нормы народноразговорной речи, эти формы обнаруживаются уже в конце VIII в. Ср. «*castello... qui vocitatur Sulla pina*» (документ 790 г., Тоскана, см. AGIt., IX, 1891, стр. 369, примеч. 2). К этому периоду мы и будем относить препозитивное синкопирование местоименного сопровождения. Что касается стилистико-хронологической поправки, то она для анженино-романской зоны составляет 150—200 лет.

Итак, образование фонетико-морфологической и синтаксической формы артикля в Западной и Центральной Романии можно условно отнести к периоду, заключенному между 750 и 866 гг. Теперь попробуем проверить правильность полученных нами поправок. Используем для этой цели косвенные данные исторической фонетики. Как известно, в галлороманских и иберороманских языках, а также отчасти и в итальянском языке интервокальные глухие согласные подвергались озвончению. Ср. лат. *amica* > исп., сард., совр. итал. *amiga*; лат. *locum* > исп. *luego*, итал. *luogo*; лат. *ripa* > франц. *rive*, итал. *riva*; ср. исп. *arriba*; лат. *vita* > исп. *vida*. В дальнейшем озвонченный согласный во французском языке исчезал (*amie*, *vie* и т. д.). Процесс этот относится к протороманскому периоду. Начало его датируется V в., а заканчивается он примерно в конце VII в.².

Если бы возникновение определенного артикля произошло в позднелатинский период (т. е. между II и VII вв.), как это предполагают Бурсье

¹ Характерно, что первое свидетельство о противопоставлении латыни и романской речи относится в Италии к началу X в., т. е. на два века позднее, чем во Франции. Как указывает средневековая хроника, во время коронации Беренгария (915 г.) римские сенаторы декламировали приветственные стихи по-латыни (*patrio ore*), а народ произносил их по-итальянски (*nativa voce*) — см. «*Gesta Berengarii*» (923 г.), MGH, IV, 1, стр. 398.

² Спорадически он встречается и раньше, начиная со II в. н. э. См.: Э. Б у р с ь е, указ. соч., § 171; F. and R. P o l i t z e r, *Romance trends in VII-th and VIII-th century Latin documents*, Univ. of North Carolina press, 1953; A. T o v a r, *La sonorisation et la chute des intervocaliques—phénomène latin occidental*, REL, 1952, стр. 102—120.

(§ 108) и Вартбург¹, то начальные глухие согласные существительных (в первую очередь таких имен, которые обозначают конкретныечисляемые предметы) должны были бы подвергнуться вокализации. Ведь артикль в этом случае, теряя свою фонетико-синтаксическую самостоятельность, становится частью аналитической формы имени, а начальный согласный существительного приобретает в связи с этим интервокальный характер (примером может служить интервокальная трактовка начальных аффрикат в разрывных существительных, имеющих артикль, в современном тосканском диалекте: [çitta], но [laʃitta]; [kasa], но [laχasa] и т. п.). Поэтому можно было бы ожидать появления романских форм типа **la biedra* вместо исп. *la piedra* < лат. *illa petra*; **la daupe* вместо *la taupe* < лат. *illa talpa*; **la gavalla* < лат. *illa cavalla* и т. п. Озвончение начальных согласных у имен существительных практически отсутствует в романских языках. Озвончение начального *s* в словах типа исп. *gale*, итал. *gatto* < лат. *cattus* или сев.-итал. *gabbia* < лат. *cavea* в счет не идет², поскольку эта вокализация имеет здесь очень древнее — вероятно пноязычное — происхождение; ср. греч. лат. *conger* и *gonger* — «морской угорь». Следовательно, в рассматриваемый период комбинация «детерминатив — существительное» [*illa (ila, la) petra*] имела характер свободного словосочетания, в котором детерминатив не утратил еще синтаксическую и фонетическую самостоятельность.

Вместе с тем существование отдельных топонимов, которые дают озвончение начального глухого согласного под влиянием абсорбированного артикля, имеющего гласный исход: португ. *Moimenta da Beira* (< *de illa petra*) (совр. Португалия), ст.-прованс. *altra a za Lobeiras* (< *illas petras*) (документ 1180 г.³), ст.-итал. *Lebinu* (< *illa pinus*) (*in Puciano Supto monte Lebinu* — документ 857 г., Салерно — AGIt, XV, стр. 274) — свидетельствует о том, что между обоими процессами существовало кратковременное соприкосновение. Этот хронологический контакт не мог осуществиться позже конца VIII или начала IX в., что подтверждает нашу первоначальную датировку и указывает вместе с тем на правильность стилистико-хронологической поправки. Что касается попытки А. Доза возвести образование романского артикля к V в. (см. A. D a u z a t, L'article existait-il au V-e siècle?, «Word», vol. V, № 2, 1949, стр. 123—125) на основании трех случаев деглутинации и агглютинации начальных звуков и слогов в трех романских словах (прованс. *lagramusa* < лат. *ill'acrimusa*; франц. диал. *taie* «пробабка» < лат. *ill'atavia*; франц. диал. *cinelle* «ягодка» < лат. *ill'acinella*), то она не вполне убедительна. Дело в том, что этимология первого из указанных существительных не ясна. Возможно, что мы имеем здесь дело с метафорическим производным от лат. *lacrima*. Артиклевое осмысление начального *a* в слове *atavia* и в связи с этим отделение этого гласного, относящееся к периоду до VII в. (т. е. до озвончения интервокальных глухих — ср. *atavia* > **tavia* > **taie*, но не **adavia* **daie*) маловероятны, поскольку термины родства в романских языках сравнительно поздно получают артикль. Наконец, в последнем случае (*cinelle*) отсутствие озвончения у *s* еще не говорит о раннем отпадении *a* (ср. франц. *acier* < лат. *acies*).

В заключение заметим, что проблема определения лингвистической поправки касается не только историко-языкового (диахронического) исследования, но в равной мере относится и к разного вида синхроническим исследованиям.

¹ W. v o n W a r t b u r g, Évolution et structure de la langue française, 3-e éd., Berne, 1946, стр. 30.

² Ср. C. H. B a l m o r i, *Cattos: gato*, «Revista del Instituto de filologia clásica del Univ. de Tucumán», 1949, стр. 75—84.

³ См. C. B r u n e l, Les plus anciennes chartes en langue provençale, «Recueil des pièces originales antérieures au XIII siècle», Paris, 1926.

О. А. ЛАПТЕВА

РАСПОЛОЖЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ УСТОЙЧИВОГО
СЛОВСОЧЕТАНИЯ КАК ЭЛЕМЕНТ ЕГО СТРУКТУРЫ

При практической классификации фразеологического материала исследователи обычно встречаются со значительными затруднениями. В какой из устанавливаемых разрядов отнести тот или иной фразеологизм? Зыбкость структурно-семантических граней отдельных групп дает разным исследователям основания для различных ответов на этот вопрос; при критике той или иной системы классификации обычно указывается на непоследовательность в оценке фразеологического материала¹. Не меньшие трудности возникают и при установлении того, какой же собственно языковой материал принадлежит к сфере фразеологизмов. Далеко не всегда оказывается легко определить границу между словосочетаниями свободными и фразеологически связанными.

Этот вопрос особенно остро встает при исследовании языка древнерусской книжной и деловой письменности, насыщенного разнообразными, очень часто употребляемыми стереотипными формулами, своего рода речевыми штампами. Обычно это словосочетания, весьма различные по своим конструктивным особенностям. Они характеризуются устойчивостью своего лексического состава, и в этом смысле к ним вполне применим термин «устойчивые словосочетания». Однако степень связанности значений компонентов таких устойчивых словосочетаний и отхода от прямого номинативного значения весьма неодинакова. Она может быть вполне отчетливой, но может быть и весьма незначительной, а может и вовсе отсутствовать. В последнем случае приходится говорить о своеобразном устойчивом словосочетании со свободными фразеологически не связанными значениями компонентов².

Несомненно, по-видимому, что многократная повторяемость словосочетания уже сама по себе создает большее единство, большую спаянность значения словосочетания, чем в параллельной конструкции свободного лексического наполнения. Однако это вовсе не обязательно приводит к семантическому перерождению словосочетания, к возникновению нового значения, уже не сводящегося к значению компонентов.

«Принудительность употребления» (пользуясь словами С. И. Ожегова³) стереотипных словосочетаний имеет и другие последствия. Будучи создано не для данного случая и за пределами данного отрезка речи, стереотипное словосочетание переносится в готовом виде в конструируемое высказывание, в связи с чем его потенциальная членимость в составе данного выска-

¹ См., например, Б. А. Л а р и н, Очерки по фразеологии (О систематизации и методах исследования фразеологических материалов), сб. «Очерки по лексикологии, фразеологии и стилистике» (Уч. зап. ЛГУ», № 198. Серия филол. наук, вып. 24), 1956.

² Такого рода словосочетания не привлекают, как правило, внимания исследователей древнерусского языка. Ср., например, П. Я. Ч е р н ы х, Очерк русской исторической лексикологии. Древнерусский период, М., 1956, стр. 23, где называются разные типы несвободных словосочетаний древнерусского языка.

³ С. И. О ж е г о в, О структуре фразеологии (в связи с проектом фразеологического словаря русского языка), «Лексикографический сборник», вып. II, М., 1957, стр. 46.

звания отличается от соответствующих возможностей свободного словосочетания. Именно, при выявлении коммуникативной нагрузки членов высказывания в связи с задачами его актуального членения стереотипное словосочетание обычно оказывается лишенным возможности различного акцентирования своих членов. Оно обычно выступает при актуальном членении высказывания в речи как целое, входя либо в состав данного, либо в состав нового, но не допуская в этом отношении разрыва своих членов¹. Таким образом, интересующие нас здесь словосочетания — речевые штампы (с точки зрения функциональной их можно было бы назвать «стереотипными», с точки зрения их лексической структуры — «устойчивыми», хотя последний термин имеет в литературе весьма различное толкование и как термин в собственном смысле слова строго не определен, а в применении к рассматриваемым словосочетаниям он порой оказывается весьма условным) отличаются по своим наиболее общим конструктивным признакам от свободных словосочетаний. Позволяет ли это отнести их к фразеологическим единицам языка?

Обычно, говоря о специфике фразеологизма, исследователи в первую очередь называют признак «добавочного значения», метафоризации значений компонентов словосочетания. При этом указывается на то, что значение словосочетания не сводится к сумме значений его компонентов². При таком понимании фразеологизма значительная часть стереотипных словосочетаний оказывается за пределами устанавливаемых таким образом фразеологических единиц.

Особенно ярко это сказывается в статье С. И. Абакумова «Устойчивые сочетания слов» («Р. яз. в шк.», 1936, № 1), где выделяются лишь две группы устойчивых словосочетаний — единства, равные слову, и идиомы, в составе которых слова «получают переносные значения более общего характера» (стр. 60). Огромная масса устойчивых словосочетаний, не обладающих этими признаками, остается здесь без характеристики.

Из числа устойчивых формул, употребляющихся в древнерусских памятниках, можно назвать немало таких, которые не обладают никакой метафоричностью, «добавочностью» значения. На особое место подобных единиц во фразеологии современного русского языка недавно едва ли не впервые обратил внимание С. И. Ожегов (см. С. И. О ж е г о в, указ. соч.). Включая их в состав фразеологических единиц, С. И. Ожегов отступает в связи с этим от общепринятого понимания фразеологизма. Он указывает, что фразеологическая единица не обязательно характеризуется семантическим сдвигом. Признак «несводимости значения», по С. И. Ожегову, является второстепенным, а в качестве главного признака называется семантическая монолитность

¹ В самое последнее время Ф. Д а н е ш обратил внимание на то, что возможность «смыслового членения» различна у различных видов «синтагм» и зависит от того, насколько устойчива последовательность их членов (см. Fr. D a n e š, K otázce pořádku slov v slovanských jazycích, SaS, ročn. XX, číslo 1, 1959). Намечая в этом отношении определенную «иерархию», Ф. Данеш считает, что «требованиям к порядку слов со стороны смыслового членения не подчиняются тесные синтагмы с неизменным порядком слов» (резюме на русск. яз., стр. 9). Эта весьма интересная попытка подойти к актуальному членению со стороны внутренних, структурных возможностей предложения в духе чешской традиции утверждает грамматическую точку зрения на явление словоупотребления. Однако здесь можно было бы возразить против установления непосредственной связи между невозможностью актуального членения и неизменяемостью порядка слов, поскольку сама эта неизменяемость может быть и не фактом синтаксиса, но фактом словоупотребления, речевой практики. Таким образом, причины невозможности актуального членения синтагмы не ограничиваются пределами ее структурных особенностей.

² Из последних работ см.: Г. П. Л е в ч у к, Фразеологические сочетания в русской демократической сатире XVII в., «Наук. зап. [Київськ. держ. пед. ін-ту]», т. XXVI — Збірник праць аспірантів, вип. 1, 1957, стр. 31, 44; Б. А. Л а р и н, указ. соч., стр. 213, 219—220; И. С. К о з ы р е в, Устойчивые словосочетания с местоименными словами в современном русском языке. Автореф. канд. диссерт., Л., 1953, стр. 20; М. В. К р ы л о в а, Словосочетания из существительных с временным значением с существительными и прилагательными (К вопросу о переходе свободных словосочетаний в фразеологические). Автореф. канд. диссерт., М., 1955, стр. 9; Д. Б. З а м ч у к, О некоторых семантических процессах, происходящих при образовании и функционировании фразеологических единиц немецкого языка, сб. «Вопросы лексикологии и стилистики германских языков» («Уч. зап. ЛГУ», № 260. Серия филол. наук. вып. 48), 1958, стр. 103.

фразеологической единицы, ее смысловая целостность (стр. 41). Надо сказать, что этот последний критерий весьма расплывчат и в применении к фразеологическому материалу сам нуждается в определении, поскольку целостным смыслом обладают также многие свободные словосочетания, в особенности атрибутивные. Во всяком случае, едва ли можно полагать, что семантическая монолитность создает ту грань, которая отделяет свободные словосочетания от фразеологически связанных¹.

Грамматическая структура значительной части устойчивых формул, употребляемых в древнерусских памятниках, обычно определяется четко, налицо синтаксическая разложимость, лексическая сочетаемость компонентов не имеет узких границ. Далеко не всегда при этом такие словосочетания являются терминами-названиями, для которых вообще характерно сохранение мотивированности семантических отношений компонентов². Вместе с тем словосочетания указанного типа зачастую бывают не менее употребительны в памятниках, чем фразеологизмы в собственном смысле слова. Если в словосочетании *с малю дружитъ, с малюу дружитю* можно обнаружить единство значения, возникшее на базе значений компонентов, но уже не сводящееся к этим значениям (в особенности ср. употребление этого словосочетания в поздних летописных записях, после исчезновения соответствующей реалии), то в антонимичных или синонимичных словосочетаниях *со многими вои, со многими силами, собра вои мнози, с млюу вои* о таком «добавочном значении» говорить трудно. О нем также вряд ли можно говорить в отношении таких стереотипных словосочетаний, как *примми? полонъ великъ, дать дары мнози*. В словосочетании *каменьем драгомъ* как будто существует единое значение, не сводящееся к значениям его компонентов (ср. современ. *драгоценный камень*). Но можно ли говорить об отходе от прямого номинативного значения в словосочетании *жгмчюгомъ великимъ*? И можно ли здесь говорить о реализации несвободных значений слов? А между тем условия употребления и распространения формул первого и второго рода совершенно идентичны. Ср. еще: *честный крестъ, дикие половци, океанныи половци*. Лексикализованный характер таких устойчивых единств — личных имен-прозвищ, в основе которых лежит употребление собственного имени с постоянным эпитетом, как *Мьстиславъ Ньмыи, Дмитр Хоробры, Твердиславъ Черныи, Добрыи Долги, Вячеславъ Толъстыи, Федор Пестрыи* и под., по-видимому, не вызывает сомнений. Но ср. не отличающиеся от них по степени употребительности словосочетания типа *Фила гордыи, лживый Жирославъ* и под., где прилагательное в большей мере сохраняет характер эпитета. Ср. также терминологические сочетания типа *большкий дити, лепший людие, нарочитые мужи, черные люди, молодежьша брати* и под., и такие словосочетания, как *добрии людие, купци старьшии* и под.; *блгач рыбаца, черныи куны, по чернь кунъ* и под. и на *чорном воску, на красном воску* и под.

Следует заметить, что явная недостаточность понятия «добавочного значения» для выявления несвободных словосочетаний древнерусского языка в ряде случаев побуждает исследователей при определении конкретных фразеологизмов обращаться к данным, лежащим вне структуры фразеологической единицы. Так, В. Л. Архангельский для выделения фразеологических сочетаний в языке Поучения Владимира Мономаха прибегает к сопоставлению представленных там стереотипных словосочетаний с языковым материалом других памятников того же времени, с материалом современного языка, фольклора и т. д.³.

¹ О семантической монолитности свободных словосочетаний см.: В. П. Сухотин, Проблема словосочетания в современном русском языке, сб. «Вопросы синтаксиса современного русского языка», М., 1959, стр. 154—155.

² См. об этом З. В. Донскова, К вопросу о выражении подлежащего фразеологическими единицами. «Уч. зап. [Ростовск.-на-Дону ун-та]», т. 64. Серия филологическая, вып. 5, 1957, стр. 230. Характеристику словосочетаний терминологического характера см. в статье: С. С. Сосова, Към въпроса за устойчивите съчетания в български език — сложни названия и термини, «Български език», год. VIII, кн. 1, 1958.

³ См. В. Л. Архангельский, Фразеология Поучения Владимира Мономаха в связи с общими вопросами фразеологии русского языка. Автореф. канд. диссерт., М., 1950, стр. 12.

Естественно, в отношении словосочетаний, не являющихся фразеологизмами в узком смысле слова (равно как и устойчивыми сложными наименованиями), но и не являющихся свободными словосочетаниями в силу специфики своего употребления (используются как готовые формулы), возникает вопрос: ведет ли их стереотипность к изменению их формально-грамматических свойств? Создает ли она какую-либо общность структур этих словосочетаний и фразеологических единиц в узком смысле слова? Позволяет ли говорить о них как о «раздельно оформленных единствах»?

Эти вопросы заставляют с большим вниманием отнестись к формально-грамматическим показателям стереотипных формул, «устойчивых словосочетаний» в широком смысле слова (лежащих как бы на границе между словосочетаниями свободными и фразеологическими), для которых наиболее показательным признаком является широкая их употребляемость в древнерусской письменности¹. Оказывается, что такие словосочетания сближаются с фразеологическими единицами, помимо большой употребительности, также и некоторыми особенностями в расположении их компонентов.

Наиболее интересными в этом отношении окажутся, пожалуй, атрибутивные словосочетания, обладающие большой смысловой целостностью и в связи с этим — четко определенными значениями различных моделей следования их членов. Расположение компонентов атрибутивного словосочетания произвольного лексического состава, как показывают наблюдения, определялось в древнерусском языке рядом факторов, связанных с конструированием такого словосочетания или с коммуникативными задачами соответствующего предложения. Различные способы взаиморасположения определяемого и определяющего имели неодинаковые грамматические функции и в своей совокупности составляли систему средств с дифференцированными и взаимопротивопоставленными значениями².

Выбор того или иного способа расположения компонентов устойчивого словосочетания, напротив, оказывается лишенным функциональной значимости, внутренне не мотивированным. Он не связан с актуальным членением в речи словосочетания и предложения, в состав которого входит данное словосочетание³. При наблюдении над функционированием стереотипных формул оказывается невозможным установить тот или иной характер семантического взаимоотношения компонентов словосочетания, ту или иную синтаксическую структуру предложения, наконец, тот или иной тип широкого контекста, который был бы связан с определенным порядком следования членов словосочетания. Характерно, что такая независимость словорасположения обычно не выходит за рамки стереотипных формул — аналогов свободных атрибутивных словосочетаний.

Исследователи не всегда называют тот или иной способ расположения членов в качестве форманта фразеологизма⁴. Если же эта особенность и

¹ С. И. Ожегов для подобных «штампов» современного русского языка предлагает термин «обычные словосочетания» (указ. соч., стр. 46), маловыразительный в собственном языковом отношении. Следует соглашаться с теми исследователями, которые предлагают разграничивать понятия (и, соответственно, термины) фразеологической единицы, обладающей той или иной степенью семантико-грамматического единства членов, и устойчивого словосочетания, значение которого складывается на базе значений его компонентов (ср. З. В. Д о н с к о в а, указ. соч.). В дальнейшем для простоты мы будем пользоваться термином «устойчивое словосочетание».

² Подробнее об этом см. в нашей статье «Расположение древнерусского одиночного атрибутивного прилагательного», сб. «Славянское языкознание» (в печати).

³ Ср. у Г. Я. Д е м е н т е в о й (указ. соч., стр. 7): «Нельзя утверждать, что с перемещением слов, допускаемым внутри фразеологизмов, соединяется изменение оттенков смысла. Фразеологические выражения стилистически сильны, экспрессивны и по природе своей не пугаются в тех оттенках, которые вносит изменение порядка слов».

⁴ Так, Г. П. Л е в ч у к в указ. статье приводит словосочетание *короткий ум* (стр. 30) с различным взаиморасположением компонентов, однако особо это не оговаривает. Ср. также Л. В. О р л о в а, Неразложимые словосочетания, употребляющиеся в современном русском языке в роли обстоятельства. Автореф. канд. диссерт., М., 1951.

обращает на себя внимание (наряду с незаменяемостью компонентов), то обычно здесь говорится о неизменяемости в расположении членов фразеологизма¹. Как правило, это указание сопровождается оговорками о том, что такая неизменяемость не носит абсолютного характера². Действительно, в отношении большинства русских фразеологизмов трудно говорить о совершенно твердом взаиморасположении их компонентов. Однако вряд ли все же следует отказываться от установления обусловленности самой этой непоследовательности.

Так, при наблюдении над устойчивыми словосочетаниями, построенными по модели атрибутивных с согласованным определением-прилагательным, обнаруживается ряд ограничительных условий, регулирующих выбор того или иного порядка следования их компонентов. Нужно оговориться, что устойчивый характер словосочетания не допускает, как правило, дистантного расположения членов, их разъединения. В пределах же контактного расположения выбор одной из двух возможных моделей определяется различными факторами, внешними по отношению к структуре словосочетания и не соотносены с задачами актуального членения речи. Подобную определенность, очевидно, следует связывать с характером синтаксических отношений между членами свободного атрибутивного словосочетания, обнаруживающих отчетливо выраженную подчиненность согласуемого определения определяемому³. Этим объясняется и наличие в данной группе наиболее последовательно выдерживаемой (по сравнению с другими синтаксическими группами) модели взаиморасположения членов.

Не ставя своей задачей выяснение структурно-семантических особенностей различных устойчивых словосочетаний и привлекая к исследованию устойчивые словосочетания весьма различной структурно-семантической характеристики (здесь окажутся словосочетания, сохраняющие прямое номинативное значение, словосочетания, приобретшие «добавочное значение», а также словосочетания лексикализованного, терминологического характера), сделаем некоторые наблюдения над особенностями расположения их членов. В целях большей лексической однородности материала привлекаем все те наиболее распространенные стереотипные словосочетания атрибутивного характера, в которых в качестве согласуемого члена выступали прилагательные *многий*, *великий* и менее употребительное *малый* в численной или нечисленной форме.

*

Устойчивые словосочетания, состоящие из существительного и прилагательного *великий*, *многий*, *малый*, широко употреблялись в древнерусских памятниках и допускали в древнерусском языке оба возможных контактных способа расположения своих членов. Ни один из этих способов нельзя считать преобладающим и наиболее характерным для периода XI—XVII вв.⁴. В отличие от аналогичных окказиональных словосочета-

¹ Ср.: В. Л. Архангельский, указ. соч., стр. 10; Г. А. Селиванов, Фразеология погородских договорных грамот XIII—XIV вв. Автореф. канд. диссерт., Саратов, 1953, стр. 8.

² См., например: Б. А. Ларин, указ. соч., стр. 106; А. Я. Рожанский, Идиомы и их перевод, «Инд. яз. в шк.», 1948, № 3, стр. 25; Н. Я. Габараев, Русские фразеологические единицы и их соответствия в осетинском языке (На материале переводов с русского языка на осетинский). Автореф. канд. диссерт., Тбилиси, 1956, стр. 14; Г. Я. Деметьев, Семантико-стилистические особенности фразеологических выражений в современном русском языке. Автореф. канд. диссерт., Алма-Ата, 1955, стр. 7.

³ Об этом см., например, в канд. диссертации А. С. Посвянской «К вопросу о порядке слов в польском языке (место одиночного определения, выраженного именем прилагательным)» (М., 1954).

⁴ Обследованы следующие памятники: «Повесть временных лет по Лаврентьевскому списку», «Полное собрание русских летописей» (ПСРЛ), изд. 2-е, т. I, вып. 1, Л., 1926 (принимается обозначение П); «Суздальская летопись по Лаврентьевскому списку», ПСРЛ, изд. 2-е, т. I, вып. 2, Л., 1927 (Л); «Ипатьевская летопись», ПСРЛ, изд. 2-е, т. II, СПб., 1908 (Ип.); «Новгородская первая летопись старшего и младшего

ний, порядок следования членов которых находился в зависимости от задач актуального членения речи, в устойчивых словосочетаниях наблюдаются иные отношения. В ряде случаев отмечена полная произвольность в выборе той или иной модели. Таких случаев немного. В числе словосочетаний с абсолютно произвольным расположением членов можно назвать лишь следующие.

Взя (или другой глагол той же семантической группы) *полонь много* (*великъ*). В этом словосочетании, широко распространенном в языке летописей, допускаются оба возможных способа расположения существительного и прилагательного, причем выбор одного из них не определяется какими-либо условиями. Ср. аналогичное строение предложения в случаях с постпозитивным прилагательным типа: «Мстиславъ ходи на Литву. и *вземъ полонъ много*» (Л 301 1131); «и поеваша б. до вечера. и *плнь великъ*. приимше» (Ип 272 1231) и в следующих случаях с препозитивным прилагательным: «и тако сузвратишася въ свояси. *много* *полонь* вземъше» (Ип 118 1145); «*королю* *столиноу*. во Володимѣра. казашъ же Даниль приа *великъ* *плнь*» (Ип 259 об. 1231). Помимо словосочетания в форме вин. падежа отмечено несколько случаев с творительным, также с безразличным выбором места прилагательного. Ср.: «а они възвратишася со *многымъ* *полономъ* в вежѣ» (Л 339 1186) и «возвратишася во свояси съ *полномъ* *многимъ*» (Радз., Троицк. 179 1205). Произвольность в расположении прилагательного сочетается с рядом формальных признаков, свидетельствующих об узуальном характере словосочетания: закрепленность нечленной формы прилагательного в вин. падеже и членной — в твор. падеже; отсутствие других надежных форм словосочетания; преимущественность формы вин. падежа (22 случая винительного и 4 творительного); закрепленность формы ед. числа (во мн. числе словосочетание отмечено лишь 1 раз, в форме вин. падежа); взаимозаменяемость компонентов *много* — *великъ* только в форме вин. падежа (в твор. падеже употребляется лишь прилагательное *многий*). Наряду с отсутствием каких-либо специальных условий при выборе того или иного способа расположения наблюдается определенное предпочтение постпозитивного расположения прилагательного — на 16 случаев его постпозиции в вин. падеже приходится лишь 6 случаев препозиции (для формы твор. падежа подсчет не показателен в связи с ее малой распространенностью — 3 случая препозиции прилагательного и 1 случай постпозиции).

Сходным образом употребляется (также только в летописях) словосочетание *дары много*, известное в формах вин. падежа и твор. падежа. При идентичном строении предложения возможны обе модели следования членов словосочетания. Ср.: «и даша ему *дары много*» (Л 404 1186); «Глѣбъ же възва Мстислава. на обѣдъ к собѣ и *много* *дары* давъ ему отпусти и с любовью» (Ип 193 1170). В форме твор. падежа: «и отпустиша ю с *дары велики* и съ честию» (Ип 108 987); «и одаривъ *многими* *дарми*...» (Ип 177 1159).

изводов, М.—Л., 1950 (Синодальный список) (С); «Устюжский летописный свод (Архангелогородский летописец)». М.—Л., 1950 (У); «Сибирские летописи», изд. Имп. Археогр. комиссии, СПб., 1907 (Кунгурская летопись по Ремизовскому списку) (Р); «Русская Правда. Пространный список в составе Новгородской кормчей 1282 г.», М.—Л., 1950 (Синодальный список); А. Шахматов, Исследования о языке Новгородских грамот XIII и XIV вв., СПб., 1896 (Новг.); «Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей XIV—XVI вв.», подгот. к печати Л. В. Черепниным, М.—Л., 1950; «Акты социально-экономической истории Северо-Восточной Руси конца XIV—начала XVI вв.», т. 1, М., 1952 (из последних двух сборников обследованию подверглись грамоты, представляющие определенный тип аналогичных документов); «Домострой по Коншинскому списку», подгот. к изданию А. Орловым, «Чтения в Имп. общ-ве истории и древностей российских...», кн. 2, М., 1908; «О России в царствование Алексея Михайловича. Сочинение Григория Котошихина», 4-е изд., СПб., 1906 (К); «Суд Шемякина», «Сказание о крестьянском сыне», сб. «Русская демократическая сатира XVIII в. Подгот. текстов Адриановой-Перетц», М.—Л., 1954 (Нов.); «Новость о Фроле Скобееве», кн. 1, 1934 (Ф). Примеры приводятся в несколько упрощенном написании.

В данном словосочетании наблюдается постоянство лексического состава; отклонения незначительны: с прилагательным *великъ* встретилось лишь 2 случая — 1 в твор. падеже и 1 в вин. падеже. Рассматриваемое словосочетание обнаруживает следующие признаки формального единства: отсутствие иных падежных форм, кроме форм вин. и твор. падежей (при этом не отдается предпочтения ни той, ни другой форме); закреплённость формы только мн. числа; закреплённость нечисленной формы прилагательного за вин. падежом и членной — за твор. падежом (в твор. падеже встретился 1 случай нечисленной формы, однако не прилагательного *многий*, а прилагательного *великъ*, вообще для данного словосочетания не характерного). Если для словосочетания *полонъ много* можно было отметить количественное преобладание постпозитивного расположения прилагательного, то для словосочетания *бѣры многи* числовой подсчет оказывается не показательным: в твор. падеже на 7 случаев препозитивного употребления прилагательного приходится 9 случаев постпозитивного, в винительном — на 7 случаев препозитивного 6 случаев постпозитивного.

Наконец, полная произвольность в выборе порядка следования членов наблюдается в словосочетании *со мноюю (великою) силою* в форме твор. падежа (словосочетание известно в летописях также и в форме вин. падежа, однако в этом последнем случае расположение компонентов словосочетания иное, о чем ниже). Ср. следующие случаи: «в то же верема придоша къ Изаславу Володимиру Оугре в помочь. и Болеславъ Ладьскіи кнзъ съ братомъ своимъ Индрихомъ. съ мноюю силою.» (Ип 140 об. 1149); «И выиде от восточныя стороны от Синія Орды нѣкии царь, именемъ Тактамыш, со мноими силами» (У 174 об. — 175 1381); «доживе приде. Боуранда. со силою великою» (Ип 282 об. 1260); «пришедши же к Вышегороду с силою мноюю.» (Л 365 1174). Словосочетание употребляется в обоих числах, причем с прилагательным *великий* возможно лишь в ед. числе. Во мн. числе словосочетание употребляется только в У и только с членной формой прилагательного. На 11 случаев с препозицией прилагательного встретилось 7 случаев с постпозицией. Строго говоря, относительное безразличие в выборе модели с тем или иным взаиморасположением компонентов присуще лишь Ипатьевскому списку, где имеет место и тот и другой порядок следования компонентов, хотя и наблюдается некоторое предпочтение постпозиции: на 3 случая препозиции приходится 6 случаев постпозиции прилагательного. Что касается У, в котором также неоднократно употребляется это словосочетание, то здесь известна только препозиция прилагательного (8 случаев). В Л встретился лишь один случай употребления этого словосочетания, причем с постпозитивным прилагательным.

Охарактеризованное произвольное расположение компонентов стереотипных словосочетаний, состоящих из существительного и прилагательного *много (великъ)*, возможно лишь для перечисленных трех случаев (для последнего из них с оговорками). Для основной массы словосочетаний этого рода свойственны определенные ограничительные условия, регулирующие их оформление по той или иной модели расположения членов. Условия эти сводятся к следующему.

1. В языке древнерусских памятников имеется немало словосочетаний, известных лишь с определенным, строго выдерживаемым порядком следования членов. Определенность формы у этих словосочетаний сочетается с определенностью лексического состава. Только с постпозитивным прилагательным известны следующие словосочетания:

(съ) *плачемъ великимъ*: «и тако положиша и въ цркви стѣна Бѣа Володимери съ плачемъ великомъ.» (— кыл — Хлебн., Погод.) (Ип 187 1164). Употребление именной или местоименной формы одинаково возможно и варьируется по спискам, хотя предпочитается именная. Всего отмечено 17 случаев. Возможно употребление прилагательного *велии*: «и плакаша по немъ плачемъ велимъ.» (Л 444 1218). 1 раз в Ип словосочетание встре-

тилось при ином глагольном управлении: «и створиста *плачъ великъ*» (Ип 125 1146).

въ силъ велицъ (тяжъцъ): «Приде Стополкъ съ Печенѣгы. в силѣ тяжъцѣ. и Ярославъ собра множество вой.» (П 144 1019); «Придоша Нѣици в силъ велицъ подѣ Пльсковъ» (С 146 об.). Всего 17 случаев. С прилагательным *тяжъцъ* словосочетание употребляется в Ип, с прилагательным *велицъ* — в С; в Л употребляется и то и другое прилагательное. Интересно, что единственное нарушение этой модели встретилось в У, в котором вообще это словосочетание не употребляется, причем представлено другое прилагательное: «Окаянныи же и поганыи Мамаи во мнозѣ *силъ* возгордѣся, мня себе, аки царя» (У 162 — 162 об. 1380). В одном случае в П отмечено повторение предлога при постпозитивном прилагательном: «и приде ко Црюгороду въ *силъ* въ *велицъ* в гордости. и створи миръ с Рамономъ црмъ.» (П 43 929). 1 раз встретилось словосочетание *у силахъ тяжъкихъ* в форме мн. числа и с членной формой постпозитивного прилагательного: «адроузии Половцѣ. идоша по оной сторонѣ к Поутивлю. Кза оу *силахъ тяжъкихъ*» (Ип 226 1185). В целом следует отметить, что последовательная формальная неизменяемость этого словосочетания включает в себя и строго закреплённый словопорядок.

Только с препозитивным прилагательным известны следующие словосочетания:

великимъ священиемъ: «и церковь святыи святѣи Богородици *великимъ священиемъ*» (С 25). Отмечена только членная форма прилагательного. Всего 10 случаев.

многое (бесчисленное) множество: «пакы иноплеменници собраша полки свои *многое множество*. и выступиша яко борове велиции. и тмами тмы и выступиша полки Рускыи» (Ип 100 1111); «и плениша же и скота *бесчисленое множество*» (Ип 110 об. 1135). Всего 41 случай. Словосочетание преимущественно употребляется в форме вин. падежа, однако возможно также в именительном (2 случая), творительном (2 случая) и местном (1 случай). Обычно употребляемая форма прилагательного — членная; с нечленной формой встретилось только 2 случая (в форме вин. падежа, оба принадлежат Л). В Р и С, где вообще словосочетание не представлено, встретилось 3 случая употребления синонимичного словосочетания с другим существительным: «и похитилъ у калмыковъ коней *многое число*» (Р 132); «О, велика быше сѣбя Вожяномъ, и паде ихъ *бесчисленое число*; а самого князя отпустиша бога дѣля» (С 4 об.). С постпозитивным прилагательным отмечен лишь 1 случай, причем он относится к С, где данное словосочетание, вообще не употребляясь, не могло закрепиться в какой-либо определенной форме. Пример из С: «и паде обоихъ множество много» (С 40 об.).

в малъ дружинѣ: «только убѣжа одинъ князь Гердесъ в *малъ дружинѣ*» (С 142 об.). Всего отмечено 17 случаев. 1 случай с заменой существительного относится к У: «...приде нарѣ Махмет на Белеву ратью в *малъ силъ*, а князь великий послал своих воевод многих» (У 253 об. 1438). В П отмечен 1 случай дистантного расположения членов словосочетания: «аще поидет на вы с Лѣхы губити васъ то въ противу ъму ратью. не давѣ бо погубити града *ѡца своего* аще ли хочеть с миромъ то в *малъ* придеть *дружинѣ*» (П 173 1069). Во всех встреченных случаях прилагательное имеет только нечленную форму, известна лишь форма ед. числа. Рассматриваемое словосочетание известно и в форме твор. падежа, также только с препозитивным прилагательным: «Глѣбъ же вборзѣ всѣдъ па конѣ с *малою дружиною* поиде. бѣ бо послушливъ ѡцю.» (П 135 1015). Всего 11 случаев. В Р встретился синонимичный оборот с заменой существительного: «Кучюм же убежа отъ них с *малыми людьми* в Наганскую землю» (Р 132).

Различные стереотипные словосочетания со значением отрезка времени, образуемые прилагательными *многий*, *малый* и под. (и в нечленной, и в членной форме) и существительными *время*, *лѣта*, *дни*, *часъ* и под., выступают в форме различных косвенных падежей (вин., дат., род., местн. п.); в зависимости от того, какое существительное входит в состав словосочетания, последнее может выступать в форме и ед. и мн. числа (так, например, *время*, *лѣта*, *часъ* выступают лишь в форме ед. числа, *лѣта*, *дни* — лишь мн. числа). Все словосочетания такого рода употребляются в памятниках только с препозитивными прилагательными. Некоторые особенности их состава и структуры связаны с тем, в каких памятниках они встретились. Так, в II встречается лишь словосочетание *много лѣта* в форме род. и вин. падежей. Более разнообразие лексического состава и падежных форм свойственно более поздним памятникам. Членные формы прилагательных в словосочетаниях этой группы широко распространены в основной части К и в повестях XVII в., в то время как в летописях обычны нечленные формы (из 4 встреченных в летописях членных форм лишь один случай относится к Л, остальные 3 взяты из поздней Кунгурской летописи).

Приведем характерные примеры употребления словосочетаний этой группы: «обновити ветхия миръ-ненавидящаго добра и враждолюбца дьявола-разорити *от много лѣтъ* и оутвердити любовь-межю Греки и Русью.» (П 47 945); «Царствова же той царь, по смерти брата своего въ печали *немного лѣта*, представися» (К 3 об.) (всего 7 случаев); «и бысть яко мѣсяц, и съмерчеся, и *по мале времени* напѣлнися и пакы просвѣтися» (С 48) (всего 7 случаев); «*пережду и ѿше мало время*» (Ип 189 об. 1168); «...для того, что она с нею *много время* не видалася» (Ф 273) (8 случаев); «ту бѣ велий бой *по мнози дни*» (Р 37) (11 случаев); «сѣлипали бо ся бяху *на мале часу*» (С 43 об. — 44) (2 случая). С членными формами: «и бываетъ царь на того челоуѣка гнѣвень, и очей его царскихъ не видитъ *многое время*» (К 64 об.) (2 случая); «И на того боярина царь былъ *долгое время* гнѣвень» (К 148) (10 случаев); «не медля *ни малого времени*...» (Ф 3 294) (3 случая); «Пожалуй отпусти любезную свою дочь Анушку для свидания со мною, понеже *многия годы* не видала еѣ» (Ф 273 Унд., Тит.) (4 случая). Ср. пример из Новгородских берестяных грамот: «И тои аци воспрошаеть Местисловъ сыно дого *мала года* и ту а стою» (№ 68, XIII в.). С постпозитивным прилагательным словосочетание встретилось 1 раз в П: «и в *лѣта много* хранить останок.» (П 5).

великъ день. Это словосочетание, обладающее определенным терминологическим значением и сохранившееся в ряде современных славянских языков в качестве сложного слова, имеет строго фиксированную форму — только препозитивное и только нечленное прилагательное. Мена лексических компонентов невозможна. В памятниках словосочетание отмечено в форме различных косвенных падежей: «*По велицѣ дни* Фоминѣ недѣли...» (С 108); «того же лѣта с *велика дни* посла князь Рюрикъ Глѣба кн^а Аз^а» (Ип 228 об. 1187); «и бѣ *к великою дни* на вербеницу» (Ип 125 1147); «... *на велик день* апрѣля в 20 день» (У 218 об. 1410); «того ти не поминати, што продано княжихъ волости *до велика дни*» (Повг. 15) (всего 12 случаев).

Прилагательное *великий* в членной форме в сочетании с существительными — названиями дней недели употребляется в памятниках для обозначения дней пасхальной недели и занимает обычно препозитивное положение: «...а *Стополкъ* вниде въ градъ *в великую субботу*» (И 269 1097) (всего 5 случаев). Впрочем в С зафиксирован 1 случай и с постпозитивным прилагательным. В словосочетании *великое говѣнье* прилагательное также имеет только членную форму и занимает только препозитивное положение: «Тое же весны *в великое говѣнье*...» (У 283 об. 1462); «и сѣде окованъ от гос-

пожжина дни до великаго говѣнья» (С 117). Отмечены формы винительного, родительного, творительного падежей. Всего 11 случаев.

2. Тот или иной способ расположения членов стереотипного словосочетания мог определяться тем, какое из взаимозаменяемых и близких по значению существительных было употреблено в его составе. Стереотипный характер формулы не исключал в ряде случаев возможности варьирования элементов, выбора одного из двух или нескольких семантически родственных существительных. Сходство в значениях таких существительных в их свободном употреблении проявлялось значительно слабее, чем в составе устойчивого словосочетания, где возможность обращения в сходных случаях к одной из существующих формул создавала определенную синонимичность словосочетаний с разными существительными при значительном ослаблении прямого номинативного значения словосочетаний. За каждым из образующихся вариантов мог закрепиться определенный порядок следования членов, подобно тому как в аналогичных условиях закреплялась в пределах одного варианта членная или нечленная форма прилагательного, та или иная падежная форма или форма числа.

Так, в словосочетании с *великою любовью* в форме твор. падежа, употребляемом в языке летописей, прилагательное, как правило, занимало только препозитивное положение. Ср.: «блжнныи же ѿппъ Кірілъ. Борисъ и Глѣбъ и мати ихъ Мрѣа кнАгини · чтиша Олександра съ великою любовью» (Л 475 1259) (всего 8 случаев; с постпозитивным прилагательным встретился лишь 1 случай). В то же время в словосочетаниях с *радостью великою*, с *славою великою* известен почти исключительно лишь такой порядок: «[и почаша целовати стоуБцю — Радз., Акад.] с радостью великою и со слезами.» (Л 353 1164); «· кнАзь же Рюрикъ. снъ Ростиславль. вниде въ Кыєвъ. славою селикою и чтью.» (Ип 202 об. 1174) (всего 27 случаев; с препозитивным прилагательным встретилось лишь по одному случаю в сочетании с каждым из этих двух существительных). Также только с постпозитивным прилагательным употребляются словосочетания, в состав которых входит существительное *похвала* [« съ чтью и похвалою селикою поидоша къ Киеву» (Ип 159 1151)]. Что касается существительного *честь*, которое могло входить в состав подобного словосочетания, то определяющее его прилагательное могло безразлично занимать как препозитивное, так и постпозитивное положение (с некоторым количественным преобладанием постпозиции). Ср.: «· а самъ со мноствомъ полона с великою чтью отиде в свояси.» (Л 469 1239) (всего 21 случай); «сѣде. на столѣ дѣда своего и ѿца своего. с честью великою» (Ип 151 1150) (всего 32 случая). Нормы конструирования словосочетаний данной группы осложняются тем, что охарактеризованные особенности свойственны лишь форме твор. падежа. В других падежных формах наблюдаются иные отношения, причем на выбор той или иной модели влияет также и форма прилагательного.

Любопытное соотношение показывают параллельные словосочетания *князь великий* — *княгини великая*. В языке московских и северо-восточных грамм. XIV—XVI вв. для словосочетания *князь великий* характерны строго соблюдаемые особенности взаиморасположения членов, если словосочетание имеет форму им. падежа: прилагательное в таком случае всегда находится в постпозиции; в косвенных падежах преобладает препозиция прилагательного (в В на 14 случаев препозиции встретилось 2 случая постпозиции, в Ч на 39 случаев препозиции — 28 случаев постпозиции). Иные отношения наблюдаются между членами словосочетания *княгини великая*, вообще в силу обстоятельств реального характера употребляемого несколько реже: здесь строгие нормы представлены в косвенных падежах, где прилагательное может занимать только препозитивное поло-

жение. В именительном же падеже на 3 встреченных случая с препозицией прилагательного приходится 2 с постпозицией.

В лексикализованных словосочетаниях — названиях городов, в состав которых входит прилагательное *великий*, также наблюдаются различные отношения в зависимости от того, при каком имени собственном употреблено прилагательное. Так, в словосочетании *Новгород Великий* в косвенных падежах возможен любой порядок следования членов; препозиция прилагательного несколько преобладает. В названиях же других городов, правда, гораздо менее употребительных (*Великая Пермь*, *Великий Рим*), прилагательное встретилось только в препозитивном положении.

3. В ряде словосочетаний порядок расположения членов зависел от их падежной формы. Распределение разных способов постановки слов в устойчивом словосочетании в зависимости от падежа было в памятниках XIII—XVII вв. распространенным ограничительным условием при построении стереотипной формулы и нередко сочеталось с закреплением в данной падежной форме прилагательного, сформированного по какому-либо одному (членному или нечленному) типу.

Так, словосочетание *со многими вои* в форме твор. падежа употребляется в языке летописей только с препозитивным прилагательным, имеющим обязательно членную форму: «и от Пересояниди. приде Мьстиславъ. Нѣмыи со многими сои» (Ип 247 об. 1208) (всего 4 случая). В винительном же падеже в этом словосочетании возможно было только постпозитивное прилагательное и только в нечленной форме: «п собра вои многы. и поиде Чернигову.» (Ип 112 1139) (всего 18 случаев). Ни одного случая отклонения от указанного соотношения в летописях не встретилось.

В словосочетании *князь великий*, особенно широко представленном в языке У, выработалось строго соблюдаемое соотношение между формой им. падежа, с одной стороны, и всех косвенных падежей, с другой. В первом случае прилагательное занимало только постпозитивное положение, во втором — только препозитивное. Вот характерный пример: «А воеводы великого князя — князь Иван Васильевич Стрига да Федор Васильевич Басенок — били под Русью, а иных имали»; «а князь великий стал в Яколбицах, и владыка Еуфимей с посадники добина челом великому князю.» (У 278 об. — 279 1456). Очень большая употребительность словосочетания и отсутствие противоречащих фактов в основной части летописи свидетельствует о строго выдерживаемой норме. Исключения единичны и относятся к занесенной поздней части летописи (от середины XV в.); с постпозитивным прилагательным в род. п. встретилось 7 случаев, в дат. п. — 1. Данные, характеризующие употребление препозитивных прилагательных в косвенных падежах: род. п. — 92 случая, дат. — 40, вин. — 20, твор. п. — 7. Только раз в одной из самых поздних записей (от 1561 г.) встретилось препозитивное прилагательное в им. п. — при 88 случаях с постпозицией прилагательного.

В названии *Новгород Великий* в косвенных падежах, как уже отмечалось, был возможен любой порядок следования членов. В именительном же падеже в летописях встречается только постпозиция прилагательного.

4. В ряде случаев определенный порядок следования членов стереотипного словосочетания связан с употреблением определенной морфологической формы прилагательного. Так, словосочетание *великую любовь* (похвалу) с членной формой прилагательного встречается в летописях только в таком виде (ср.: «Всеволодъ же бѣ пмъ великую любовь къ Рѣгъволоду и на ту любовь надѣяся.») Ип 178 1159). С нечленной же формой прилагательного в этом словосочетании возможен любой порядок (ср.: «идохомъ къ Ярополку совокупатися на Броды. и любовь велику створихомъ» П 248 1096); «имѣа великою любовь к дѣтемъ Романовое.» (Ип 248 об. 1211).

5. Порядок расположения членов в словосочетании может в ряде случаев варьироваться в зависимости от того, в каком памятнике употреблено

данное словосочетание. Такая избирательность языка памятника не всегда зависела от его стилевой и жанровой принадлежности — иногда разное расположение членов словосочетания наблюдается, например, в различных редакциях и списках летописи. При этом могло существовать и такое соотношение, при котором для одной группы памятников расположение членов словосочетания было безразличным, в то время как в другой группе памятников оно было строго определенным.

Так, словосочетание *съ честю (радостью, любовью) великою* в форме твор. падежа с постпозитивным прилагательным является исключительной принадлежностью Лаврентьевского и Ипатьевского списков в летописи (в Синодальном списке I Новгородской летописи встретился лишь 1 случай с постпозитивным прилагательным). В то же время с препозитивным прилагательным это словосочетание употребляется, помимо Лаврентьевского и Ипатьевского списков, также в Синодальном списке I Новгородской летописи, в Ремизовском списке Кунгурской летописи и в сочинении Котошихина.

В отношении словосочетания *князь великий* выше уже приводился материал, характеризующий различное оформление словосочетания в зависимости от памятника: в У в им. падеже была возможна только постпозиция прилагательного, в косвенных — только препозиция. В московских и северо-восточных грамотах XIV—XVI вв. в им. падеже действовали те же нормы, но в косвенных падежах допускалась и постпозиция прилагательного, особенно широко представленная в московских грамотах. Что касается других обследованных памятников, то в Л и в им. падеже, и в косвенных падежах одинаково возможны и пост-, и препозиция прилагательного, выбор той или иной модели не диктовался какими-либо условиями употребления словосочетания [ср.: «и повелъ великимъ князьъ всемъ людемъ изити из града и стоваромъ.» (Л 434 1208); «Тое же змы посла князь великий сн своего опять Сгослава Новугороду на княжьне.» (Л 434 1207); «тогда сущю великому князю в Переяслави.» (Л 416 1201); «и тогда сущю князю великому в Переяслави в полюдьи.» (Л 408—409 1190)]. В Ип словосочетание употреблено лишь дважды, оба раза в форме косвенных падежей, с препозитивным прилагательным. В Р — также два раза, в косвенном падеже, с препозитивным прилагательным. Если для последних двух памятников из-за малой употребительности словосочетания о наличии каких-либо норм говорить не приходится, то в сочинении Котошихина существуют строго соблюдаемые нормы в расстановке членов этого словосочетания, отличные от всех более ранних памятников: прилагательное здесь всегда занимает первое место в словосочетании независимо от его падежной формы. Ни в косвенных, ни в им. падеже не встретилось ни одного случая с постпозицией прилагательного.

В словосочетании *великое княжиче*, из летописных текстов известно лишь в Синодальном списке I Новгородской летописи и в Устюжском летописном своде (в Ип не встретилось, в Л встретилось лишь 1 раз), первое место всегда занимает прилагательное (независимо от падежной формы). Известен лишь только 1 противоречащий случай из С (на 35 встретившихся случаев с препозицией прилагательного). В новгородских, московских и северо-восточных грамотах резких различий в употреблении этого словосочетания нет, однако положение несколько иное: при преобладающей препозиции отмечен и целый ряд случаев постпозиции прилагательного.

Отмеченные особенности взаиморасположения членов устойчивого словосочетания здесь рассматривались лишь в плане статическом, что в отношении материала несвободных словосочетаний оказывается, как правило, не противоречащим исторической перспективе: ведь устойчивая форма не-

свободного словосочетания, раз образовавшись в языке, имеет стремление сохраняться и стабилизироваться в данном виде. Многие словосочетания вообще бесследно исчезали из языка, не меняя при этом своей формы. Однако выяснение хронологических соотношений и исторических тенденций оказывается все же необходимым в ряде случаев. Дело в том, что некоторые словосочетания были захвачены общим процессом закрепления определенного места в словосочетании за согласуемым определяющим членом в зависимости от того, в какой синтаксической функции он выступал. Препозитивное положение в отношении существительного при этом все более прочно закреплялось за определением¹. В связи с этим в ряде устойчивых словосочетаний, ранее известных с различным порядком следования компонентов, к XVII в. становится возможной лишь препозиция прилагательного. Из обследованных нами памятников в этом отношении показательно, например, сочинение Котошихина, в языке которого вообще уже довольно последовательно выдерживается возникающая норма препозитивного расположения любого одиночного атрибутивного прилагательного. Можно было бы ожидать, что воздействию этой нормы особенно легко подвергнутся те устойчивые словосочетания, семантическая спаянность элементов которых была незначительной. Однако устойчивыми словосочетаниями, в которых прилагательное *великий* могло употребляться только в препозиции в отличие от более ранних памятников, в сочинении Котошихина оказываются и такие словосочетания терминологического характера: *великий князь*, *великий государь*, *Великий Новгородъ*. Тесная семантическая спаянность элементов здесь не явилась препятствием для проникновения норм, свойственных свободным словосочетаниям.

Таким образом, неизменность формы устойчивого словосочетания, требующая и фиксации расположения его членов, была свойственна не всем словосочетаниям и не зависела от степени их фразеологизации. О фиксированном расположении членов устойчивого словосочетания как элементе структуры его не всегда можно говорить в смысле исторической стабильности такого расположения². Гораздо более показательным здесь иногда оказывается наличие некоторых ограничительных условий, последовательно регулирующих реализацию возможных способов расположения членов устойчивого словосочетания. В этой последовательности проявляется своеобразная стилистическая избирательность языка.

¹ Количественный рост препозитивного использования прилагательного-определителя в голицу древнерусского периода единодушно отмечается исследователями. Ср., например: Н. Д. Петрович, Синтаксис древнерусского языка XIV—XV вв. Канд. диссерт., б/м., 1946; З. Д. Полова, Виды синтаксических связей в Азовской записной книге 1698—1699 гг. Канд. диссерт., Воронеж, 1954; Л. Шакув, Употребление именных и местоименных форм прилагательных в белорусском языке. Автореф. канд. диссерт., Минск, 1953; В. Unbegaun, La langue russe au XVI-siècle, Paris, 1935.

² Ср., например, у В. Л. Архангельского: «Фразеологические единицы в огромном большинстве случаев сохраняют в своем построении порядок слов, обычный для той эпохи, в которую они возникали» (указ. соч., стр. 10).

Г. И. ГЕРОВСКИЙ

О СПЕЦИФИКЕ ЛИТЕРАТУРНОГО ДВУЯЗЫЧИЯ
У ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН*

1. Характер литературного двуязычия у восточных славян после принятия христианства и появления на их территории старославянских книг определяется тем, что наряду с деловым языком, традиция которого восходит к истокам древнерусской государственности («Русская земля»), стал употребляться церковнославянский язык с древнерусским произношением и сохранением старославянских типов склонения и спряжения. Вошли в употребление старославянские термины и слова культурного обихода; отчасти это были кальки с греческого, сохраняющиеся и сейчас в русской литературной речи (*подчинять* — ὑποτάσσω при τῆς; ст.-слав. *чинѣ*; *согласие* — συμφωνία при φωνή — *гласъ*; *совесть* — συνείδησις; *прилежание* — ἐπιμέλεια). Вместе с тем усваивалась разработанная в старославянском языке стилистика: стали употребляться готовые соединения слов, обороты речи, приемы изложения. При этом еще отчетливее сказывалась ограниченность унаследованной деловой речи рамками права, государственной и городской жизни. Школьное чтение букв, единообразное для всех областей в древней Руси, включая и Новгород (а начало школы восходит ко времени Владимира), привело к унификации при чтении писанных текстов и отпечатлелось в написаниях позднейшего времени (XII — XIV вв., после так называемого падения глухих во второй половине XII в.); след «школьного» произношения сохраняется и в современном языке: *восток* (из *въстокъ*, где и первое *ѣ* должно было исчезнуть), *событие*, *собирать*, *собор* (при *сбирать*, *сбор*), *совет*.

2. При формировании русского литературного языка XVIII в. церковнославянская традиция сказалась в подборе слов, в принятии в качестве литературного в определенных случаях славянизированного произношения (отсутствие *ѣ* и до сих пор в словах из старославянского: *совершенный*, *современный*, *надменный*, сохранение церковнославянских *щ*, *жд*: *обещать* при *отвечать*, *вещать*, *невежда*, *одежда*), в суффиксальных образованиях (*строение*, *задание*, *избежание*, *шестие*, *последствие*, *возмездие*), в искусственности причастий (*-ущий*, *-ющій*, *-ащий*, *-ящий*, что было перенесено и на прилагательные: *злющий*, *большущий*), в церковнославянском виде наречий и союзов (*прежде*, *между*, *вследствие*). При подборе слов предпочитали унаследованные церковнославянизмы, оставляя в пренебрежении весьма удобные слова диалектного состава архаических народных говоров; касалось это не только звукового вида слов (*сладкий* — *солодкий*; *власть*, *владелец*; *сморд* — *смородина*; *мрак* — *морочить*, *обморок*; *время* — *веремья*), но и словарного состава вообще (диалектные слова попали главным образом из говоров, расположенных близко к центру.

* О т р е д а к ц и и. Заметка ныне покойного доцента Г. И. Геровского «О специфике литературного двуязычия у восточных славян» была прислана в редакцию после опубликования в № 3 журнала за 1958 год (стр. 42—45) ответа А. В. Исаченко на вопрос, поставленный к IV Международному съезду Советским комитетом славистов — «Какова специфика литературного двуязычия в истории славянских народов?» (вопрос № 3). Ответ Г. И. Геровского пришел со значительным опозданием и потому не мог быть включен в «Сборник ответов на вопросы по языкознанию» (М., 1958).

ср. *глаз, бросать*). Здесь проявился известного рода аристократизм соответственно навыкам речи привилегированных сословий, на которые ориентировались писатели. Результатом является нынешнее состояние русского литературного языка при 50%-ном составе церковнославянских слов. Новые слова (искусственно созданные неологизмы) образовывались по церковнославянскому образцу (в том числе и кальки): *соответствие, сумасшествие, восхищение, умалишенный, соразмерный, восторг, принуждать, награждать, нагромождать* и также *убеждать* (*convaincre*).

3. Терминологическое использование церковнославянизмов приняло широкие размеры, стало в русском литературном языке правилом. Церковнославянский вид имеют многочисленные термины различных отраслей науки (*воспаление, повреждение, млекопитающее, пресмыкающееся, насекомое, равноденствие, равновесие, затмение, охлаждение*). Вновь возникающие термины создаются по тому же принципу. Унаследованный состав старославянских слов и искусственно образованных по тому же образцу неологизмов неизгладим в русском литературном языке. Следы их находим и после новейших реформ в правописании (*ладья, расти при лодка, рос, рост; расписка при роспуск, роспись; дождь, дождик; недавнее дрожжи, теперь дрожжи* и др.).

4. Между тем как церковнославянский слой генетически является неотъемлемой частью русской образованной речи, французское двуязычие оставило гораздо менее заметные следы. «Неправильные галлицизмы» оказывались неразгаданными германизмами (*sens froid* — *хладнокровный* — *kaltblütig*). Галлицизмы типа *сержант, лейтенант, майор, генерал, жан-дарм, бюро, профессор, лекция, университет* попадали в русский язык отчасти через немецкие уста (*Leutnant, Major, General, Professor, Universität*) после того, как они успели стать общеевропейским достоянием. Такие слова, как *гений, гениальный*, воспроизводят латинское *genius* (соответственно с немецким *Genius, genial*, наряду с которым имеется и *Genie* с французским произношением *ж*). Особо нужно отметить терминологические слова греческого происхождения, попавшие в русский литературный язык через немецкое посредство. Рядом с унаследованными от старины греческими словами, воспроизводящими греческий звуковой вид (*кафедра, кровать, кивот, киноварь*), стоят терминологические слова с обычной в немецком передаче греческих звуков (*лейкоциты* вместо *левко-, гипотеза, генезис, изоглосса*, где греческое с передано через *з*). Иногда такие слова, первоначально имевшие греческую огласовку (*виблиофика* XVIII в.), были «исправлены» на латинско-западноевропейский лад (*библиотека* XIX в.), причем порой лишь отчасти (совсем недавно *хрестоматия*, теперь *хрестоматия*; ср. также *арифметика*, но *математика*). То же касается и имен греческих писателей (*Омир* XVIII в., *Гомер* XIX в.). Уже И. В. Ягич обратил в свое время внимание на непоследовательность такой передачи греческих слов и имен с нарушением традиционной их передачи в старославянском и древнерусском соответственно греческому произношению IX—XI и последующих веков. Отдельно стоят греческие слова, легшие в основу названий мер и весов, возникших в конце XVIII в., в эпоху французской революции (*декаграмм, метр*); в них наблюдается замена греческого *х*, несвойственного французскому языку, через *к* (*кило* из греч. *χίλος* «тысяча»).

5. Особо должен рассматриваться вопрос об искусственно созданных словах (неологизмах) в русском литературном языке. Искусственные слова — это один из путей развития каждого литературного языка. В русском языке они создавались по образцу унаследованных от старины слов старославянских. Почти все кальки по звуковому виду, как уже сказано; являются «церковнославянизмами» (*средство* — нем. *Mittel*, франц. *moyen*; *восприятие* — *perception, Wahrnehmung*; *возрождение* — *régénération, Wiedergeburt*; *образование* — *Bildung*; *современный* — *contemporain*; *предопределение* — *prédestination, Vorherbestimmung*; *предприятие* — *Un-*

ternehmen, entreprise; *предрассудок* — *Vorurteil, préjugé*). По этому образцу было создано множество искусственных новообразований, которые не являются кальками в прямом смысле. Особенно много подобного рода прилагательных (ср. *самостоятельный* — *selbständig*; *приятный* — *angenehm, agréable*; *предусмотрительный* — *vorsichtig, prévoyant*; *преждевременный* — *vorzeitig*), в том числе и в значении наречий (*собственно* — *eigentlich, propre*). В слове *выдающийся* — *hervorragend, éminent* употреблена русская приставка *вы-* вместо *из-*, ибо последняя была применена уже в другом термине: *издание* — *édition*. Использование в подобных прилагательных суффиксов *-тель-*, *-ьн-* (*значительный* — *bedeutend, important, сознательный, поместительный, исключительный*) указывает на их искусственность по сравнению с такими, как *дейтельный, доброжелательный, карательный*, где рядом стоят существительные с тем же суффиксом (*-тель*). В отдельных случаях трудно различать между возможным французским и немецким образцом, так как и немецкий язык, формируясь в XVIII в., подвергался, как известно, французскому влиянию. Подобным образом в русском литературном языке появилось множество искусственных новообразований, которые не являются кальками в прямом смысле [ср. *впечатление* в соответствии с нем. *Eindruck*, франц. *impression* впервые как психологический термин у Н. Грота (1879—1880); к нему производное прилагательное *впечатлительный*]. Что касается выражений *виду того, в силу того, вследствие этого*, то и тут параллели находим в обоих упомянутых западноевропейских языках: *en rue de, angesichts dessen, à force de, kraft dessen, par suite de, infolge dessen* и по тому же образцу — *в связи с чем*, появившееся, как упомянуто, вследствие общего направления развития стилистики.

6. Рассматривая наш вопрос, следует иметь в виду, что мы имеем дело со словами, отсутствующими в народных говорах и входящими в состав всех современных европейских литературных языков, которые развивались сходным образом. Это касается соединений слов и целых оборотов речи, одинаково употреблявшихся в указанных языках. Вопрос этот еще не был предметом исследования. Но уже и теперь можно указать первоначальный источник, давший толчок к оформлению литературных языков Западной Европы в эпоху Ренессанса. Это среднегреческий литературный язык того времени, на котором были написаны книги, занесенные бежавшими после падения греческой империи и завоевания турками Константинополя (1453 г.) греческими учеными, вызвавшими, как известно, возрождение в Италии и Западной Европе. Некоторые книги на среднегреческом языке были изданы в Риме. Пишущему эти строки приходилось заметить, читая подобные тексты, что синтаксические соединения слов и обороты речи в них не соответствуют древнегреческому синтаксису, однако совпадают во многом с тем, что со времен Ренессанса стало достоянием начавших тогда формироваться литературных языков Запада. Путь распространения был: Италия → Франция → Германия. Такой путь распространения нашел отчасти отражение и в графике: в итальянское в письме (в печатных изданиях XVI в.) — в немецкое (употребляемое в немецком письме до сих пор и заменившее др.-в.-нем. *z* в значении кириллического *с*) — *sz* мадьярское (где оно тоже заменило *z* в том же значении); *z* итальянское (в значении *ц*) — *z* немецкое (в том же значении). К этому нужно добавить, что и словосочетания при помощи родительного падежа не могут всегда считаться галлицизмами, имея свое соответствие в старославянском (*духъ истинъ*) и греческом (*τὸ πνεῦμα τῆς ἀληθείας*).

В формировании русского литературного языка, следовательно, имела большое значение традиция двуязычия, лежавшая в основе всего его развития, а также причастность его с XVIII в. к сфере завершавшегося процесса оформления литературной речи западноевропейских народов.

ПРИКЛАДНОЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ

И. К. БЕЛЬСКАЯ

О ПРИНЦИПАХ ПОСТРОЕНИЯ СЛОВАРЯ ДЛЯ МАШИННОГО ПЕРЕВОДА

Словарь для машинного перевода (МП) отличается от обычного словаря рядом особенностей¹.

Первая особенность состоит в разделении всего словаря на некоторое число независимых словарей — по числу языков, привлеченных для МП. Таким образом, отдельно записывается словарь языка, с которого происходит перевод, и языка, на который перевод осуществляется.

В словарях группы А (т. е. тех языков, с которых делается перевод) каждое слово снабжено указанием на номер его эквивалента (или эквивалентов) в словаре группы Б (например, русском, словаре). Для того чтобы сделать этот последний пригодным не только для МП на русский язык, но и с русского, каждое русское слово снабжается индексами, указывающими номера его эквивалентов в словарях группы А.

Вторая особенность состоит в разделении словаря каждого языка на две секции — секцию однозначных слов и секцию многозначных слов. Это необходимо для того, чтобы обеспечить каждое многозначное слово в словаре МП правилами выбора нужного значения этого слова. Секция однозначных слов в свою очередь делится на подсекцию терминов, объединенных в несколько групп соответственно принадлежности к той или иной области науки (термины математические, физические и т. д.), и подсекцию общеупотребительных однозначных слов. Такое строение словаря обеспечивает его четкую и быструю работу при МП, а также создает возможность расширения отдельных частей словаря без нарушения общей его структуры.

В лингвистическом отношении новой является секция многозначных слов. Это опыт полной формализации семантического анализа многозначных слов. До сих пор наблюдения в этой области фиксировались как разнообразные, иногда случайные заметки «о трудных случаях» многозначности слов². Переводчику обычно предлагалось «просто запомнить» эти «трудные случаи», причем сколько-нибудь конкретные указания о выборе нужного варианта из названных не сообщались.

Третья особенность заключается в том, что словарь МП содержит не только перечень лексических единиц (слов), но и определенный комплекс грамматических характеристик каждого слова. В существующих

¹ О технических вопросах реализации МП см. следующие работы: Д. Ю. П а н о в, Автоматический перевод, 2-е изд., М., 1958; И. С. М у х и н, Опыты автоматического перевода на электронной вычислительной машине БЭСМ, М., 1956; И. К. Бельская, Л. Н. Королёв, И. С. Мухини др., Некоторые вопросы автоматизации перевода, «Вестник АН СССР», 1956, № 12; С. Н. Р а з у м о в с к и й. К вопросу об автоматизации программирования задач перевода с одного языка на другой, «Докл. АН СССР», т. 113, № 4, 1957.

² См., например, С. С. Т о л с т о й, Основы перевода с английского языка на русский, М., 1957, стр. 20—21.

словарях обычного типа грамматические сведения о словах не носят сколько-нибудь систематического характера и сообщаются преимущественно как предупреждение о некоторой нерегулярности в грамматическом оформлении слова. Словарь МП содержит систематизированное грамматическое описание каждого слова, называемое «инвариантной (или словарной) характеристикой слова».

Четвертая особенность состоит в том, что словарь МП дает систему релятивных значений слов. Система значений слов языка-источника представлена здесь не абсолютно, а в ее отношении к лексической системе другого языка, с которым сопоставляется данный язык в целях осуществления перевода.

Пятая особенность заключается в том, что словарь МП фиксирует «нулевые значения» слов, т. е. случаи, когда слово не следует переводить на другой язык как отдельную лексическую единицу.

Поясним подробнее последние три особенности. Определенная грамматическая характеристика слова желательна во всяком словаре. Говоря о задачах составителей обычных (толковых) словарей, С. И. Ожегов замечает: «...показ грамматического... оформления слова и синтаксических возможностей его приобретает огромное значение для словаря. Чем точнее указания словаря в этом отношении, тем лучше он выполняет свою роль»¹. В словаре, составленном для машинного перевода, грамматическая характеристика слов обязательна. Здесь не предполагается участия человека, который мог бы «досказать» некоторую исходную грамматическую информацию, необходимую при грамматическом анализе переводимого предложения. Существующие словари обычного типа, как правило, в описании грамматической стороны слова ограничиваются общим указанием на принадлежность слова к определенной части речи и, в лучшем случае, фиксированием некоторых «неправильностей» в его формообразовании. Предполагается, что «правильные» грамматические сведения систематизированы в грамматике. Переводчику предлагается мысленно соединить эти сведения со словарными. При машинном переводе отсутствует не только переводчик, но и систематический грамматический очерк отдельного языка где-либо вне словаря. Есть словарь и правила сравнительно-грамматического анализа предложения. Чтобы эти правила работали, из словаря должны быть получены сведения не только о лексическом значении слова, но и некоторая исходная грамматическая информация.

К мысли о необходимости так или иначе сообщать в словаре некоторую грамматическую информацию о слове пришли почти все исследователи проблем МП. Так, американские и английские исследователи, отказавшись от первоначальной идеи сведения всех различий между языками к лексическим различиям², были вынуждены признать весьма желательным выделять в словаре некоторые «значащие для предложения» категории слов. Однако их высказывания на эту тему долгое время были очень осторожны и в ряде случаев непоследовательны. В частности, ими была сделана попытка, поместив в словаре отдельно основы слов и окончания, предоставить весь грамматический анализ делать словарю на основе анализа окончаний слов.

Выяснение этого вопроса имеет принципиальное значение для МП. Для того чтобы обеспечить перспективность системы языкового анализа для МП, необходимо правильно разграничить лексические и грамматические категории в языке. «Грамматическим является выражение обобщенного отношения посредством лишь изменения слов и их соединения как

¹ С. И. Ожегов, О трех типах толковых словарей современного русского языка, ВЯ, 1952, № 2, стр. 102.

² См. статьи: A. G. Oettinger, The design of an automatic Russian-English technical dictionary; Y. Bar-Hillel, Idioms (стр. 52), сб. «Machine translation of languages», New York - London, 1955.

такового, отвлеченного от их конкретности; лексическим же является выражение словами как таковыми, т. е. как частями словарного состава»¹.

В словаре МП должно храниться все то, что выражается в языке лексически. Принципом, определяющим включение в словарь той или иной лексической единицы, может служить следующий тезис, выдвинутый Л. В. Щербой: «Все, что происходит по правилам, будет явлением грамматическим, а все то, что является индивидуальной принадлежностью того или иного слова, будет явлением лексическим»². Этот принцип оказывается весьма полезным и при решении в условиях МП вопроса о «неправильных», индивидуальных формах того или иного слова, которые при таком подходе утверждаются в своем праве быть занесенными в словарь МП. Явления, отнесенные Л. В. Щербой к грамматическим, могут быть вынесены за рамки словаря и выделены в систему грамматических правил, но в словаре МП должны быть фиксированы указания на все эти грамматические правила в виде инвариантных признаков слов.

Грамматические категории, присущие слову, могут быть двух типов. К первому из них относятся те грамматические категории, которые определяют тип изменения слова, сохраняя при этом постоянное значение независимо от употребления слова в предложении. Значение же категорий второго типа варьируется в зависимости от функций слова в предложении. В каждом языке категории первого типа составляют некоторую определенную и постоянную систему грамматических категорий, которую одновременно с переводом лексического значения слова следует сообщать в словаре МП. Устанавливаемые таким образом системы инвариантных (или словарных) признаков противопоставляются системам вариантных (или контекстных) грамматических признаков слова, значение которых выясняется из анализа слова в предложении.

Так, для имен существительных в русском языке, в отличие от вариантных признаков числа и падежа, инвариантными признаками являются тип склонения, тип основы, категории грамматического рода, одушевленности, нарицательности и местоименности, а также особенности в формообразовании и принадлежности к какой-либо лексической группе. Для русского прилагательного инвариантными признаками являются только тип основы, категории местоименности, особенности в формообразовании и принадлежности к лексической группе. Грамматические категории имени прилагательного — род, число, падеж, степени сравнения и т. д. — составляют его вариантные признаки. Доминирующим в системе грамматических признаков слова является признак части речи, относящийся к к числу инвариантных признаков.

Естественно, что системы вариантных и инвариантных признаков различны для разных языков. Важно отметить, что их состав определяется для целей МП с учетом их роли (точнее, необходимости в них) при переводе на заданный второй язык (в нашем случае — на русский). Поэтому в нашем словаре не фиксированы многие инвариантные грамматические признаки, о которых сообщается в традиционной грамматике. Напротив, ряд грамматических признаков этого типа впервые зафиксирован в словаре МП. Системы инвариантных признаков, фиксированные в словаре МП, содержат все те исходные данные, которые необходимы для последующего грамматического анализа слова в предложении.

Последние две из названных выше особенностей словаря МП обусловлены специфическим характером лексических значений слов, зафиксированных в словаре МП. Уже давно было замечено, что фактически при переводе переводчик почти никогда не может ограничиться выбором из

¹ А. И. Смирницкий, Аналитические формы, ВЯ, 1956, № 2, стр. 50.

² Л. В. Щерба, Очередные проблемы языковедения, ИАН ОЛЯ, 1945, вып. 5, стр. 129.

числа тех значений, которые зафиксированы в словаре. Примеры того, к каким недоразумениям и искажениям нередко приводит некритическое пользование существующими словарями, цитируются во всех статьях и книгах, обобщающих наблюдения известных переводчиков¹. По нашему мнению, всякий двуязычный словарь, поскольку он является переводческим словарем, должен отличаться от любого одноязычного (нормативного или толкового) словаря тем, что он не ставит своей задачей дать системы значений слов в каком-либо одном языке. Двуязычный словарь должен фиксировать не систему значений слов какого-либо языка, а перевод этой системы на другой язык. В этой связи нами введены понятия собственных и релятивных значений слов.

Под собственными значениями слов мы понимаем те значения, которые слова имеют в пределах языка, к которому принадлежат. Релятивными значениями слов мы называем те значения (или систему значений), которые получают слова при переводе их на другой язык. Собственное и релятивное значения слова совпадают не всегда. Так, английское прилагательное *good* в сочетании с существительным *chance(s)* приобретает при переводе на русский язык релятивное значение, содержащее количественную характеристику слова *шанс(ы)*, тогда как в английском языке представлена качественная характеристика: *to have good chances* «иметь много шансов» (а не «хорошие шансы»).

Пригодность двуязычного словаря для перевода определяется тем, насколько он отражает именно релятивные значения слов. Отсутствие установки на передачу релятивных значений существенно снижает практическую ценность двуязычных словарей. В англо-русском словаре Мюллера для слова *amount* (существит.) указываются три значения: 1) сумма, итог; 2) количество; 3) (перен.) значение, смысл. Из них только первое отчасти отражает релятивное значение «сумма» слова *amount*. Два других значения при переводе не могут быть использованы. Ср.: *if we fix a certain amount* (величину) *as the allowed error...*; *In many cases the amount* (объем) *of mathematics... is quite adequate*. При переводе с помощью обычного словаря со стороны переводчика требуется «додумывание», которое по существу сводится к замене собственных значений слов релятивными. В нашем примере значения, указанные в словаре Мюллера, потребовалось заменить релятивными значениями «величина» и «объем». Важно подчеркнуть, что ни одно из них не является ни «окказиональным» значением, ни особым оттенком какого-либо другого значения. Это вполне устойчивые, закрепленные постоянным употреблением значения слова. Отсутствие релятивных значений в словаре МП может практически свести на нет всю работу словаря. Очевидно, необходимое «додумывание» должно быть произведено предварительно и зафиксировано в словаре.

Частным случаем релятивного значения является «нулевое значение», т. е. тот случай, когда слово не следует переводить на другой язык как отдельную лексическую единицу. Так, при переводе на русский язык английского предложения *It is interesting to note, how closely these findings parallel statistical studies* первые пять слов будут переданы двумя русскими словами «интересно отметить», а три слова *it, is, to* получают нулевое значение. Слово с нулевым релятивным значением остается самостоятельным структурным элементом в переводимом предложении, хотя лексически его роль сводится к модификации значения слова или слов, с ним связанных. Поэтому слово, получающее в словаре нулевое значение, сопровождается инвариантными признаками наравне с остальными словами.

Наиболее актуально нулевое значение для служебных слов, однако его могут иметь и полнозначные слова. Ср.: англ. *take* «делать»; *take + +sure* «убедиться» +0; *take + clear* «объяснить» +0; *take + ready* «приготовить» +0. Ср. также различные идиоматические выражения, эквива-

¹ См., например, А. В. Федоров, Введение в теорию перевода, М., 1953; С. С. Толстой, указ. соч.

лентные в языке, на который делается перевод, одному слову. В этом случае все слова, кроме «ключевого», получают нулевое значение.

Проблема автоматического перевода идиоматических выражений на другой язык многим исследователям казалась неразрешимой. Этот вопрос был специально рассмотрен Бар-Хиллелем в указанной статье «Идиомы». Решение проблемы автор статьи видит в том, чтобы иметь словарь идиом в дополнение к словарю обычных слов. Теоретически, полагает Бар-Хиллел, вполне очевидно, что достаточно распространенный общий словарь может выполнить задачу обоих словарей, практически, однако, при таком варианте словарь МП будет слишком перегружен дополнительными переводами и выбор нужного значения будет затруднителен без специальных указаний по каждому случаю. По нашему мнению, словарь идиом может быть включен в общий словарь и это не будет обременительным, если предварительно в общем словаре выделить в отдельную часть с л о в а р ь м н о г о з н а ч н ы х с л о в, чтобы сюда же влить и словарь идиоматических выражений. В таком случае идиоматическое использование слова найдет отражение в общей системе указаний, обеспечивающих правильный перевод слов, неоднозначно переводимых на другой язык.

В заключение заметим, что проблема словаря МП, бывшая той первой проблемой, с которой собственно началось обсуждение вопроса о машинном переводе, оказалась едва ли не самой трудной. На первых этапах наибольшее сомнение вызывали вопросы относительно объема словаря МП; приводились астрономические цифры слов (до 30 млн.)¹, которые необходимо «запомнить» в словаре. В последнее время такой неразрешимой проблемой считается проблема многозначности слов. По нашему мнению, вопрос о многозначных словах получает удовлетворительное решение для всех языков, если используются следующие два метода:

1. Разделение словаря МП на серию «специальных словарей» соответственно различным сферам человеческой деятельности; в нашем случае — соответственно различным отраслям науки (математический словарь, физический словарь, электротехнический и т. д.). Полисемия слов в пределах такого специального словаря существенно сужается. Так, английское прилагательное *high* в англо-русском словаре Мюллера имеет 10 различных значений. Между тем в специальном математическом словаре система его значений может быть сокращена до трех релятивных значений: «высокий», «большой», «высшего порядка». Типичными математическими контекстами *high* являются следующие: 1) *The difference equation is of too high an order to permit easy numerical solution* «Дифференциальное уравнение имеет слишком высокий порядок, чтобы допускать простое численное решение»; 2) *Hence, there is a need for numerical methods which enables one to calculate particular solutions of any differential equation... with a higher accuracy than...* «Следовательно, есть необходимость в численных методах, которые позволяют вычислять частные решения любого дифференциального уравнения... с большей точностью, чем...».

В китайском, японском и других языках полисемия слов в специальном (математическом) словаре сокращается не менее существенно.

2. Контекстный анализ слова. Понимая под многозначностью способность слова выступать в неоднотипном контексте, можно регламентировать значения слова путем установления (в той или иной области) типовых контекстов данного слова. Типовыми мы называем такие контексты слова, из которых каждый ассоциируется с некоторым новым семантическим вариантом последнего. Определение типовых контекстов осуществляется путем классификации возможных контекстов слова, полученных статистически.

¹ Y. Bar-Hillel, Can translation be mechanized? «American scientist», № 42, 1954.

Приведем пример контекстного анализа двух английских слов:¹

available:

171. (а, 172): Проверить анализируемое слово на *available*.
 а (I, б): Проверить вправо ближайшее слово на *commercially* (*)¹.
 б (II, в): Проверить вправо ближайшие 4 слова на сочетание *at + the + starting + point*.
 в (III, IV): Проверить влево ближайшее существительное на признак «название прибора» или на группу *method, theorem, formula...*.
 I (о): Перевод: «имеющийся» (прилагательное, причастное).
 Перевод найденного слова: «в продаже» (наречн. группа).
 II (о): Перевод: «заданный» (прилагательное).
 III (о): Перевод: «применимый» »
 IV (о): Перевод: «доступный» »

after:

56. (а, 57): Проверить анализируемое слово на *after* и отсутствие признака «парение»².
 а (I, б): Проверить вправо следующее слово (**) на существительное с признаком «подлежащее»³.
 б (I, в): Проверить вправо следующее слово (**) на существительное, за которым следует глагол с признаком «сказуемое» или с показателями сказуемого⁴.
 в (II, г): Проверить предшествующее слово на *one*, а следующее на *another*.
 г (III, д): Проверить влево ближайший предшествующий глагол на принадлежность группе «*pattern...*».
 д (IV, V): Проверить вправо следующее слово (**) на существительные группы «*method...*», «*rule...*».
 I (о): Перевод: «после того, как» (союз неоднородный).
 II (о): Перевод: «за» (предлог, управляет твор. пад.).
 III (о): Перевод: «с» (» » род. пад.).
 IV (о): Перевод: «по» (» » дат. пад.).
 V (о): Перевод: «после» (» » род. пад.).

¹ Индексы (*) и (**) указывают на необходимость применения определенных правил пропуска зависимых слов. Конкретные слова и сочетания слов, на которые опирается анализ полисемии, здесь приводятся для лучшего понимания характера анализа: в схеме они заменяются номерами или признаками групп, к которым эти слова принадлежат.

² Указанный признак слово может получить в схеме «Анализ омонимов».

³ Указанный признак получают в словаре, в частности, некоторые местоименные существительные.

⁴ Формальным показателем сказуемого дано единое описание.

Теоретически при контекстном анализе мы опираемся на положение о взаимосвязанности значений слов, составляющих словосочетания, о чем много писалось в последние годы в работах советских лингвистов. Ср. следующие высказывания А. И. Смирницкого и В. В. Виноградова: «...всякий язык... должен быть признан в основном аналитическим, так как в речи на этом языке большая часть значений будет выражаться словосочетаниями...»²; «иметь разные значения для слова чаще всего значит входить в разные виды семантически ограниченных фразеологических связей. Значение и оттенки значения слова большей частью обусловлены его фразовым окружением»³.

¹ В схемах принята следующая система линейной записи операций анализа: первая цифра (или буква) — номер команды; цифры (или буквы) в скобках: I-я — номер команды, к которой следует перейти в случае положительного ответа проверки, II-я — в случае отрицательного. (Даем вариант анализа, разработанный в ИТМ и ВТ.)

² А. И. Смирницкий, Аналитические формы, ВЯ, 1956, № 2, стр. 41.

³ В. В. Виноградов, Основные типы лексических значений слова, ВЯ, 1953, № 5, стр. 17.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

ОБЗОРЫ

О ЛИТЕРАТУРНОМ ЯЗЫКЕ В ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ПРОЕКЦИИ

В возникновении местных вариантов русского литературного языка (как и всякого другого) определенная роль принадлежит так называемому «фактору пространства». Обширность и прерывность территории распространения языка затрудняют и даже исключают постоянные связи между всеми членами данного национально-языкового коллектива, обладающими различными речевыми навыками. Общественный контроль, сдерживающая сила массовой речевой практики («Dictatur des Verkehrs», по удачному выражению Л. Йордана)¹ не могут в таких условиях проявить себя, и в различных, часто отдаленных друг от друга районах распространения языка появляются те или иные черты своеобразия или местные «отступления» от общелитературной нормы.

Такие культурные силы социального объединения, как школа, печать, радио, различные виды сценической речи, работа по нормализации произношения, грамматики, лексики и пр., еще не гарантируют полного единообразия литературного языка и не избавляют его от областных вариантов, иначе говоря — от появления некоторой местной (не всегда диалектной) окраски.

Отдельные черты местного своеобразия литературной речи подмечались многими лингвистами. Так, акад. А. А. Шахматов в своем «Очерке современного русского литературного языка» выделил главу о диалектных элементах, встречающихся в речи литературно образованных людей. Напомню в этой связи и слова П. А. Лунделя, который писал, что «язык образованных классов... изменяется в различных провинциях чертами, свойственными говорам»². А. И. Томсон также признавал «всякий действительный язык... несколько диалектическим»³. На колебания в речи «образованных людей, говорящих языком лите-

ратурным», указывал и Ф. Корш, подметивший в этом факте воздействие различных областных наречий⁴, и многие другие.

В представлениях лингвистов об общерусской прописительной норме не было единства. Одни (и это была традиционная точка зрения) считали выражением такой нормы «московский говор». Другие же признавали, что роль общерусского образца принадлежит говору «северной столицы» — Петербургу.

Акад. С. П. Обнорский в рецензии на грамматику Р. И. Кошутича возражал против ориентации последнего на московскую норму произношения. «Перед автором, — писал С. П. Обнорский, — был живой литературный язык двух столиц — Москвы, Петрограда, язык не одинаковый, один — акающий, другой — „умеренно“ акающий. Спрашивается, какой из них естественнее было бы положить в основу грамматики? Прямой ответ был бы один: тот, к которому более примыкает язык русских писателей, ибо последний служит и должен служить одинаково ценным источником для грамматики, как и живой (разговорный) язык. Не приходится доказывать, что язык наших писателей есть язык северной столицы, не язык Москвы. Соответствующий живой язык и должен служить основным фоном русской современной грамматики. Между тем у Р. И. Кошутича положение вещей оказывается обратным. В основу грамматики вошла речь Москвы, и ее по необходимости иллюстрируют факты языка русских писателей, по большей части не москвичей, живших в столице Севера или тянувших к ней». С. П. Обнорский говорил о неясности причин, побудивших Р. И. Кошутича «живой говор Москвы сочетать с литературным языком русских писателей»⁵.

В своих многочисленных работах по фонетике современного русского литератур-

¹ L. Yordan, *Sprache und Gesellschaft, «Hauptprobleme der Soziologie»* (Erinnerungsgabe für M. Weber), Bd. 1, München — Leipzig, 1923, стр. 344.

² И. Лундель, *Об изучении говоров*, «Изв. Русск. географич. об-ва», т. XXII, Приложение, СПб., 1887, стр. 4.

³ А. И. Томсон, *Общее языковедение*, Одесса, 1910, стр. 375.

⁴ Ф. Корш, *О русском народном стихосложении*, сб. ОРЯС, т. LXVII, № 8, 1901, стр. 46; см. об этом еще: Я. Грот, *Филологические разыскания*, т. 1, СПб., 1876, стр. 405.

⁵ С. П. Обнорский, [рец. на кн.]: Р. И. Кошутин, *Грамматика русского языка*, ИОРЯС, т. XXI, кн. 1, 1916, стр. 321—322.

ного языка и физиологии общерусского произношения В. А. Богородицкий отмечал различия живого литературного языка в разных местностях и опирался не на московскую норму, а на более нейтральную разновидность литературного языка, которую он называл «восточнорусской вариацией»¹.

Различая «диалектические вариации на фоне общерусского произношения»², В. А. Богородицкий, по-видимому, также считал, что нормы общерусского произношения вырабатывались не в Москве, а в Петербурге. Правда, в «московском наречии» В. А. Богородицкий видел историческую основу русской литературной речи. Но он полагал, что с переходом столицы в Петербург, куда был перенесен и московский говор, последний видоизменялся и сближался с другими русскими наречиями. Так постепенно формировалось произношение «общерусского языка». По мнению В. А. Богородицкого, прежнее, более чистое московское наречие, сохраняясь в городском говоре, развивало и дальше свои особенности, но в этом позднейшем своем виде оно уже не может считаться образцовым, относясь к диалектическим вариациям общерусского произношения³. Впоследствии эта мысль нашла себе дополнительное обоснование в работах Р. И. Аванесова, С. И. Бернштейна, С. И. Ожегова, Д. Н. Ушакова, Л. В. Щербы и др.

Конечно, когда говорят о московском или петербургском «наречиях», имеют в виду речь образованных людей, городской интеллигенции — тех социальных групп, из которых создавалась «цивилизованная среда» столичных центров. Что же касается общей массовой речи жителей двух столиц, то она была далека от полного воплощения правил литературного употребления вследствие большой пестроты городского населения. Основываясь на этом обстоятельстве, еще Болтин высказывался против предпочтения московского наречия. «Нельзя сказать вообще, что наречие московское прочим предпочитать должно, ибо в числе речений, московскими уречениями употребляемых, есть многие изуродованные, непригодные и устранившиеся от чистого языка и от правильного выговора», — говорил Болтин при обсуждении плана словаря Академии Российской⁴.

Даже в московские школы проникала стихия народных говоров. Наблюдения

показывали, что в школах Москвы встречалось оканье, еканье и другие отклонения от московской образцовой речи, причем здесь обнаруживалось «удивительное равнодушие и пренебрежение к тому, что называется чистым русским произношением»⁵.

И петербургское «наречие», более книжное, чем московское, воплощающее в себе умеренно акающую разновидность разговорного литературного языка, далеко не было «образцовым» в устах разных социальных групп горожан. Судя по некоторым отрывочным наблюдениям, в наречии Петербурга намечалось появление таких черт, которые создавали его «местную окраску». К сожалению, лексические варианты типа московского *тротуар*, петербургского *панель*, московского *сапоги* (определенный вид обуви), *ручка* (для письма) и петербургского *сапоги* (всякая мужская обувь), *вставочка* (орудие письма) и пр.⁶ остались совсем не изученными. В. И. Чернышев привел несколько особенностей речи населения этого города⁷. С. И. Ожегов справедливо называл один из них «вариантами московской нормы произношения», другие — «диалектными, просторечными и иноязычными по происхождению отклонениями, мало свойственными литературно говорящим людям и всегда возможными в городах с пестрым населением»⁸. Но к такого рода фактам возможен и иной подход, если принять в расчет, что разговорная речь горожан, не являющихся носителями местных диалектов, обладает некоторыми чертами своеобразия. В данном случае уместно поставить вопрос: не может ли быть хотя бы часть отмеченных В. И. Чернышевым особенностей речи жителей Петербурга как раз показателем ее «местной окраски»?

Рассматривая проблему областных вариантов русского литературного языка, нельзя обойти вопрос об исторически сложившихся и изменяющихся отношениях между литературной и народной разговорной (местной диалектной) речью. История русского литературного языка представляется неуклонным процессом его национальной демократизации, и в этом плане массовые территориальные говоры выступают источником обогащения литературного языка новыми средствами выражения. Областное становится литератур-

¹ В. А. Богородицкий, Фонетика русского языка в свете экспериментальных данных, Казань, 1930, стр. 4, примеч. 1.

² В. А. Богородицкий, Общий курс русской грамматики, 5-е изд., М.—Л., 1935, стр. 2.

³ См. еще Е. Ф. Б у д д е, [рец. на кн.]: В. А. Богородицкий, Общий курс русской грамматики, ИОРЯС, т. X, кн. 1, 1905, стр. 419.

⁴ Цитируем по кн.: А. Н. Пыпин, История русской этнографии, т. I, СПб., 1890, стр. 188.

⁵ А. И т а л и н с к и й, Происхождение, свойства и особенности правильной русской речи, М., 1913, стр. 4. О смешанном характере московского наречия см.: В. И. Ч е р н ы ш е в, Несколько указаний на московское наречие в конце XVIII в., РГВ, т. 51, № 1—2, 1904.

⁶ Последние два примера сообщены нам Ф. И. Филиным.

⁷ В. И. Ч е р н ы ш е в, Как говорят в Петербурге, сб. «Голос и речь», №№ 1, 2, [СПб.], 1913.

⁸ С. И. О ж е г о в, Очередные вопросы культуры речи, сб. «Вопросы культуры речи», 1, М., 1955, стр. 17, примеч. 2.

но нормализованным, внелитературное улучшает качество «литературности»¹.

*

Проблема областных вариантов литературного языка оказывается до известной степени связанной с более широкой, но вместе с тем и специальной задачей изучения языка города. Наблюдатели неизменно признавали «печать образованности» (Н. Надеждин²), «приближение к языку литературному или образованному»³ отличительной чертой языка городов. В нивелирующем воздействии языка городов видели разрушение целостности местных народных говоров. Литературный язык, развивавшийся на основе городской культуры, по понятным причинам не привлекался для особого изучения в научных трудах, имеющих историко-языковую, диалектологическую и этнографическую ориентацию.

Прежде всего обнаруживались сближения некоторых традиционных крестьянских говоров с говором неоднородного по социальному составу мещанского слоя городского населения (ремесленников, торговцев, части мелких служащих и пр.). Один из наблюдателей отмечал весьма интенсивную посредническую роль мещанских говоров в языковом сближении города и деревни⁴. Мещанские говоры представляют собой смесь местных диалектных элементов (сглаженных и лишенных наиболее ярких областных признаков) с элементами разговорного литературного языка, иногда искаженного. Говоры эти распространялись среди крестьянского населения посредством его «подвижных групп» в районах, тяготеющих к городскому центру, в торговых пунктах, фабричных поселках, селах, на больших дорогах и пр.⁵ В отдельных случаях отме-

чалось и сильное отличие языка рабочих от языка крестьян⁶.

Проблема языка города обычно мыслится в плане исследования его социальных диалектов или «в общем изучении диалектологии»⁷. Ссылаясь на Л. Сенезана⁸ как на зачинателя научной разработки языка города, Б. А. Ларин замечает, что научная традиция в изучении такого сложного конгломерата, каким является язык городского населения, еще не сложилась⁹. Причину этого автор видит в предпочтительном внимании к литературным языкам, которые рассматривались вне языкового быта. Интересуясь прежде всего городскими арго, Б. А. Ларин правильно замечает обычное игнорирование таких источников, воздействующих на становление литературной языковой нормы, как городской фольклор, неканонизованные виды письменного языка, разговорная речь разных групп городского населения¹⁰.

Что же касается городских наречий (städtische Mundarten) в их специфических чертах или отношениях к местной диалектной среде, то их изучение имеет довольно богатую традицию, особенно в немецком языкознании¹¹.

Социально-диалектная характеристика языка города направлена на установление отдельных лингвистических групп (арго, профессиональных и социальных диалектов) весьма пестрого по составу городского населения. Если же обратить внимание на общую форму языка, объединяющего все группы горожан, то можно установить некий вид разговорной речи, состоящий из элементов общелитературных и просторечных, к которым могут примешиваться также черты местные, областные. Возможны и вариации общего разговорного языка

¹ В этой связи привлекают к себе внимание, например, некоторые лексикологические разыскания В. В. Виноградова. Назовем здесь и работу Н. П. Грицковой «Об областных словах в современном русском литературном языке» («Уч. зап. ЛГУ им. А. И. Герцена»), т. 122. Кафедра русск. языка, 1956) и др.

² Н. И. Надеждин, Великая Россия, «Энциклопедический лексикон», т. IX, СПб., 1837, стр. 275.

³ Е. Будде, К диалектологии великорусских наречий. Исследование особенностей рязанского говора, Варшава, 1892, стр. 3.

⁴ См. В. И. Тростянский, К изучению местных говоров в Воронежской губернии, сб. ОЯС, т. XCV, № 2, 1916, стр. 1—4; см. еще Д. К. Зеленин, Отчет о диалектологической поездке в Вятскую губернию, сб. ОЯС, т. LXXVI, № 2, 1903.

⁵ Ср. Н. Н. Дурново, Диалектологическая карта Калужской губернии, сб. ОЯС, т. LXXVI, № 1, 1903, стр. 22—25. Ср. также Н. М. Каринский, О говорах восточной половины Бронницкого уезда, ИОРЯС, т. VIII, кн. 1, 1903.

⁶ См. Н. Соколов, Отчет о поездке в Меленковский и Судогодский уезды Владимирской губ. летом 1907 г., «Труды Московск. диалектологич. комиссии», вып. 1, Варшава, 1908, стр. 122.

⁷ С. П. Обнорский, Итоги научного изучения русского языка, «Уч. зап. ЛГУ», вып. 106, 1946, стр. 19.

⁸ L. Sainéan, Le langage parisien au XIX-e siècle, Paris, 1920.

⁹ Б. А. Ларин, О лингвистическом изучении города, сб. «Русская речь», под ред. Л. В. Щербы, Новая серия, III, Л., 1928, стр. 68.

¹⁰ См. Б. А. Ларин, указ. соч., стр. 61—62.

¹¹ См. A. Bach, Zum Problem der Stadtmundarten, «Teuthonista. Zeitschr. für deutsche Dialektforschung und Sprachwissenschaft», Hft. 1, Bonn — Leipzig, 1924—1925; A. Lasch, «Berlinisch». Eine berlinische Sprachgeschichte, Berlin, [1926]; R. Löwe, Die Dialektmischung im magdeburgischen Gebiete (Niederdeutsche Jahrbuch, Bd. 14, 1888); O. Sexauer, Die Mundart von Phorzheim, Leipzig, 1927; W. Müller, Untersuchungen zum Vokalismus der stadt- und landkölnischen Mundart, Bonn, 1912, и др.

города, зависящие, например, от различия в уровне образования разных групп городских жителей и пр. Поэтому в конкретных своих выявленных общий разговорный язык горожан неизбежно будет находиться в различных отношениях к литературно-языковой норме и к внелитературным (например, областным) речевым средствам. Важно еще учесть, что природа разговорного стиля речи дает простор для всяческих отступлений от канонизированных форм литературного выражения и что в бытовой, обиходно-разговорной речи людей, владеющих нормами письменно-литературного употребления, широкое использование средств просторечия и местных говоров в отдельных случаях приводит к переходу (на базе разговорного стиля) литературно-нормализованной формы в областную, не обладающую качествами литературности. Степени приближения или перехода разговорной речи к народному «низовому» говору (*la langue populaire*), к полудialeкту могут быть различными, так же как различны и степени ее приближения к литературным языковым нормам¹.

Если образцовый литературный язык не является общей разговорной речью горожан прежде всего потому, что разговорный речевой стиль плохо уживается с нормативностью, то этим ничуть не подрывается престиж самой литературной нормы. Она не утрачивает значения всеобщего образца, объединяющего всех носителей данного языка (в том числе и горожан), образца, неодинаково реализуемого в разных видах устной, а также письменной речи.

Иногда считают, что областная окраска создается главным образом за счет фонетических явлений и особенно при усвоении литературного языка носителями местных диалектов, которые сохраняют прежнюю артикуляционную базу, накладывающую свой отпечаток на произношение². Но в действительности фонетические явления выступают не единственным, а нередко и не главным показателем местной окраски литературного языка. В разговорную речь образованных людей иногда при определенной ситуации проникают отдельные явления грамматики, а особенно лексики местных народных говоров. Ж. Вандриес по этому поводу писал: «... если случайно в общепользовательский язык войдет несколько слов из местного говора, то это не остатки старого диалекта и не начало образования нового диалекта, — это только местный облик общего языка»³.

* *

До сего времени мы говорили о региональных разновидностях общего литера-

турного языка, создаваемых за счет включения в него тех или иных признаков местных диалектов. Но местные различия (*Die örtliche Unterschiede*) литературного языка могут и не иметь источников в народной диалектной среде. Тогда они являются только вариантами литературной нормы. Здесь уместно остановиться на ряде наблюдений и выводов, сделанных по материалам немецкого разговорного литературного языка П. Кречмером. Исследователь установил господство единства в склонении и спряжении, отметил ландшафтные отличия синтаксиса литературной разговорной речи (*landschaftliche Unterschiede syntaktischer Art*), а также довольно многочисленные и более всего известные различия в звуковой области⁴. Но главной целью его разысканий была география слов немецкого литературного языка.

Исследование географического распространения лексики немецкого обиходно-разговорного (литературного в основе) языка помогло выяснить, что его словарный состав далек от единства. П. Кречмер установил на фактах языка жителей Вены и Берлина географические варианты лексики. Автор подчеркивал, что варианты типа *Fuß* и *Bein*, *Schuh* и *Stiefel*, *Treppe* и *Stiege*, *Sonnabend* и *Samstag* или *fegen* и *kehren* полностью стоят в пределах литературной лексики, входя в состав синонимических средств языка, и что нет оснований объяснять их происхождение воздействием местной диалектной среды⁵.

Основываясь на стилистической группировке, намеченной еще И. К. Аделунгом и принятой с некоторыми вариациями или в более детализированном виде другими авторами (например, Л. В. Щербой, И. А. Бодуэном де Куртене, Л. Блумфилдом), П. Кречмер различал несколько основных видов произносимой речи по ее отношению не только к общелитературной норме языка, но и к стилям областных диалектов. Наиболее полно воплощаются нормы литературного языка в речах с трибуны, в публичных выступлениях (*Vortrags-sprache, Öffentlichkeitsprache*). Это самый «высокий» вид устной речи, не допускающий каких-либо отклонений в сторону местных народных говоров. В двух других видах устной речи людей, владеющих нормами письменно-литературного употребления, принципиально не исключена возможность различных нарушений литературно-языкового канона, а среди них и использование разнообразных средств выражения, присущих местным диалектам. Сюда относятся деловая речь, «беседы в обществе» (*die Verkehrsprache*) как «средний» речевой стиль и, наконец, семейно-бытовая речь, принятая в домашней обстановке и в кругу близких людей (*Die familiäre Sprache*), наиболее терпимо от-

¹ Cp. O. Rudolph, Über die verschiedenen Abstufungen der darmstädter Mundart, «Hessische Blätter für Volkskunde», Bd. XXVI, Giessen, 1928.

² См. А. И. Томсон, указ. соч., стр. 376.

³ Ж. Вандриес, Язык. Лингвистическое введение в историю, М., 1937, стр. 248.

⁴ См. P. Kretschmer, Wortgeographie der hochdeutschen Umgangssprache, Göttingen, 1918.

⁵ P. Kretschmer, указ. соч., стр. 1.

носящаяся к тому, что создает ее областную окраску и что сближает ее с речью носителей местных диалектов.

П. Кречмер, характеризуя явления речевой практики, особенно не расширял рамок «внеязыковой реальности», в которой осуществляется речевой акт и от которой зависит выбор определенных средств речевого выражения. В частности, например, можно было бы признать, что состав и соотношение компонентов того же разговорного стиля будут различными в разных ситуациях и при использовании его людьми с различной «языковой биографией», т. е. имеющими разное отношение к литературному языку или к местной диалектной среде, и что так создаются разные степени «литературности» и «диалектности» разговорной речи¹.

Границы между диалектно окрашенным литературным разговорным языком и местным диалектом, испытавшим сильное воздействие литературного языка, вряд ли можно установить на основе «количественного критерия», определения какого-то числа диалектизмов, которые, будучи включены в разговорную речь, оставляют ее в пределах литературного языка. Но нам кажется небесполезным при характеристике разговорной речи, занимающей пограничное положение между литературным языком и территориальными говорами, рассматривать ее в конкретных отношениях к литературному языку с его стилями или местному говору с его функциональными разновидностями. Тогда обнаружится, что разговорная литературная речь, диалектно окрашенная, может быть при определенных условиях «низким стилем» речи тех, кто в общем владеет нормами письменнолитературного употребления. Наоборот, местная диалектная речь, литературно окрашенная, выступит «высоким стилем» речи людей, владеющих местным диалектом.

*

Практика использования местных диалектизмов в устной и в некоторых видах письменной речи обычно расценивается с позиций строго нормативных. Против этих явлений живого речевого быта объявляется борьба, полезность и эффективность которой зависит от того, насколько прочны ее научные теоретические основы. Прошлый, а отчасти и современный опыт работ по культуре речи не всегда расценивают сомнения на сей счет. Упомянем,

¹ Наблюдатели не раз подмечали появление диалектизмов у тех, кто, владея местным говором как своим материнским языком, усвоил литературный язык и кто в письменной практике и в публичных выступлениях строго придерживается его норм. Обращение к диалектизмам у этих лиц бывает в случаях аффектированной речи, когда ослабляется над ней контроль говорящего, или же оно вызывается определенной ситуацией, например условиями семейного быта, обращением к слушателям, владеющим только данным местным диалектом, и пр.

например, «Опыт словаря неправильно-стей...» В. Долопчева² или «Словарь неправильно-х, трудных и сомнительных слов...» И. И. Огиенко³. Некоторые авторы оценивают местную диалектную окраску литературного языка только как его порчу и даже как «искажение», что смещает историческую перспективу в характеристике фактов языка и вообще снимает проблему диалектизмов в их отношении к разным речевым стилям, к литературному языку, который постоянно и неразрывно связан с народноразговорной стихией.

Местные варианты русского литературного языка создавались в результате сложных исторических процессов, которые не приводили к возникновению новой языковой единицы, существенно отличной от системы языка литературного, но которые вызывали в отдельных моментах сближение литературного языка с областными диалектами. Процесс этот схематически рисуется следующим образом. В исторически сложившихся условиях сильной централизации культуры московское наречие как образцовое распространялось на обширной территории русского языка. Издавна оно оказывало заметное воздействие на крестьянские диалекты также и в районах, далеко отстоящих от столичного центра. Можно думать, что влияние это не всегда было непосредственным, но что оно шло еще и от областных очагов культуры как «вторичных» языковых центров. Образованная часть населения областных городов не всегда полностью перенимала московскую речевую модель, особенно если материнским языком говорящих был какой-либо из местных диалектов. Кроме того, местные диалектные наслоения языка образованных горожан возникали в результате общения с крестьянами — посетителями местных диалектов. Впрочем диалектизмы могли усваиваться и в процессе внутригородских связей, потому что среди городских жителей были такие, для которых местная диалектная форма являлась (чаще всего без резко выраженных диалектных признаков) основной формой общения. Таким путем некоторые элементы народных говоров получали доступ прежде всего в разговорную речь образованной части населения городов⁴.

² В. Долопчев, Опыт словаря неправильно-стей в русской разговорной речи (преимущественно в Южной России), Одесса, 1886. См. рецензию на него в РФВ, т. XV, № 2, 1886.

³ И. И. Огиенко, Словарь неправильно-х, трудных и сомнительных слов, синонимов и выражений в русской разговорной речи (преимущественно Юго-Западного края), Киев, 1911. См. рецензию Н. М. Карпюк в ЖМНП (Новая серия, 1911, август). О названных словарях см. также в указанной статье С. И. Ожегова (стр. 7).

⁴ Ср.: Н. М. Карпюк, Язык образованной части населения г. Вятки и народные говоры, Уч. зап. [Ин-та языка

Социальное общение различных групп и слоев городского населения, различающегося по речевым навыкам, может с течением времени создать черты общего разговорного городского языка (койне, *langue commune*). Средства литературного языка как более богатой (развитой) и поэтому более «сильной» формы занимают в городском языке главную роль, а местные диалектизмы, обычно представленные здесь в смягченном виде, придают ему областную окраску. Именно такого типа региональные разновидности общего литературного языка оказывают воздействие на территории, тяготеющие в экономическом и культурном отношении к тому или иному городскому центру. Вследствие утраты наиболее ярких признаков местными диалектами, попавшими в состав языка города, областные варианты литературной речи горожан менее дробны и дифференцированы, чем местные диалекты на территориях, окружающих центр городской культуры. Условия жизни в больших городах «неизбежно приведут, конечно, к образованию однородного разговорного языка города, параллельного, но не совпадающего с книжнолитературным»¹. Но вряд ли допустимо отрицать, что однородность разговорной речи горожан достигнута главным образом за счет победы объединяющих сил общего литературного языка. «Однородный разговорный язык города» существует и будет существовать параллельно с книжнолитературным, не совпадая с ним хотя бы вследствие структурных различий устноразговорного и письменнокнижного типов речи.

В настоящее время города утрачивают свою роль единственных центров распространения норм русского литературного языка, и близость той или иной сельской местности к городу уже не является непременным условием воздействия литературного языка образованных горожан на речь носителей местных диалектов². Литературный язык распространяется через различные каналы, и под его воздействием возникает разные ступени приближения местной диалектной речи к общелитературной норме³. Воздействие это можно было бы назвать «заимствованием», если бы с данным термином не связывались представления об отношениях между раз-

личными языками⁴. В среде сельского населения, пополняющегося большим количеством выходцев из различных городов, происходят такие же языковые процессы, которые прежде совершались лишь в крупных городских и промышленных центрах. Перестройка сельского хозяйства на основах передовой техники, подготовка квалифицированных кадров в учебных заведениях, создаваемых на местах, разнообразные формы приобщения народа к социалистической культуре решительно стирают различия между городом, на базе которого литературный язык развивался, и деревней с ее местными диалектами.

Местные диалекты безусловно исчезнут с полной ликвидацией противоположности между городом и деревней, с дальнейшим развитием социалистической культуры. Но есть основания полагать, что исчезновение это не будет бесследным. Национальная демократизация литературного языка еще не закончилась. Едва ли можно предсказать прекращение ее в скором будущем, а вместе с тем и приостановку пополнения литературного языка из тех «подземных» источников, о которых писал Ш. Балли⁵.

Академическая грамматика следующим образом уточняет перспективы развития русского литературного языка: «Русский язык создавался русским народом в течение веков, и в настоящее время многие русские люди, родившиеся и выросшие в той или иной диалектной среде, приобщившись к литературному языку, продолжают сохранять в своей речи некоторые местные особенности. Непрерывающийся процесс развития, обогащения и совершенствования русского языка не позволяет ему застыть в неизменные узкие рамки застывших правил. Однако функции языка как средства общения, роль его как формы общенациональной культуры требуют возможно большего единства языка, которое обеспечивается в первую очередь стабилизацией его грамматических норм»⁶. Эта стабилизация, конечно, не исключает возможностей дальнейшей демократизации литературного произношения или упрощения некоторых лексических черт, в настоящее время придающих литературной речи местных жителей областную окраску. Литературная форма языка превращается в общепародное достояние. Теперь уже никак нельзя утверждать вместе с Ф. Буслаевым, что «письменный» (собственно литературный.— Р. Г.)

и лит-ры Росс. ассоц. научно-исслед. ин-тов обществ. наук», т. III. Лингвистич. секция, М., 1928, стр. 43—46, 60—63; Е. И. Луилов, Из наблюдений над речью учащихся в школах II ступени Вятского края, «Труды Вятского научно-исслед. ин-та краеведения», т. III, 1927.

¹ Б. А. Ларин, указ. соч., стр. 69.

² См. В. Г. Орлова, Изменения в характере развития русского языка в связи с историей народа, ВЯ, 1953, № 1, стр. 68.

³ См. Р. И. Аванесов, Очерки русской диалектологии, ч. 1, М., 1949, стр. 12—13, 33—34, 200—201; см. также Н. М. Каринский, Очерки языка русских крестьян, М.—Л., 1936, стр. 71—75.

⁴ Ср. определение О. Бехателем литературного языка как «языка других» (*Sprache der Anderen*) для носителей крестьянских говоров (О. Behagel, *Geschichte der deutschen Sprache*, Berlin—Leipzig, 1928, стр. 182).

⁵ Ch. Bally, *Le langage et la vie*, Paris, 1926, стр. 16.

⁶ «Грамматика русского языка», т. I, М. Изд-во АН СССР, 1953, стр. 3—4; см. еще С. И. Ожегов, Основные черты развития русского языка в советскую эпоху, ИАН ОЛЯ, 1951, вып. 1, стр. 29—30.

язык выражает «многие понятия, стоящие вне круга народной мыслительности»¹.

Вопрос об областной окраске литературного языка должен быть рассмотрен конкретно-исторически, поскольку отношение между литературным языком и местными диалектами исторически изменчивы. В условиях сосуществования литературно обработанной и народноразговорной (диалектной) форм общенародного языка областная окраска создается преимущественно за счет проникновения в него отдельных местных диалектных элементов. С исчезновением местных говоров изменится и характер региональных вариантов литературного языка. Процесс интеграции неизбежно приведет к единству звуковых выражений², но, вероятно, не уничтожит всякие колебания в произношении. Мало вероятным кажется достижение полного единства в области лексики, всегда тесно связанной с особыми условиями быта местного населения, с характером природы края, с своеобразием местного экономического ландшафта и пр. Для слов, обозначающих реалии из этого предметного круга, нет соответствующих полных эквивалентов в словаре общелитературного языка, а поэтому их нельзя ставить рядом с лексическими диалектизмами со значением предметов, явлений, которые в литературном языке выражаются при помощи своих лексических средств (ср., с одной стороны, *гребтовать* и *заботиться*, *беспокоиться*, а с другой — *глава* «смерзшийся ком земли или навоза», *накедь* «вода, выступившая поверх льда зимой», и пр.)³.

Специфику этих слов и их отношение к московскому наречию (собственно к литературному языку) хорошо определил еще Ф. И. Буслаев, писавший: «Не надобно жаловаться на то, будто у нас не достает многих слов для выражения некоторых понятий о природе, напр. горной или приморской. Они у нас есть, и прекрасные, только рассеяны по разным концам России. И безрассудно было бы требовать, чтобы в московском наречии нашли мы слова для выражения явлений природы, бывающих на Урале или на берегах Охотского моря»⁴.

Локальные черты лексики сохраняются за счет слов, отражающих местный колорит

природы и быта и не являющихся собственно диалектизмами. Черты эти не поддаются нивелировке, что обеспечивает устойчивость местной окраски литературного языка на различных территориях его распространения.

*

Вопрос о региональных явлениях в литературных языках признается тем более актуальным, что ему уделялось слишком мало внимания. По словам А. Доза «история областного французского языка пока еще никем не создана»⁵. Приходится признать, что и русский литературный язык почти не изучался в пространственной проекции, хотя некоторые идеи такого изучения были заложены еще И. И. Срезневским в его «Замечаниях о материалах для географии русского языка»⁶. Отсутствие научной традиции изучения русского литературного языка в его областных вариантах, изучения практики его использования многочисленными представителями советской интеллигенции затрудняют разработку методики наблюдений.

Мы полагаем, что примененный А. А. Шахматовым опыт описательной характеристики современного русского литературного языка в его живом звучании и вариациях, иногда переходящих за пределы литературной нормы, весьма плодотворен в работе над интересующей нас темой. Нужно только, руководствуясь столь характерным для Шахматова приемом широкого привлечения фактов живого речевого быта, рассматривать их в конкретных речевых стилях, в различных видах устной и письменной речи. Региональные черты речи людей, владеющих литературно-языковыми нормами, распределяются по речевым типам (письменная, устная речь) и более узко — по речевым стилям. Пределы же колебаний, допускаемых в той или иной стилистической разновидности речи, различны. Они различны и в разных произносительных стилях (например, в четкой и медленной речи и в небрежной и быстрой речи).

Такой метод поможет уточнить специфические черты отдельных видов письменного и устного употребления, а также пределы возможных колебаний, сближающих с литературной нормой данную разновидность речи или отдаляющих речь от общелитературного «стандарта». Идя намеченным путем, можно установить, что пределы, например, фонетических колебаний в разных речевых стилях будут весьма различны. Само понятие литературной нормы получает при стилистическом дифференцированном изучении литературной речи большую определенность и гибкость, которая столь необходима в оценке фактов, а также и в разработке нормативных предписаний.

Р. Р. Гельгардт

¹ Ф. И. Буслаев, О преподавании отечественного языка, Л., 1941, стр. 179.

² См. В. Г. Орлова, указ. соч., стр. 168.

³ Ср. Ф. П. Филин, Об областном словаре русского языка, «Лексикографический сборник», вып. II, М., 1957.

⁴ Ф. И. Буслаев, указ. соч., стр. 244. Ср. также у К. Зеленецкого: «...слова видимой природы, при множестве областных речений, составляют у нас обилие, какое трудно найти в других языках» (К. Зеленецкий, Исследование значения, построения и развития слова человеческого и приложение сего исследования к языку русскому, М., 1837, стр. 29).

⁵ А. Доза, История французского языка, М., 1956, стр. 436.

⁶ «Вестник Имп. Русского географического общества», ч. 1, кн. 1, СПб., 1851.

РЕЦЕНЗИИ

В. В. Виноградов. Из истории изучения русского синтаксиса (от Ломоносова до Потебни и Фортунатова). — Изд-во МГУ, 1958, 400 стр.

Монография акад. В. В. Виноградова представляет собой подробное критическое изложение истории изучения русского синтаксиса в XVIII и XIX вв. (до 80-х гг.) — в ту эпоху, когда «ясно определилось основное содержание науки о русском синтаксисе и резко обозначились главные противоречия и препятствия в ее развитии» (стр. 371). Книга состоит из четырех разделов: в первом рассматривается ломоносовский период в изучении русского синтаксиса (с середины XVIII в. до 20-х гг. XIX в.), во втором характеризуются основные направления в разработке русского синтаксиса с 20-х до конца 50-х годов XIX в., в третьем критически оценивается синтаксическая система Ф. И. Буслаева и освещаются споры по вопросам синтаксиса в 60—70-е годы, в четвертой намечаются — в анализе трудов А. А. Потебни, А. В. Попова, Ф. Е. Корша — новые пути исторического и сравнительно-типологического изучения русского синтаксиса.

Монография В. В. Виноградова имеет большую познавательную ценность как по обилию заключающегося в ней фактического материала, часто впервые вводимого в научный оборот, так и вследствие актуальности для нашего времени тех проблем, которые в ней рассматриваются.

Остановимся прежде всего в связи с общим планом и композицией рецензируемой книги на проблеме периодизации истории изучения русского синтаксиса в рассматриваемую автором эпоху. Четыре раздела книги соответствуют трем периодам, устанавливаемым автором в изучении русского синтаксиса до 80-х гг. XIX в.; два последних раздела книги освещают один сравнительно краткий, но очень важный в историческом отношении период «с конца 50-х гг. по конец 70-х гг.». Этот период, по мнению автора, «характеризуется появлением труда Ф. И. Буслаева „Опыт исторической грамматики русского языка“ (1858 г.)», а в дальнейшем «развитием нескольких грамматических направлений, исходящих из разного понимания основных понятий и категорий синтаксиса» (стр. 379). Автор называет этот период «буслаевским» (стр. 379) или «после-буслаевским» (стр. 331).

Однако можно возражать против того, чтобы центральное место в этом периоде отводить Ф. И. Буслаеву, да и сам автор колеблется в этом, так как по отношению к пред-

шествующему периоду закономерно ставит вопрос, не следует ли признать, вслед за крупнейшими грамматистами 50—60-х гг. К. С. Аксаковым, Н. П. Некрасовым, Н. Богородицким, что и «Опыт исторической грамматики русского языка» Ф. И. Буслаева, стоящий на рубеже периодов, «своей синтаксической теорией был обращен в основном к прошлому» (стр. 378). И если этот период — 60—70-е гг. XIX в. — «проходит под знаком борьбы с теорией синтаксиса, положенной Ф. И. Буслаевым в основу его историко-лингвистических изысканий» (стр. 379), то едва ли целесообразно «именно этим трудом обозначать начало нового — третьего со времен Ломоносова — периода в истории разработки русского синтаксиса» (стр. 378), тем более что и полемика по вопросам синтаксиса в 60 и 70-е годы возбуждалась не столько схемами буслаевского синтаксиса, сколько новыми идеями, высказанными главным образом в трудах Н. П. Некрасова (в 60-е годы) и А. А. Потебни (в 70-е годы), как это видно и из изложения самого автора (гл. XV—XVIII). Если вместе с автором признать, что «периодизация развития тех или иных отраслей филологической науки не может состоять из таких этапов, начало и конец которых точно обозначаются резкой и твердой годичной датой, как жизнь и смерть человека» (стр. 372), то придется отказаться от того, чтобы считать водоразделом между двумя периодами в изучении русского синтаксиса выход в свет «Исторической грамматики» Буслаева. Если же приложить к развитию синтаксической науки во второй половине XIX в. идею «многоярусности русской грамматической науки», как предлагает автор, то трудно будет разглядеть первые зародыши нового направления в синтаксических фрагментах К. С. Аксакова. И следует пожалеть о том, что синтаксические идеи К. С. Аксакова не нашли в книге В. В. Виноградова отчетливого и цельного выражения. Причиной этому то, что характеристика К. С. Аксакова как синтаксиста оказалась разорванной в освещении автора: основные теоретические положения Аксакова в области синтаксиса отнесены к предшествующему периоду (стр. 194—202), а его же критика буслаевского синтаксиса (стр. 241—246), представляющая собой конкретное приложение теоретических взглядов Аксакова, в значительной мере утратила в изложении автора свое принципиальное значение как критика отживающей синтаксической теории с новых позиций «язычного выражения». А

между тем в свете последующего развития русской синтаксической науки (Ф. Ф. Fortunатов, А. В. Добинин, Л. В. Щерба) именно К. С. Аксаков, а не Ф. И. Буслаев выступает как зачинатель одного из новых направлений в русском синтаксисе 60-х гг.

В отдельный, небольшой по объему (330—370 стр.) раздел выделен в книге В. В. Виноградова анализ синтаксических исследований А. А. Потебни, А. В. Попова и Ф. Е. Корша. Такое выделение едва ли можно считать вполне оправданным. Впрочем, как указывает и сам автор, в хронологических рамках книги («От Ломоносова до Потебни и Фортунатова») невозможно «полное раскрытие синтаксических идей и открытий А. А. Потебни» (стр. 330), и его знаменитый труд «Из записок по русской грамматике» (I—II, 1874) «не может быть оторван от последующего развития и широкого внедрения синтаксических идей А. А. Потебни в 80—90-е гг. XIX в. и в первое десятилетие XX в.» (стр. 379). Но хотя общая «синтаксическая концепция А. А. Потебни получила развитие и внутреннюю цельность в 80-е гг.» (стр. 376), первые два тома его диссертации возникли на почве синтаксических споров и разногласий, вполне определившихся в 70-е годы. И было бы более целесообразно предварительный анализ синтаксической концепции Потебни дать в контексте борьбы направлений в русском синтаксисе 70-х годов, т. е. в составе того самого раздела, в котором освещаются работы по синтаксису непосредственных предшественников и современников А. А. Потебни (К. С. Аксакова, Н. П. Некрасова и др.). В таком случае общая хронологическая перспектива не была бы нарушена в книге и главы XIX—XXI, а отчасти и XVIII заняли бы место не до, а после анализа I—II тт. исследования Потебни. Выделенные автором в отдельные главы синтаксические исследования А. В. Попова (1880) и Ф. Е. Корша (1877) также было бы целесообразнее освещать в общем контексте 70-х гг. XIX в.

В первой, вводной, главе книги автор дает краткое изложение античной теории предложения и ограничивается немногими, очень беглыми замечаниями об отсутствии последовательно развитого учения о предложении у русских грамматистов до середины XIX в.

Вторая глава книги посвящена анализу разработки синтаксиса Ломоносовым. Подчеркивая материалистическую основу учения Ломоносова о предложении, В. В. Виноградов показывает, как Ломоносов в общей теории синтаксиса выдвигал мысль о соответствии речи с действительностью, определяя предложения как «речи, полной разум в себе составляющие через сие разные понятия», т. е. посредством объединения их в акте предикации (стр. 16).

При рассмотрении «сочинения частей слова» у Ломоносова автор отмечает, что Ломоносов постоянно стремится к «абстрактно-грамматической характеристике правил согласования и управления слов» (стр. 19), избегая «простого перечисления

слов, характеризующихся однотипностью синтаксической конструкции» (стр. 24) и подчеркивая в ряде случаев «тесную и глубокую зависимость синтаксических связей от лексических значений сочетающихся слов» (стр. 18). В. В. Виноградов показывает далее, как тонко и глубоко освещены у Ломоносова функции союзов, синтаксические связи междометий, разнообразны способы выражения обстоятельств времени при образовании словосочетаний (стр. 24—25).

В анализе сложного предложения существенно указание Ломоносова (отмеченное автором на стр. 24) на структурные различия между случаями пост- и препозиции причинных предложений: *Креж много может:¹ потому что богат и Понеже Креж богат, то много и может*. В этих примерах примечательно не только употребление разных союзов, но и указание Ломоносова (постановкой двоеточия) на менее тесную связь частей при постпозиции причинного союза. Таким образом, у Ломоносова обнаруживаем глубокое понимание особенностей структуры сложного предложения и сложного синтаксического целого, не перешедшее, к сожалению, в традицию. Примечательно при этом, что Ломоносов, предвосхищая учение А. А. Барсова об описанных, или комплексных, терминах, включает в состав подлежащих и те придаточные предложения, которые при помощи относительных местоимений и наречий распространяют эти подлежащие (стр. 27—28).

Отмечены автором и тонкие наблюдения Ломоносова над принципами русского словорасположения и над стилистическими функциями порядка синтагм в составе предложения (стр. 31). Однако изложение синтаксических воззрений Ломоносова не переходит в панегирик. Объективно оценивая огромные заслуги Ломоносова в изучении синтаксиса русского языка, В. В. Виноградов указывает на отрыв в синтаксисе Ломоносова грамматического учения о «сочинении слов» от теории предложения, почти полностью перенесенной в «Риторику», и на разобщенность в грамматике Ломоносова понятий «частей речи» и «членов предложения» (стр. 32—33). В силу этого Ломоносов мог только поставить, а не разрешить проблему соотношения лексик и синтаксиса в построении словосочетаний (стр. 21). Вместе с тем, по словам автора, «ломоносовское учение о предложении и его главных членах — подлежащем и сказуемом — носило логический характер и не исчерпывало вопросов, относящихся к строю предложения, к различиям типов предложений, к составу предложений и к приемам выражения синтаксических отношений между словами внутри предложения» (стр. 34). Впрочем проблемы, не раз-

¹ Следует отметить, что в VII т. последнего академического издания сочинений Ломоносова при воспроизведении данного текста допущена искажающая его синтаксическую структуру модернизация пунктуации: двоеточие заменено запятой (стр. 573).

решенные Ломоносовым, не получили всестороннего освещения и в последующие периоды изучения структуры словосочетаний и строя предложения.

Отдельная (третья) глава посвящена в книге анализу грамматической части «Письмовника» Н. Курганова. Курганов характеризуется автором как «эмпирик», «коллекционер» и «внимательный наблюдатель живой литературной речи» (стр. 37). Грамматика Курганова, согласно обобщающей оценке автора, «интересна, с одной стороны, тем, что, опираясь в основном на „Российскую грамматику“ М. В. Ломоносова, она стремится пополнить ее как живым материалом конструкций разговорно-обиходной речи, так и отдельными фактами архаического синтаксиса церковнославянского языка, взятыми из грамматики М. Смотрицкого» (стр. 46). С другой стороны, как отмечает автор, «Н. Курганов предпринял дальнейшие шаги для сближения грамматики с логическим и риторическим учением о предложении и периоде» (стр. 47).

Исключительный интерес представляет в книге В. В. Виноградова четвертая глава, в которой впервые в нашей синтаксической науке дается систематическое изложение разработки вопросов синтаксиса русского языка в пространной «Российской грамматике» А. А. Барсова (научное издание ее В. В. Виноградовым подготавливается к печати). В. В. Виноградову удается показать, как А. А. Барсов «углубляет изучение ряда синтаксических вопросов, начатое Ломоносовым», и в то же время «раздвигает круг проблем синтаксиса, ставя новые задачи, в том числе и такие, которые не нашли еще своего окончательного разрешения даже в наше время» (стр. 51).

Отправной точкой синтаксической теории у А. А. Барсова, в отличие от М. В. Ломоносова, является «речь», т. е. предложение, а учение о предложении опирается у него на теорию суждения. При этом А. А. Барсов, как указывается в книге В. В. Виноградова, с большой остротой воспринимал противоречие между логическими и грамматическими категориями, отмечая, что «грамматическое подлежащее и сказуемое иногда в одном и том же предложении не сходятся с логическим» (стр. 55). Учение о составе предложения развивается у А. А. Барсова в стройную систему «неописанных и описанных терминов» подлежащего и сказуемого. «Термин описанный, — по формулировке Барсова, — составляется вообще через приложение к простому термину какого-нибудь другого слова для точнейшего его означения» (стр. 56). При этом подлежащее, по мнению А. А. Барсова, может распространяться посредством «целого предложения, возносительным местоимением или каким-нибудь союзом привязанного, на пр. *Учитель, который дело свое знает; учитель, ежели дело свое знает*; каковыя предложения, в рассуждении главных в которые они входят, могут названы быть пополнительными или вносными (пропо-

sitiones incidentes)» (стр. 56). С другой стороны, и «описанное» сказуемое может быть, по Барсову, выражено глаголом, «распространенным поясняющими словами посредством союза *что*. Напр., *Ломоносов говорил, что тула оратория без грамматики*» (стр. 57). Так, без привлечения аналогии с второстепенными членами простого предложения, раскрывается у А. А. Барсова понятие о структурно неразделенном сложном предложении. Таким образом, учение об описанных и неописанных терминах помогло Барсову вскрыть глубочайшие структурные различия в построении сложного предложения, позже более четко сформулированные А. Х. Востоковым, хотя, как правильно отмечает В. В. Виноградов, «развернутой теории сложного предложения у Барсова еще нет» (стр. 67).

В наблюдениях над словорасположением А. А. Барсову удается провести отчетливое разграничение «общего или естественного» порядка слов, соответствующего «логическому расположению понятий», и «особенного или свободного» порядка слов, соответствующего «выражению грамматическому» (*emphasis grammatica*), т. е. произнесению «одного речения несколько возвышенным голосом, пред прочими в том же предложении находящимися речениями» (стр. 63). В учении о пунктуации А. А. Барсов предвосхищает тактовую скалу знаков препинания с их отчетливой количественной градацией, построенную позже А. Х. Востоковым (стр. 65).

С большой убедительностью раскрыта Барсовым «разность» между «согласием» (согласованием) и управлением. При этом он тонко подметил, что «части управления находятся всегда в одном термине», т. е. или в сфере подлежащего, или в сфере сказуемого, тогда как части одного соглашения при «сочинении» глагола не входят в состав одного термина, так как глагол «содержит в себе и связует сказуемое с подлежащим, открывает согласие их между собою грамматическое» (стр. 69).

Особенно детально и систематично — со множеством самостоятельных наблюдений — излагается в книге В. В. Виноградова теория и практика именного словосочетания у А. А. Барсова (стр. 75). С учением о словосочетании тесно смыкается в стилистической грамматике Барсова учение о синтаксических фигурах, причем Барсов много внимания уделяет конструкциям живой разговорной речи. Приведенный В. В. Виноградовым (стр. 89—91) развернутый план пятой части «Российской грамматики» А. А. Барсова — «Словосочинение, или синтаксис» — наглядно свидетельствует о том, что синтаксис строился им в основном как детальное описание форм и типов словосочетаний. Страницы книги В. В. Виноградова, излагающие синтаксические взгляды Барсова (стр. 49—94), открывают для русской синтаксической науки оригинальную систему взглядов крупнейшего из непосредственных продолжателей «Российской грамматики» Ломоносова.

Отмечая «явный шаг назад в разработке вопросов теории синтаксиса» (стр. 95), который представляют три издания «Российской грамматики», сочиненной Имп. Российской Академией (1802, 1809 и 1818 гг.), В. В. Виноградов противопоставляет ей новые точки зрения на «синтаксис управления» и на способы образования словосочетаний в статье проф. Н. М. Кошанского «О русском синтаксисе» (1819 г.), представляющей собой «критические замечания на русский синтаксис», как он изложен Академической грамматикой. Неполным и недостаточным каталогом слов «с одинаковым управлением» (стр. 111) Кошанский противопоставляет три «общие начала или основания (principia), на которых можно утвердить правила русских глаголов»: 1) знаменование, или род глаголов (genus verborum), т. е. залоговые различия, 2) словообразовательные свойства глаголов, особенно приставочных («сложные глаголов») и 3) значение глаголов, оставленное или забытое в Академической грамматике (стр. 114). Делая вывод об огромной роли семантических категорий в организации форм и типов русских словосочетаний, Н. М. Кошанский утверждал, что «в русском синтаксисе так важно значение, что, кажется, не слово, а значение слова определяет требование падежа» (стр. 110); и он указывал при этом, что «свойство языка русского требует, чтобы слова, имеющие одинакий корень, во всех четырех или пяти частях речи (если причастие считать за особую часть речи) требовали одинаких падежей» (стр. 112). От статьи о русском синтаксисе Н. М. Кошанского, действительно, как правильно отмечает автор, «прямая линия развития русской грамматической мысли идет к „Русской грамматике“ акад. А. Х. Востокова» (стр. 113).

В заключительных главах (стр. 116—133) первого раздела книги В. В. Виноградова освещаются пестрота и несогласованность в разъяснении принципов изучения предложения в XVIII и в начале XIX вв. в трудах по русской грамматике и опытах построения универсальной грамматики (А. Никольского, Н. Языцкого, И. Орнатовского, И. Тимковского, Л. Г. Якоба). Наибольший интерес представляют первые опыты структурно-семантической классификации сложных предложений в «Основаниях российской словесности» А. Никольского (1809 г.) и в «Начертании всеобщей грамматики» Л. Г. Якоба (1812 г.).

Второй раздел книги В. В. Виноградова открывается критическим изложением синтаксических взглядов Н. И. Греча. Греч в суровой, но справедливой оценке автора характеризуется как сторонник общей «универсальной» теории грамматики, пытавшийся, следуя главным образом Герлингу, на материале русского языка формулировать такие «правила синтаксиса, которые можно приложить ко всем языкам» (стр. 138). Простому предложению Греч приписывал трехчленность логического суждения, в учении о сочетании слов ограничивался выяснением связи слов в

логической структуре предложения, в классификации сложного предложения эклектически смешивал принципы логические и собственно грамматические. В то же время в книге отмечается, что «у Греча были и интерес к наблюдениям над языком и умение описывать и характеризовать конкретные факты речевого употребления»; но, лишенный «дара систематизации грамматических явлений», он «был больше похож на коллекционера и формалиста-систематизатора» (стр. 138). Однако, несмотря на эклектизм грамматической позиции Греча и на механический характер проводимых им сопоставлений, грамматическая концепция Греча представляет собою, по справедливому замечанию автора, «одно из существенных звеньев в цепи развития формально-семантического или „логического“, внеграмматического синтаксиса в русской науке о языке» (стр. 160).

Н. И. Гречу в книге В. В. Виноградова отчетливо и резко противопоставлен А. Х. Востоков, «Русская грамматика» которого была, по словам автора, «продолжением и развитием той национальной русской грамматической науки, основы которой были заложены великим Ломоносовым» (стр. 165). В связи с совершенно очевидной недооценкой Востокова как синтаксиста в дореволюционной русской синтаксической историографии, следует приветствовать поставленную автором задачу объективно воспроизвести синтаксическую концепцию А. Х. Востокова, раскрыть общую материалистическую направленность его синтаксического метода и установить ведущее значение Востокова в разработке русского синтаксиса в первой половине XIX в.

Вслед за академиком П. С. Билярским автор считает особой заслугой А. Х. Востокова в анализе строя простого предложения признание двучленности состава простого глагольного предложения, его мысль об изличности связи как третьего главного члена предложения (стр. 169). Однако идея составного сказуемого получила у Востокова морфологическую интерпретацию в понятии «составного глагола». В силу этого и общий вывод автора, что Востоков, выдвинув вопрос о формах выражения составного сказуемого, «доказал его глубокое значение для изучения синтаксического строя русского языка и как бы намечил тему будущей докторской диссертации А. А. Потеевни („Из записок по русской грамматике“)» (стр. 167), требует некоторых оговорок. Открытие А. Х. Востокова, о котором в конце 50-х гг. прошлого столетия писал П. С. Билярский, представляет собой не столько формулировку мыслей Востокова, сколько сокрушительную критику концепций Греча со стороны самого Билярского. Поставленный П. С. Билярским в его статье вопрос о природе связи как средства формирования составного именного сказуемого имеет актуальное значение и в наше время. Билярский полагал, что «связку нельзя изображать чем-то „в роде цемента

между кирпичами" (стр. 169—170) и что вспомогательный глагол *есть* — «не связка, а часть составного сказуемого» (стр. 168), имеющая определенное семантическое значение бытия, а не только грамматическую функцию согласования. И, соглашаясь с П. С. Билярским, что «глагол *есть* при имени прилагательном или существительном означает бытие не принадлежности, а, наоборот, бытие самого предмета», мы тем самым признаем, что вспомогательный глагол и в функции связки сохраняет бытийное, экзистенциальное значение. Поэтому, если в предложении *Петр Великий был солдатом* «дело идет... о бытии Петра в солдатах, а не солдата в Петре» (стр. 168), по остроумной интерпретации значения составного сказуемого П. С. Билярским, то это значит, что глагольная связка в составном именном сказуемом в сочетании с полнозначными существительными и прилагательными не является простой «морфемой времени и наклонения», как это имеет место в безлично-предикативных сказуемых с дательным субъекта (типа *Мне было скучно*) или в конструкциях с краткими прилагательными, когда связка утрачивает в той или иной степени свое экзистенциальное значение¹.

В книге В. В. Виноградова подробно освещено учение А. Х. Востокова о предложном и беспредложном управлении в структуре словосочетания и показано, как внимательно учитывает Востоков «роль вещественных значений слов в структуре семантически обусловленных, лексически ограниченных типов словосочетаний» (стр. 175). «В лаконических, по точных и полных обобщениях Востокова, — читаем в книге В. В. Виноградова, — приняты во внимание и общие свойства тех или иных синтаксических категорий и конструкций, и внутренние связи слов, разных разрядов и групп, создающие единство и общность их синтаксических качеств и возможностей, и специфические свойства отдельных стабилизировавшихся синтаксических оборотов, и закономерные способы взаимодействий форм синтаксической сочетаемости слов с их принадлежностью к тем или иным семантическим системам слов, и аналогические соотношения и взаимосвязи смежных систем слов» (стр. 178). Остановившаяся на наблюдениях А. Х. Востокова над «размещением слов», В. В. Виноградов показывает, какую глубокую внутреннюю связь имел для Востокова вопрос о нормах порядка слов с изучением строя различных модальных типов предложения:

¹ Ср. аналогичные рассуждения об экзистенциальности глагольной связки в статье Н. Ю. Шведовой («Полные и краткие формы имен прилагательных в составе сказуемого в современном русском литературном языке», Уч. зап. МГУ, вып. 150. Русский язык, 1952, стр. 105—106), свидетельствующие об актуальности поставленной П. С. Билярским на материале востокской грамматики проблемы.

повествовательного, вопросительного, ответного и повелительного (стр. 189—193). В учении А. Х. Востокова о прозодическом периоде как исходной интонационно-смысловой единице стихотворной речи В. В. Виноградов усматривает частичное предвосхищение понятия синтагмы, как оно выдвинуто было позже акад. Л. В. Щербой, а также учения о колоне, в применении к прозаической речи, развернутого Б. В. Томашевским. Однако понятие прозодического периода не было введено Востоковым в его «Русскую грамматику», и он не пользуется им как средством расчленения речи. В отличие от А. А. Поттеби, который устанавливал соответствие между единицами меры стиха и синтаксическими единицами языка, прозодические периоды в понимании А. Х. Востокова являются не синтаксическими, а только тоническими единицами².

Общая оценка крупных заслуг А. Х. Востокова перед русской синтаксической наукой, данная в книге В. В. Виноградова, представляется нам глубоко справедливой. Можно в полной мере присоединиться к резюмирующим положениям автора о значении Востокова в истории изучения русского синтаксиса. «Несмотря на удивительный лаконизм изложения, строгую простоту и сжатость³, А. Х. Востоков в своем синтаксисе сумел дать тонкое, глубоко продуманное, систематизирующее все предшествующие наблюдения и вместе с тем вполне оригинальное описание основных форм словосочетаний в русском языке. Внушающая «Российской грамматикой» Ломоносова склонность к материалистическому освещению синтаксических явлений русского языка, трезвый реализм наблюдений, необыкновенный дар систематизации — все эти черты научного гения А. Х. Востокова заставляют признать его прямым последователем и продолжателем М. В. Ломоносова в развитии русской синтаксической науки» (стр. 193—194). Здесь, правда, нужно сделать одну очень важную оговорку: многосторонняя научная гениальность «чистого натуралиста и в языке» Ломоносова — явление совсем иного, более грандиозного масштаба, по сравнению с узко филологической направленностью научной деятельности Востокова.

² Правда, в своих замечаниях по вопросу о том, есть ли какой размер в «Слове о полку Игореве», А. Х. Востоков намечает расчленение этой «древней поэмы русской» на стихи, подобные «библейским», и приводит образец такого синтагматического расчленения («Опыт о русском стихосложении», 2-е изд., СПб., 1817, стр. 161). Однако эта мысль о синтагматическом членении речи не получила у Востокова последовательного развития.

³ Еще П. С. Билярский отмечал аристотелевскую «простоту и сухость, какая царствует в грамматике г. Востокова» («Сколько главных частей в предложении? Опыт критической оценки успехов русской грамматики», ЖМНП, 1857, июнь, стр. 294).

Острой критике подвергается в книге В. В. Виноградова синтаксическая часть «Опыта общесравнительной грамматики русского языка» И. И. Давыдова (1852). Рассматривая академическую грамматику 1852 г. как «несколько модернизированный вариант общей грамматики» (стр. 205), автор в развернутом изложении синтаксических взглядов И. И. Давыдова показывает, как он, следуя за Беккером и его русским поклонником П. Басистовым («Система синтаксиса», 1848), строил синтаксис как отвлеченное рассуждение о применении законов логики к готовому материалу языка. Присоединяясь к мнению Ф. И. Буслаева (стр. 221—222), В. В. Виноградов дает резко отрицательную оценку И. И. Давыдову как синтаксисту. По мнению автора, «несмотря на применение сравнительного или вернее сопоставительного метода, „Опыт общесравнительной грамматики русского языка“ обращен целиком к прошлому. В нем нет никаких зародышей и звеньев будущего» (стр. 221). Однако этот суровый приговор автора нельзя признать в полной мере справедливым. Он чересчур прямолинеен в своей резкости. Теория сложного предложения, представленная в грамматике И. И. Давыдова, свидетельствует о большом внимании Давыдова к проблеме структуры сложного предложения. У Давыдова мы обнаруживаем, так же как и у Востокова, зачатки понимания сложных предложений как целостных синтаксических единств.

Следует, впрочем, отметить, что понятие о целостной структуре сложноподчиненного предложения с еще большей отчетливостью выражено в выходявшем в свет одновременно с «Опытом» И. И. Давыдова «Учебнике русского языка» А. [П.] Смирнова. В третьей части этого учебника, посвященной синтаксису и пунктуации, мы находим следующее определение придаточного предложения как части сложного (по терминологии автора, «составного») предложения: «Когда в какой-нибудь части предложения должно обозначить отношение понятия к лицу говорящему, т. е. наклонение, время и лицо, тогда это понятие выражается не отдельным словом, а целым предложением. Такое предложение, составляющее часть другого предложения, называется *придаточным*; а предложение, в котором одно или несколько понятий выражены предложениями *придаточными*, имеющими свои подлежащие и сказуемые, называется *полным составным предложением*»¹. В этой формулировке примечательно раскрытие предикативной связи в придаточном предложении как выражения отношения содержания высказываемого к лицу говорящего в категориях времени, лица и наклонения. А. Смирнов, примыкавший, так же как и Давыдов, к беккеровскому направлению в изучении синтаксиса, в предисловии к 3-му году своего «Учебника русского языка» дает

следующую любопытную характеристику двух главных направлений в изучении синтаксиса в 20—50-е гг.: «Есть два способа излагать синтаксис: один принадлежит французским грамматикам, другой немецким. Французские грамматики рассматривают синтаксическое употребление различных частей речи и этимологических форм; немецкие представляют соединение этимологических форм в одно целое, т. е. в простое предложение, в составное предложение, в период и т. д. Первому способу у нас следовали гг. Востоков и Греч², второму гг. Перевлещский, Басистов и И. И. Давыдов. В первом случае мы следим грамматические формы в их отдельности и не видим живой речи в ее целостности: во втором случае речь представляется нам как одно органическое целое»³. Любопытно, что в этой характеристике Востоков и Греч объединены как представители французской школы: Востоков, очевидно, в силу свойственного ему ограничения синтаксиса задачами «словосочинения» и сознательного отказа от «логических начал» в изучении синтаксиса, а Греч как типичский представитель практической грамматики, которая устанавливала правила употребления литературной речи по требованиям здравого смысла и руководствуясь языковой практикой так называемых образцовых писателей.

В главе, посвященной Ф. И. Буслаеву, В. В. Виноградов раскрывает двойственность общей синтаксической концепции этого крупнейшего русского лингвиста середины XIX в. С одной стороны, Буслаев противопоставляется Гречу, Давыдову и другим представителям практической и общей грамматики как ученый, стремившийся, следуя Ломоносову, положить в основу своей грамматики «чисто народные и своеземные начала» (стр. 226—227) и возмущавшийся тем, что «русская речь слагалась по французскому синтаксису и изучалась по руководствам немецкой грамматики»⁴. С другой стороны, Буслаев, отказываясь видеть в синтаксических категориях непосредственные отражения категорий логических и противопоставляя законам логики «внутренние законы языка»⁵, стремился, однако, в синтаксисе «определить правильнейшее отношение отвлеченных приемов логики к формам языка», т. е. исходил в анализе синтаксиче-

² Буслаев в «Заметках на статью г. Греча в № 7 „Морского сборника“ за 1856 г.» утверждал, что «на долю г. Греча выпало быть представителем... французского направления грамматики», основывающего правила грамматики «не на свойствах самого языка, а на употреблении его некоторыми так называемыми образцовыми писателями» («О преподавании русского языка и словесности», «Отечественные записки», 1856, декабрь, стр. 328).

³ А. Смирнов, указ. соч., стр. IX.

⁴ Ф. Буслаев, Опыт исторической грамматики русского языка, ч. II, М., 1858, стр. 83 (примеч.).

⁵ Там же, Предисловие, стр. XXIV.

¹ См. А. Смирнов, Учебник русского языка, 3-й год, 2-е издание, М., 1860, стр. 9 (1-е издание вышло в 1854 г.).

ских явлений из категорий мышления. Поэтому, как обоснованно утверждается в книге В. В. Виноградова, «в лингвистической теории Ф. И. Буслаева (и больше всего в его синтаксической системе. — Н. П.) воззрения Гумбольдта сблизились с логической концепцией Беккера, его „Организма языка“» (стр. 248). Критически излагая учение Ф. И. Буслаева о составе простого и структуре сложного предложения и широко привлекая замечания К. С. Аксакова и А. А. Потебни по основным положениям синтаксического учения Буслаева, В. В. Виноградов показывает, как Буслаев запутывается в противоречиях, противопоставляя синтаксическое употребление логическому значению и обнаруживая «сокращения», «опущения» и «слияние» там, где эти понятия не имеют никакого «язычного выражения» (Аксаков). Поэтому совершенно естественно, что уже в конце 60-х годов «Историческая грамматика» Ф. И. Буслаева перестала быть фактором, определяющим развитие русской грамматической мысли в сфере синтаксиса. Об этом громко свидетельствуют (помимо критики Аксакова и Потебни) приведенные в книге В. В. Виноградова многочисленные высказывания других русских грамматистов 60—70-х гг., начиная с Н. П. Некрасова.

Чрезвычайный интерес для истории развития русской синтаксической теории представляет отображение в книге В. В. Виноградова брожения идей, борьбы направлений и поисков новых путей в изучении русского синтаксиса в 60—70-е гг. Весь этот период, как правильно отмечает автор, «отличается развитием критического отношения к центральным понятиям и категориям логико-семантической грамматики и новой постановкой основных синтаксических проблем» (стр. 380). Уже Н. П. Некрасов открыто заявлял о своем глубоком принципиальном расхождении с Буслаевым, утверждая, что «в „Исторической грамматике“ перед лицом фактов языка отразилась, как в зеркале, несостоятельность принятой автором теории» (стр. 252). Видя в морфологич. базу синтаксиса, Некрасов, следуя Аксакову, резко обособлял синтаксические формы от «этимологических», нередко отрывая «общие значения» форм от их живого синтаксического употребления» (стр. 257). Вопрос о существе различия между этимологическими и синтаксическими формами и о путях раскрытия национально-специфического в русском синтаксисе вызвал, как известно, очень содержательную полемику на страницах педагогических журналов 60-х гг. В. В. Виноградов показывает, как в ожесточенных спорах 60-х гг. «все глубже раскрывались понятия формы слова, слова как системы форм, понятия синтетической и описательной (аналитической, синтаксической) форм слова» и как «на этой основе выступали все более очевидно взаимодействие и взаимосвязь морфологических и синтаксических категорий языка» (стр. 263). Таким образом, исход спора решался как будто в пользу

противников Некрасова, однако, конечно, и не в пользу синтаксической системы Буслаева.

Самая школьная практика 60-х гг., как это видно из интереснейших материалов, приведенных в книге В. В. Виноградова, выдвинула ряд нерешенных и спорных вопросов русского синтаксиса. Такими вопросами были вопрос о способах выражения подлежащего и сказуемого, вызвавший содержательную дискуссию, в которой приняли участие К. Г. Говоров, П. Беляевский, В. И. Классовский, позже, в 70-е гг., — А. А. Дмитриевский, Г. А. Милославский и акад. Я. К. Грот, проблема безличного предложения (В. В. Новиковский, В. И. Классовский), вопрос о структуре сложного предложения (П. Беляевский, П. П. Глаголевский). С другой стороны, интерес отдельных исследователей привлекается к конкретным наблюдениям над строем парадигм разговорной речи, к изучению ее национально-синтаксического своеобразия (П. П. Глаголевский, В. Богданов, В. И. Водовозов). Завершается этот раздел книги анализом теоретических высказываний В. Сланского, резко выступившего во второй половине 70-х гг. и в 80-е гг. против некорректного смешения грамматики и логики и в защиту новых принципов изучения отношений между грамматическим построением предложения и его коммуникативным смыслом (стр. 305—329). Стоя на позициях подлинно логической грамматики, Сланский убедительно возражал против выделения так называемых второстепенных членов предложения. Автор обнаруживает в теоретических рассуждениях Сланского зародыши тех идей, которые позднее привели к отчетливому разграничению грамматических и смысловых отношений в структуре предложения (в трудах А. В. Добина, Ф. Ф. Фортунатова, Л. В. Щербы, А. И. Томсона, В. Матезиса). В качестве предшественника В. Сланского в разграничении логического состава речи и ее синтаксических и «этимологических» форм В. В. Виноградов называет уже упомянутого нами А. Смирнова, противопоставлявшего логике общую грамматику, которая, по его мнению, превосходит логику, учитывая «новый момент самой мысли — личность мыслящего и разговорное сообщение мыслей» (стр. 328). Следует признать, что в ходе рассуждений А. Смирнова, несмотря на чрезмерность «логического» в его подходе к грамматике, есть нечто превосходящее современные идеи о значении «грамматического глагола» в структуре акта коммуникации.

В анализе синтаксических взглядов А. А. Потебни автор указывает на то, что выдвинутое Потебней понятие синтаксической системы языка «сочетается с понятием общего смыслового контекста речи» (стр. 333). Однако понятие «речи» у Потебни как определенной синтаксической единицы, «вообще не тождественной с простым или сложным предложением», не получает в книге В. В. Виноградова законченной интерпретации. А между тем самое определение речи у

Потебни как «такого сочетания слов, из которого видно... значение входящих в него элементов», заставляет нас рассматривать речь, в понимании Потебни, как высшую синтаксическую единицу, своего рода «сложное синтаксическое целое». При этом, как правильно отмечается автором, «единство и целостность речи как основной единицы языка базируются на структуре предложения» (стр. 334), так что, с одной стороны, «слово как часть речи, как грамматически оформленный элемент речи функционально раскрывается в структуре предложения», а с другой стороны, по формулировке самого Потебни, «существенный признак предложения в наших языках состоит в том, что в предложение входят части речи». Таким образом, «этимология» и синтаксис оказываются нераздельными для Потебни только с точки зрения того сложного синтаксического единства, которое представляет собою «речь». Следовательно, отрицание возможной многозначности формы являлось у Потебни не только «примесью» субъективного идеализма в его мировоззрении, но и теоретической потребностью все понимать из контекста как живой конкретной формы творческого вложения языка. Автор совершенно прав, подчеркивая, что «нет ничего вульгарнее и ошибочнее» утверждения, будто бы Потебни, подвергнув синтаксическую концепцию Булаева разрушительной критике, «свел учение о членах предложения к проблеме частей речи». В действительности, как утверждает автор, Потебни «новаторски преобразовал самое понимание взаимоотношений частей речи и указывал новые перспективы и новые задачи изучения их исторических изменений в связи с изменениями строя предложения» (стр. 352). Ведь, в понимании Потебни, грамматическая категория, составляющая существенный элемент языковой системы, «познается не в изолированном слове, а в контексте „ближайшего целого“, т. е. речи и далее — всего языка», как отмечает автор несколько выше (стр. 341).

В рецензируемой книге хорошо показано, что наиболее уязвимым пунктом в синтаксической теории Потебни было его учение о *verbum finitum* как минимуме предложения, потому что оно поражило основной нерв всей его синтаксической концепции: «Уравняя сказуемое с глаголом, Потебни тем самым встал на путь сближения, а иногда и слияния членов предложения и частей речи» (стр. 347). К сожалению, учение Потебни о предикативном атрибуте и о связи как синтаксическом средстве присоединения атрибута к подлежащему только изложено в книге В. В. Виноградова (стр. 350 и сл.), а не подвергнуто автором детальному критическому анализу, между тем как проблема составного сказуемого, поставленная еще Востоковым, остается очень актуальной и для нашего времени¹.

В отношении синтаксических исследований А. В. Попова о первичности одночленных предложений автор ограничивается подробным и точным изложением его теоретических взглядов и очень общим указанием на остроту и актуальность поставленной им проблемы генезиса и путей развития одночленных неглагольных предложений (именных, вокативно-именных, междометных). Впрочем критическое рассмотрение проблемы «номинальных» предложений выходит за границы рассматриваемого автором периода². Подобным же образом не могло получиться в книге В. В. Виноградова развернутой оценки и исследования Ф. Е. Корша о способах относительного подчинения (1877), и это совершенно естественно, так как, поднимая проблему сравнительно-типологического синтаксиса, оно явно не укладывалось в рамки изучения русского синтаксиса. С точки зрения развития русской синтаксической теории оказывается особенно важным отмеченное В. В. Виноградовым стремление Корша «внести понятие за ко н о м е р н о с т и р а з в и т и я (разрядка автора. — Н. П.) в историю формирования сложного предложения и его типов» (стр. 373) и его указание на более позднее возникновение и развитие бессоюзных относительных конструкций на базе более раннего подчинения («здесь связи нет, ergo здесь относительная связь», стр. 367).

В заключительной главе книги (стр. 371—395) автор обосновывает принятую им периодизацию истории изучения синтаксиса русского языка XVIII—XIX вв., дает общую характеристику изучения русского синтаксиса в 80—90-е годы XIX в. и намечает тематический состав двух основных разделов синтаксиса — учения о предложении и теории словосочетания — как он определился в дооктябрьский период развития русской синтаксической науки. К книге приложен указатель имен, но, к сожалению, нет предметного указателя, и, таким образом, богатый фактический материал книги остается не учтенным в отношении его тематики. Текст книги не свободен от технических погрешностей: на стр. 265 искажена фамилия К. Г. Говорова, на стр. 236 автором «Практических заметок о русском синтаксисе» оказался А. А. Преображенский вместо А. А. Дмитриевского, на стр. 367 в цитате из Корша пропущено заключающее *ergo*; есть и опечатки, правда, немногочисленные.

Заканчивая рецензию, перечислю кратко основные тематические направления в разработке русского синтаксиса XVIII—XIX вв., как они наметились в общем ходе изложения в рецензируемой книге. В процессе изучения русского синтаксиса в рассматриваемый период выделяются следующие основные проблемы, не полу-

kultury Brněnské university», ročn. VII, číslo 6, 1958).

¹ См., например, статью Р. Мразек «Проблема сказуемого и его классификации» («Sborník prací Filozofické fa-

² См. статьи и рецензии К. Люгебиля, Ф. Ф. Фортунатова, позже И. Зубатого и др.

чившие полного разрешения и в настоящее время.

1. Проблема словосочетания, поставленная и разработанная на богатом языковом материале Ломоносовым (стр. 16—25), Кургановым (стр. 37—44) и Барсовым (стр. 71—81), была теоретически углублена Копанским (стр. 107—114) и особенно Востоковым, раскрывшим внутреннюю систему глагольных и именных словосочетаний (стр. 172—186).

2. Теория предложения, тесно связанная у Ломоносова (стр. 26) и Барсова (стр. 51—58) с логической теорией суждения, теряет самостоятельное значение у сторонников «логического» направления в понимании предложения (Греча, Давыдова). Однако уже у Востокова отмечается стремление вскрыть собственно грамматические признаки предложения (стр. 166—172). В концепции Буслаева осуществляется разрыв между логической и грамматической точками зрения на предложение. Выдвинутое Потемной учение о *minimum'e* предложения не удовлетворяет противников логической грамматики (Дмитревский). Новую попытку построить собственно грамматическую теорию предложения делает Сланский (стр. 305—329).

3. Вопрос о структуре простого предложения и выделении в нем главных и второстепенных членов получил первый опыт теоретического разрешения в учении Барсова о неописанных и описанных терминах подлежащего и сказуемого. Попытка более углубленного развития проблемы структуры предложения отмечается в рассуждениях Сланского о грамматическом и смысловом членении предложения.

4. Вопрос о формах выражения составного сказуемого, поставленный Востоковым и Билярским (стр. 167—170), получает глубокую разработку в исследовании Потемби.

5. Проблема выражения подлежащего в связи с анализом природы безличного предложения, оживленно дебатировавшаяся в 60—70-е годы в работах Говорова, Новаковского, Классовского, Дмитриевского, Милويدова, Грота (стр. 266, 270—271, 284—295), была в дальнейшем формально снята разграничением односоставных и двусоставных предложений в «Синтаксисе» Шахматова.

6. Вопрос о структуре сложного предложения, поставленный еще Барсовым, Никольским и Якобом, получил затем односторонне-схематическое разрешение у Греча (стр. 153—159), Давыдова (стр. 216—220) и Буслаева (стр. 238—241). Попытки поставить этот вопрос на почву свободного от «логических» шор синтаксического анализа отмечены у Беляевского (стр. 269—270) и Глаголевского (стр. 278—279). В исследовании Корша «Способы относительного подчинения» проблема развития типов сложного предложения продвигается в широкий контекст сравнительно-типологического синтаксиса (стр. 366—368).

7. Общая проблема соотношения морфологии и синтаксиса, поднятая еще Калайдовичем (стр. 114—116), получила новую постановку у Аксакова, отчетливо ограничивавшего морфологию как учение о формах от синтаксиса как учения о функциях форм, а под его воздействием у Некрасова и его последователей приняла характер резкого противопоставления «этимологических» форм синтаксическим (стр. 254—257, 260—263).

Книга В. В. Виноградова, представляющая собой первую половину специального курса автора по истории изучения русского синтаксиса, заполняет давно ощущавшийся пробел в истории русской синтаксической науки. Она помогает исследователям русского синтаксиса критически пересмотреть целый ряд понятий (словосочетание, предложение, подлежащее, сказуемое, второстепенные члены предложения, сложное предложение) со стороны вкладываемого в них традицией содержания и охватываемого ими объема, уяснить сложившееся исторически употребление этих понятий и вскрыть в них «результаты разновременных влияний, которые теперь трудно в них узнать, потому что отличительные черты их сглажены в течение времени своеобразным или неотчетливым словоупотреблением» (Билярский).

Следует пожелать, чтобы вторая часть специального курса В. В. Виноградова по истории изучения русского синтаксиса в 80—90-е годы в до- и послеоктябрьский периоды XX в. была в скорейшем времени опубликована.

Н. С. Поспелов

НОВЫЕ КНИГИ ПО ИСТОРИИ РУССКОГО И УКРАИНСКОГО ЛИТЕРАТУРНЫХ ЯЗЫКОВ

Вопросы истории восточнославянских литературных языков привлекают к себе в последнее время все более пристальное внимание исследователей. Акад. В. В. Виноградов в докладе на IV Международном съезде славистов справедливо заметил, что «вопросы образования и развития литературных языков в настоящее время относятся во всем мире к числу актуальнейших проблем современного языкозна-

ния»¹. В связи с этим следует положительно оценить появление в последние годы новых обобщающих работ по истории восточнославянских литературных языков. Значительную активность в изучении исто-

¹ В. В. Виноградов, Основные проблемы изучения образования и развития древнерусского литературного языка, М., 1958, стр. 24—25.

рии литературного языка проявляют украинские исследователи. Так, в 1956—1957 гг. коллектив сотрудников Института языкознания АН УССР под руководством действ. члена АН УССР И. К. Володеда опубликовал в виде серии выпусков «Курс истории украинского литературного языка» — учебное пособие для студентов-заочников пед. институтов¹. В 1958 г. этот курс с незначительными изменениями вышел отдельной книгой, охватывающей историю украинского литературного языка с древнейших времен до Великой Октябрьской социалистической революции². В этом же году опубликованы «Очерки» П. П. Плюща, дающие систематическое изложение истории украинского литературного языка с древнейшей поры до наших дней³. Наконец, в 1957 г. Львовский университет выпустил первую часть курса истории русского литературного языка В. Б. Бродской и С. О. Цаленчука, охватывающую период до XVIII в. включительно⁴.

Настоящий обзор не ставит целью дать детальный разбор названных выше работ украинских исследователей. Его задача — остановиться лишь на некоторых спорных моментах в освещении истории русского и украинского литературных языков, преимущественно древней поры, а также на некоторых принципиальных вопросах, связанных с построением этих пособий, с методом изложения материала.

Ошибочно, с моей точки зрения, решается в рецензируемых книгах вопрос о происхождении древнерусского литературного языка. Авторы стоят на позициях известной теории «самобытного» происхождения русского литературного языка, выдвинутой акад. С. П. Обнорским. Здесь, разумеется, не место детально рассматривать взгляды С. П. Обнорского на эти вопросы, однако, поскольку авторы рецензируемых книг полностью повторяют положения Обнорского и ссылаются на его точку зрения, необходимо коснуться некоторых сторон этой теории.

Ссылаясь на теорию С. П. Обнорского, обычно слабо учитывают ту эволюцию, которую она претерпела. В своей известной статье о «Русской Правде» С. П. Обнорский утверждал, что «русский литературный язык старшей формации был чужд каких бы то ни было воздействий (разрядка моя. — В. Л.) со стороны болгарско-византийской культуры», что лишь позднее на этот литературный язык «оказала сильное воздействие южная, болгарско-византийская культура», причем это «оболгарение русского

литературного языка следует представлять как длительный процесс, шедший с веками crescendo»⁵. С. П. Обнорский не указывает, когда именно началось это воздействие болгарско-византийской культуры, но совершенно очевидно, что имеется в виду период после написания «Русской Правды» — по всей вероятности эпоха так называемого второго южнославянского влияния. Ведь самый этот вывод о самобытном образовании русского литературного языка основан лишь на том факте, что «Русская Правда», которая признается памятником «начального периода в истории образования собственно литературного русского языка»⁶, (периода, когда этот язык лишь начинал «свое собственное литературное развитие»), свободна от старославянского воздействия. «Анализ языка Русской Правды позволил облечь в плоть и кровь понятие... литературного русского языка старшего периода, — пишет С. П. Обнорский. — Его существенные черты — ...близость к разговорной стихии речи... и полное отсутствие следов взаимодействия с болгарской, общее — болгарско-византийской культурой»⁷.

Совершенно ясно, что в таком виде новая теория происхождения русского литературного языка не могла долго просуществовать. Отрицать наличие старославянского элемента в древнерусской письменности этого периода — дело совершенно безнадежное. Привлечение к анализу других памятников литературы древней Руси, например «Слова о полку Игореве», сочинений Мономаха, язык которых признается С. П. Обнорским принципиально тождественным языку «Русской Правды»⁸, не могло не заставить его в дальнейшем формулировать свои выводы более осторожно.

В «Очерках» С. П. Обнорского говорится поэтому уже не о полном отсутствии старославянского влияния, а об «очень слабой доле церковнославянского воздействия» на древнерусский литературный язык, причем отмечается, что эта доля «колеблется в зависимости от жанра памятника»⁹. Еще выразительнее сказано об этом в другой работе С. П. Обнорского, опубликованной в 1948 г., где признается, что «в книжных, церковных в широком смысле, жанрах» можно говорить о «широком лексическом воздействии церковнославянского языка»; «отсюда уже, — говорит далее автор, — некоторые пласты из церковнославянской лексики усваивались общим нашим литературным языком»¹⁰. Еще раньше, в статье о языке договоров с гре-

¹ «Курс історії української літературної мови», вип. I—XII, Київ, 1956—1957.

² «Курс історії української літературної мови», т. I (Дожовтневий період), Київ, 1958.

³ П. П. Плющ, Нариси з історії української літературної мови, Київ, 1958.

⁴ В. Б. Бродская, С. О. Цаленчук, История русского литературного языка, ч. 1, Львов, 1957.

⁵ С. П. Обнорский, Русская Правда, как памятник русского литературного языка, ИАН СССР, Серия VII, Отд. обществ. наук, 1934, № 10, стр. 776.

⁶ Там же, стр. 754.

⁷ Там же, стр. 774.

⁸ См. С. П. Обнорский, Очерки истории русского литературного языка старшего периода, М.—Л., 1946, стр. 6.

⁹ Там же, стр. 6—7.

¹⁰ С. П. Обнорский, Культура русского языка, М.—Л., 1948, стр. 13, 14.

камня, опубликованной в 1936 г., С. П. Обнорский объяснял наличие в договоре 945 г. старославянских элементов тем, что переводчик этого договора «должен был быть русский книжник, соответственно и отразивший в переводе смещение и русской и болгарской книжной стихии»¹.

Таким образом, характеристика русского литературного языка «старшей поры», которую мы находим теперь у С. П. Обнорского, ничем принципиально не отличается от традиционной. Ведь и раньше никто не утверждал, что старославянское влияние в одинаковой степени затрагивало все виды письменности. О восточнославянском облике «Русской Правды» и относительной незначительности церковнославянского элемента в «Слове о полку Игореве» писали еще в начале XIX в. Самое удивительное, однако, заключается в том, что С. П. Обнорский полностью сохранил свой тезис «о русской основе нашего литературного языка, а соответственно — о позднейшем столкновении с ним церковнославянского языка и вторичности процесса проникновения в него церковнославянских элементов»².

Но для сохранения своего старого тезиса С. П. Обнорскому приходится теперь отнести образование этого самобытного русского литературного языка в глубокие веки, задолго до написания «Русской Правды» или даже договоров с греками (которые, очевидно, уже не могут считаться памятниками «первичного» русского литературного языка), признать, что русский литературный язык зародился не в X в., а сложился «на протяжении предшествовавших столетий»³. Этот «первичный» сложения, русский в своей основе» литературный язык, — по мнению С. П. Обнорского, — «соприкоснувшись в определенный исторический момент [теперь уже, разумеется, не в XIV в., а очевидно, не позже X.—В. Л.] с книжным болгарским языком, стал постепенно впитывать его особенности, обогащаться особенно его лексикой, его фразеологией...»⁴.

Этот взгляд безоговорочно и бездоказательно принят авторами рассматриваемых в настоящем обзоре пособий. Картина образования и развития древнерусского литературного языка представляется в этих пособиях в следующем виде. За несколько столетий до принятия христиан-

ства и «зadolго до создания Кириллом славянского алфавита» у восточных славян произошло «самобытное возникновение письменного-литературного языка»⁵. «И письмо у восточных славян, и литературный язык, который развивался на основе живой древнерусской речи, не были занесены извне, а появились в Киевской Руси в связи с экономическим и культурным развитием общества, были вызваны еще до принятия христианства потребностями этого общества»⁶. «В конце X в. в княжение Владимира было введено на Руси христианство..., а вместе с ним в Киевскую Русь пришли книги на церковнославянском (древнеболгарском) языке, написанные кириллицей». «Церковнославянский язык, придя в Киевскую Русь, встал, таким образом, рядом с существующим и уже более или менее обработанным древнерусским литературным языком». «В Киевской Руси древнерусский литературный язык и далее употребляется в светской литературе, а церковнославянский обслуживает в основном церковно-религиозную сферу жизни»⁷.

Авторы пособий ссылаются вслед за С. П. Обнорским на то, что русская письменность XI—XII вв. представлена не только памятниками старославянского языка, но и такими, которые основаны на народной речи и слабо связаны со старославянским влиянием. Они считают, что этот факт «убедительно доказывает, что в первоначальной (разрядка моя.—В. Л.) основой литературного языка этого периода был русский (древнерусский) язык, причем этот литературный язык возник не в X в., а раньше и формировался в течение достаточно длительного времени»⁸. Остается тем не менее непонятным, каким образом относительная слабость старославянского элемента в определен-

⁵ П. П. Плющ, указ. соч., стр. 101.

⁶ «Курс історії української... мови», т. I, стр. 23. Здесь, впрочем, говорится о возникновении письменности в Киевской Руси, т. е. сравнительно поздно, во всяком случае, очевидно, не ранее IX в. [Ср. в книге П. П. Плюща (стр. 101), где автор вслед за С. П. Обнорским говорит о письменных формах литературного языка уже в антском, докиевском, периоде, в VI—VII вв.].

⁷ Там же, стр. 22—24; см. также в книге В. Б. Бродской и С. О. Цалепчука: «Начиная с конца X в., старославянский язык на Руси становится литературным языком определенных жанров, связанных с церковной книжностью» (стр. 9). П. П. Плющ также говорит о том, что развитие литературного языка восточных славян осложняется появлением на Руси старославянского (древнеболгарского) книжного языка, относя, однако, этот процесс уже к началу X в., к периоду до принятия христианства (стр. 108). Но где же доказательства существования древнерусского языка до начала старославянского влияния?

⁸ «Курс історії української... мови», т. I, стр. 23.

¹ С. П. Обнорский, Язык договоров русских с греками, сб. «Язык и мышление», вып. VI—VII, М.—Л., 1936, стр. 102—103. См. здесь же утверждение С. П. Обнорского о том, что «перевод договора 912 г. был сделан болгаринном»; такое предположение, впрочем, рассматривалось еще в середине прошлого века И. Д. Беляевым и было им тогда же отвергнуто (см. записку И. И. Срезневского «О договорах князя Олега с греками», ИОРЯС, т. I, [вып. 7], 1852, стр. 315).

² Его же, Очерки..., стр. 6.

³ Его же, Культура русского языка, стр. 12.

⁴ Его же, Очерки..., стр. 79.

ной группе памятников XI—XII вв. (при наличии наряду с этим произведений, основанных на старославянском языке) может служить доказательством существования самобытного литературного языка задолго до этого времени и почему эти памятники должны непременно рассматриваться как прямое продолжение традиций этого первичного литературного языка.

Такое предположение объясняется отчасти тем, что теория самобытного происхождения русского литературного языка опирается на чрезвычайно одностороннюю критику традиционного взгляда, представленного в формулировке А. А. Шахматова, согласно которой история русского литературного языка сводится к процессу длительного и постепенного проникновения русизмов в старославянский язык. Между тем уже А. Х. Востоков и И. И. Срезневский представляли себе взаимоотношения старославянской и русской стихий в древнерусской письменности совсем не так прямолинейно. В советское время в трудах А. К. Никольского, В. М. Истрина, В. В. Виноградова, Л. П. Якубинского, Г. О. Винокура и других исследователей раскрыта сложность процессов взаимодействия этих речевых стихий, приведших к образованию уже в ранний период развития русского литературного языка разных его стилей или типов. Стилистическую дифференциацию древнерусской письменности, наличие уже в XI—XII вв. памятников письменности, слабо связанных со старославянским языком и основанных на народной речи, естественно рассматривать как результат развития и усложнения возникшего первоначально на старославянской основе литературного языка, как следствие раннего применения усвоенной русскими книжниками письменности к народному языку. Здесь нет оснований искать традиций «достарославянского» письменного языка, как нет необходимости видеть в этом, подобно Л. П. Якубинскому, следы «культурно-языковой революции».

Нельзя при этом совершенно игнорировать и вопросы графики. При том понимании исторических отношений между разными типами или стилями древнерусского литературного языка, когда один из них объявляется продолжением традиций самобытного и издавна существующего на народной основе литературного языка, необходимо было бы предположить, что в какой-то период произошел поголовный переход развитой уже письменности на новый алфавит, который русские книжники усвоили как систему из старославянских памятников. Для подобных предположений нет пока никаких серьезных оснований. Поэтому странно видеть среди доказательств бесспорного существования на Руси письменнолитературного языка в период до проникновения старославянских памятников ссылку на берестяные грамоты. И если авторы «Курса истории украинского литературного языка», а также П. П. Плющ говорят о берестяных грамотах лишь как о свиде-

тельстве более широкого, чем это ранее предполагалось, распространения в древней Руси грамотности, в пособии В. Б. Бродской и С. О. Цаленчука уже прямо говорится, что они «дают возможность утверждать, что письменность на Руси существовала еще до принятия христианства, до проникновения на Русь старославянского алфавита и письма» (разрядка моя. — В. Л.).¹ Каким образом написанные кириллицей, т. е. одним из «старославянских алфавитов», памятники могут свидетельствовать о наличии письменности до проникновения старославянского алфавита на Русь, остается загадкой². Еще удивительнее, что сторонники «самобытного» происхождения русского литературного языка любят ссылаться на Гнездовскую надпись начала X в., хотя она с очевидностью доказывает, что если была на Руси в начале X в. письменность, она опиралась уже на старославянское письмо (ведь Гнездовская надпись сделана тоже кириллицей).

Все показания такого рода могут лишь подтвердить уже ранее высказывавшуюся в русской науке мысль, что русские были знакомы с древнеболгарскими книгами по крайней мере за несколько десятилетий до официального крещения Руси. Об этом очень кстати напомнил в своем докладе на последнем съезде славистов В. В. Виноградов, сославшись на статью Б. Ст. Ангелова, напечатанную в «Трудах Отдела древнерусской литературы»³. Об употреблении письменности уже в начале и середине X в. говорят и известные договоры русских князей с греками — одно из наиболее выразительных свидетельств раннего усвоения русскими книжниками старославянского языка в качестве языка письменности.

Вслед за С. П. Обнорским авторы пособий приводят в качестве одного из главных доказательств существования русского самобытного литературного языка до начала старославянского влияния высокий уровень культуры Киевской Руси, с чем «не могла не быть связана и достаточно сложившаяся культура русского слова уже в раннюю пору»⁴. Особое место отводится при этом, естественно, литературе: «Появление в XI—XII вв. таких совершенных литературных произведений, как

¹ В. Б. Бродская, С. О. Цаленчук, указ. соч., стр. 16.

² Можно уже не говорить о том, что вообще не следует подменять вопрос о русском литературном языке вопросом о существовании на Руси каких-то форм письма в дохристианский период. Наличие несовершенных форм письменности, употребление каких-то письменных знаков для обозначения содержимого сосуда или записи имени умершего на могиле и т. п. не означает, что сложился литературный язык.

³ В. В. Виноградов, указ. соч., стр. 17—18.

⁴ С. П. Обнорский, Очерки..., стр. 7; см. также «Курс історії української... мови», т. I, стр. 23.

„Слово“ Иллариона..., произведения Владимира Мономаха или „Слово о полку Игореве“ и др., должно было опираться на длительную предшествующую культуру языка, могло быть только результатом длительного процесса, который начался еще до прихода в Киевскую Русь христианства и церковнославянского языка»¹. (Любопытно, что среди этих памятников, которые должны свидетельствовать о давнем существовании самобытного русского литературного языка, находим «Слово о законе и благодати» Иллариона — произведение, глубоко проникнутое как по языку, так и по приемам изобразительности болгаро-византийским влиянием.)

Аргументы такого рода не имеют серьезного значения. Высокий уровень материальной и духовной культуры народа не может служить доказательством самобытности и изолированности его литературного языка. Скорее наоборот: он предполагает достаточно широкие связи и взаимовлияния с культурами других народов, что должно способствовать органическому усвоению и использованию на определенном этапе развития уже готовых форм письменности. Кстати говоря, и культура Киевского государства (в частности, архитектура и живопись) достаточно отчетливо обнаруживает давние связи с Византией и другими странами и народами².

Высокий уровень литературного творчества на Руси XI—XII вв. является естественным результатом развития письменной литературы на Руси — как переводной, так и оригинальной — начиная с X в., и широкого использования давних традиций устного народного творчества. Без письменной литературы — в самом широком смысле этого слова — нет литературного языка. Исследователи не находят следов русской литературы ранее X в.³ Высокий уровень литературного творчества в XI—XII вв., наличие в этот период выдающихся литературных произведений не заставили исследователей древнерусской литературы «удревнять» русскую письменную литературу до античного периода, хотя и побудило обратить пристальное внимание на роль устных традиций в развитии письменной литературы.

Только игнорируя реальную историю литературных языков многих народов Запада и Востока, можно объявлять (как это делают некоторые авторы) «неправдоподобным» и даже «антипатриотическим» само предположение о возможности возникновения древнерусского литературного языка под старославянским влиянием⁴.

Следует заметить к тому же, что совершенно непонятно, почему положение об обусловении и ассимиляции на русской почве старославянского языка выглядит менее «патриотичным», чем тезис об усилжающейся с веками болгаризации исконно русского, самобытного литературного языка.

*

Мы так подробно остановились на том, как освещен в рассматриваемых пособиях вопрос о происхождении древнерусского литературного языка, потому что в последние 10—12 лет теория самобытного происхождения русского литературного языка стала «общим местом» в учебных пособиях и научных исследованиях и излагается как нечто само собою разумеющееся, не требующее новых доказательств⁵.

Следует заметить, что влияние теории «самобытности» сказывается не только на объяснении исторических истоков разных типов литературного языка древней Руси, но и на способе описания этих стилистических разновидностей. Оно отражено в том факте, что если памятникам деловой письменности и светско-литературного типа уделяется определенное внимание, то книжнославянский тип древнерусского литературного языка по существу игнорируется и не описывается.

Неравномерность в описании разных стилей (типов) древнерусского литературного языка в рецензируемых книгах бросается в глаза даже при самом беглом взгляде. Из 14 страниц, отведенных в «Курсе истории украинского литературного языка» описанию языка письменных памятников киевского периода, церковно-книжной литературе отводится одна страница, причем половина ее посвящена «Поучению» епископа Луки (о котором говорится, что он тяготел к простым и народным русским формам выражения). О таких выдающихся памятниках книжного литературного языка, как «Слово» Иллариона и Проповедь Кирилла Туровского, сказано лишь, что эти произведения заметно отражают влияние церковнославянского языка. В то же время языку «Русской Правды» и древнерусских грамот отведено в «Курсе» 5 страниц. В книге В. Б.

¹ «Курс історії української мови», т. I, стр. 23.

² См. Б. Д. Греков, Киевская Русь, 1953, стр. 383, 396—397 и др.; Д. С. Лихачев, Возникновение русской литературы, М.—Л., 1952, стр. 121 и сл.

³ См. Д. С. Лихачев, указ. соч., стр. 111—118, 131—133, 159 и сл.

⁴ См. В. Б. Бродская, С. О. Цаленчук, указ. соч., стр. 17.

⁵ Из новейших исследований см. ценную работу Н. А. Мещерского «История иудейской войны» Иосифа Флавия в древнерусском переводе, М.—Л., 1958, в которой, в соответствии с теорией С. П. Обнорского, многочисленные старославянизмы (если они признаются принадлежащими оригиналу XI в.) безоговорочно и бездоказательно объявляются результатом воздействия старославянского языка на вполне сложившийся на восточнославянской основе литературный язык (стр. 14—15, 121 и сл.). См. также Е. А. Василевская, Профессор А. М. Селищев как лингвист и его статья о языке «Русской Правды», «Уч. зап. МГПИ им. В. И. Ленина», т. СХХХII. Кафедра русск. языка, вып. 8, 1958, стр. 49—50.

Бродской и С. О. Цаленчука описание церковно-книжного стиля (собственно только «Слова» Иллариона) занимает несколько большее место, но также совершенно недостаточное; при этом, указав на церковно-славянскую основу языка «Слова» Иллариона, авторы начинают совершенно непонятную полемику с М. П. Якубинским, заметившим, что «Илларион ясно отличал... свой разговорный язык от литературного церковнославянского языка». «Надо полагать, — пишут авторы, — что ...митрополит Илларион был хорошо знаком не только со старославянским, но и с русским литературным языком, с языком «Русской Правды»¹. Следует ли это понимать так, что язык Иллариона выключается из понятия «русский литературный язык»?

Вообще надо заметить, что в книге В. Б. Бродской и С. О. Цаленчука обнаруживается какая-то странная «боязнь» старославянских элементов в русском литературном языке. О них говорится вскользь, как бы «с извинениями». О «Слове о полку Игореве», «Поучении» Мономаха и «Молении» Даниила Заточника, обследованных С. П. Обнорским, в книге говорится, что «старославянизмы либо полностью отсутствуют, либо имеются в незначительном количестве». И далее: «Если же они обнаруживаются, то при детальном изучении оказываются позднейшими наслоениями, внесенными переписчиками при списывании с оригинала». Авторы признают, что язык сочинений Мономаха представляет собой «яркое свидетельство взаимодействия русского литературного языка в ранний период его развития с языком старославянским», но тут же в сноске это признание снимается утверждением (со ссылкой на С. П. Обнорского), что «церковнославянские элементы в языке сочинений Мономаха могли быть результатом позднейших наслоений»². При рассмотрении языка «Слова о полку Игореве», занимающем в книге более 3 страниц, о славянизмах говорится буквально следующее: «... имеются и некоторые старославянизмы: *лоно, очи* и др.». И дальше: «В „Слове“, кроме отмеченных выше, имеются и некоторые элементы церковнославянского языка, в частности неполногласные формы: *крамола, златъ* и др., церковнославянские союзы (*аще*)»³. Даже в «Слове» Иллариона «образные выражения — русские по характеру и содержанию» (?)⁴.

Это постоянное стремление подчеркнуть в древнерусском литературном языке в соответствии с теорией «самобытности» лишь то, что объединяет его с разговорной речью, эта тенденция умалять значение и место собственно книжного элемента естественно приводят к тому, что история древнерусского литературного языка, как верно заметил В. В. Виноградов, «сливалась и смешивалась с историей общена-

родного разговорного восточнославянского языка и утрачивала специфику своего предмета, все более и более отдаляясь от понимания внутренних закономерностей развития именно литературного языка» (разрядка моя. — В. Л.)⁵. Ярким примером такой утраты предмета может служить, например, замечание В. Б. Бродской и С. О. Цаленчука о том, что «наибольшую ценность» как источник русского литературного языка древнего периода «представляют памятники документально-делового стиля, так как они с достаточной полнотой запечатлели разговорную речь восточных славян и дают нам весьма четкое представление о ней»⁶. Таким образом, ценность источника как памятника литературного языка, по их мнению, определяется тем, в какой степени запечатлена в нем разговорная речь, а сам предмет и задача истории литературного языка, оказывается, сводятся к тому, чтобы «дать четкое представление» об этой разговорной речи. При таком подходе, естественно, грамоты оказываются более ценным источником для суждения о характере древнерусского литературного языка, чем произведение Иллариона и Кирилла Туровского, Житие Бориса и Глеба и даже «Слово о полку Игореве».

Этой тенденцией проникнута вся книга. Для московского периода всячески умаляется роль и место книжного языка, по существу отрицается так называемое «второе южнославянское влияние», а риторический слог «плетения словес» возводится к «русским образцам», в частности к «стилистике киевского проповедника Иллариона», причем умаляется об истоках последней⁷. В XVII в. книжнолитературная речь, оказывается, употреблялась лишь в жанрах, «распространяемых реакционным духовенством», или в пародийно-сатирических целях. О Петровской эпохе говорится, что «церковнославянизмы во многих случаях не входят органически в языковую ткань (? — В. Л.) и на общем фоне языка, впитывающего множество иностранных слов и выражений, выглядят резко контрастно»⁸. Даже Сумарокова авторы упрекают в том, что язык его произведений «еще далек от народного в полном смысле этого слова», в них «еще слишком много славянизмов». «Недостаточность народноразговорных средств в языке А. П. Сумарокова, — говорится далее, — явилась следствием его мировоззрения, ограниченного в классовом отношении, его реакционных взглядов «на крепостное право, на тяжкую долю закрепощенных крестьян»⁹.

⁵ В. В. Виноградов, указ. соч., стр. 36.

⁶ В. Б. Бродская, С. О. Цаленчук, указ. соч., стр. 29.

⁷ Там же, стр. 56, 59.

⁸ Там же, стр. 75, 77—78, 89.

⁹ Там же, стр. 154.

¹ В. Б. Бродская, С. О. Цаленчук, указ. соч., стр. 41.

² Там же, стр. 35.

³ Там же, стр. 37—38.

⁴ Там же, стр. 56 (сноска).

Отсутствие интереса к книжным традициям в истории литературного языка, к истории и трансформациям церковнославянского языка на русской почве вообще характерно для работ по истории восточнославянских литературных языков, созданных в последние годы, в частности и для рассматриваемых в настоящем обзоре пособий (впрочем менее всего для работы П. П. Плюща). Перед историками русского и других восточнославянских литературных языков стоит сейчас насущная задача устранить этот пробел: необходимо более всестороннее и гармоничное изучение литературного языка.

*

При оценке работ по истории литературного языка важно определить, какой круг памятников привлекается для характеристики различных стилей или типов литературного языка, а также выявить принципы и методы описания извлеченного из этих памятников языкового материала. Представляется бесспорным, что не каждый памятник и история языка может рассматриваться как памятник и история литературного языка. Так, вряд ли целесообразно привлекать для характеристики русского литературного языка древнейшей поры культовую богослужебную литературу: русские списки евангелия, псалтыри и т. д. Ведь мы имеем здесь дело с механической перепиской старославянского оригинала; встречающиеся в этих текстах русизмы — лишь бессознательные описки, ошибки писца, отражающие некоторые особенности его живой речи. Эти ошибки представляют ценный материал для суждения о живой восточнославянской речи, но они не дают основания видеть в этих памятниках «представителей» русского литературного языка, образчики его «литургического стиля», как мы это находим, например, в курсе А. И. Ефимова. Упоминание о богослужебной литературе в одном ряду с действительными памятниками древнерусского литературного языка, которое мы обнаруживаем в рассматриваемых пособиях¹, думается, неправильно. Это, разумеется, не относится к таким поздним богослужебным книгам, как известное Пересопницкое евангелие (XVI в.), где мы имеем дело по существу с переводом евангелия на украинский язык.

С другой стороны, не следует, очевидно, учитывать при характеристике литературного языка те письменные источники, которые представляют собой лишь фиксацию живой разговорной речи, не получившей литературной обработки. Так, огромное культурно-историческое значение новгородских грамот побудило исследователей, без достаточных оснований, включить тексты, содержащие частную переписку древних новгородцев, в состав памятников древнерусского литературного языка. По-

чти в этом отношении был сделан А. И. Ефимовым еще в первом издании его книги «История русского литературного языка», где язык берестяных грамот рассматривается как особый «эпистолярный стиль» древнерусского литературного языка. Учитывая, очевидно, критику этого положения², А. И. Ефимов в новом, 3-м издании своей книги (1957) несколько усилил свою аргументацию, однако, как мне представляется, без заметного успеха; в то же время утверждения автора стали несколько осторожней и умеренней: он говорит уже лишь о некоторых «элементах „образованности“» в этих памятниках, о том, что они «дают лишь некоторое представление о формах провавшегося эпистолярного стиля» (стр. 75). При большей последовательности в выводах следовало бы совсем отказаться для древней Руси от так называемого «эпистолярного стиля».

Вряд ли можно считать удавшейся попытку зафиксировать характеристику берестяных грамот как памятников литературного языка, которую предпринял Н. А. Мецкерский³. Обнаружение в том или ином тексте отдельных слов или форм, характерных для книжного языка (а доказательство Н. А. Мецкерского строится исключительно на таких находках), разумеется, ничего здесь принципиально не меняет. В конце концов, такие «заимствования» из литературного языка были, несомненно, возможны и в разговорной речи.

В рецензируемых книгах языку берестяных грамот также уделяется некоторое внимание. В «Курсе истории украинского литературного языка» описание «языка частной переписки» стоит в одном ряду с описанием языка «Русской Правды», летописи, «Слова о полку Игореве», «Поучения» Мономаха, т. е. в ряду памятников разных стилей древнерусского литературного языка, впрочем без какого-либо упоминания об «эпистолярном стиле». В книге В. Б. Бродской и С. О. Цаленчука, напротив, на стр. 16 находим упоминание о «Древнейших формах эпистолярного стиля», хотя в дальнейшем, при характеристике древнерусского литературного языка, этот материал и не привлекается.

Вопрос о круге памятников, привлекаемых для характеристики литературного языка, имеет первостепенное значение для построения истории литературного языка, так как он связан с определением самого объекта исследования — литературного языка, с его отграничением от смежных явлений и категорий. Разумеется, этот вопрос остается актуальным и для более поздних периодов в истории литературного языка. Так, следует признать правильным, что А. И. Ефимов отказался в новом изда-

² См. мою рецензию на эту книгу (ВЯ, 1955, № 5, стр. 142).

¹ См.: «Курс истории української ... мови», т. I, стр. 38—39; П. П. Плющ, указ. соч., стр. 112—113; В. Б. Бродская, С. О. Цаленчук, указ. соч., стр. 39.

³ См. его статью «Новгородские грамоты на бересте как памятники древнерусского литературного языка» («Вестн. ЛГУ», 1958, № 2). Критический разбор этой статьи см. в упоминавшемся уже докладе В. В. Виноградова (стр. 21—24).

нии своей книги от описания языка указов Пугачева, имеющего очень слабую связь с нормами литературного языка своего времени (на 156 стр. книги В. Б. Бродской и С. О. Цаленчука этот материал все же представлен).

Говоря о круге привлекаемых для анализа письменных памятников, важно оставаться также и на методе, способе описания извлеченного из них материала. Применительно к древнему периоду в «Курсе истории украинского литературного языка» и в «Истории русского литературного языка» В. Б. Бродской и С. О. Цаленчука характеристика состояния литературного языка дается как с у м м а о п и с а н и й я з ы к а о т д е л ь н ы х п а м я т н и к о в; наличие предвещающего эти описания введения, излагающего некоторые общие вопросы, связанные с развитием литературного языка этого времени, не меняет положения.

Такой метод ко многому обязывает, он ставит перед автором задачу добиться того, чтобы эти описания были типичны и отличались целеустремленностью, чтобы они в своей совокупности очерчивали систему литературного языка данного времени — систему, скрепленную внутренними связями и отношениями. В значительной степени удалось достигнуть такой целеустремленности авторам «Курса истории украинского литературного языка», хотя не все описания и характеристики древнерусских и староукраинских памятников представляются здесь вполне удачными (см., например, очень поверхностный анализ «Поучения» Мономаха, совершенно неудовлетворительное описание памятников церковно-книжной письменности, о чем уже выше говорилось, и др.). Хуже обстоит дело в «Истории русского литературного языка» В. Б. Бродской и С. О. Цаленчука. Характеристики языка памятников построены здесь на случайном материале, отличаются упрощенностью и непоследовательностью в изложении. Невозможно получить более или менее отчетливое представление о языке памятника, в частности о соотношении в нем старославянских и восточнославянских элементов, а тем более — о сходстве или отличиях между языком различных памятников, представляющих разные типы или стили литературного языка. Так, говоря о языке летописи, авторы отмечают лишь одну морфологическую черту, указывающую, по их мнению, на книжное влияние, — наличие аористов и имперфектов, и одну форму, связанную с живой речью, — род. падеж ед. числа на -у (*середі полку*). Можно предположить, что эти формы являются особенно выразительными и существенными при характеристике литературного языка Киевской поры. Но далее ни в одном описании других памятников они даже не упоминаются. Для Мстиславовой грамоты русский характер грамматических форм иллюстрируется только наличием формы на «ять» вместо ст.-слав. на «юс малый», и об этой черте авторы затем почти забывают и более о ней не упоминают. При рассмотрении сочинений Монома-

ха для демонстрации «взаимодействия русского литературного языка... с языком старославянским» привлекаются уже новые факты грамматики — родительный падеж прилагательных на -аго и 2-е лицо глагола на -ши¹. Остается предположить, что другие памятники, в частности те, которые не испытали заметного влияния старославянского языка, не знают, например, форм на -аго, но общеизвестно, что это предположение было бы ошибочным. Здесь же, при описании языка Владимира Мономаха, неожиданно встречаем указания, что «широко представлена в языке Мономаха категория двойственного числа», употребляются звательные формы, «слова со свистящими ц, з, с на месте заднеязычных г, к, х», «а также окончание -и (не „ять“) в дат.-местн. пад. существительных мягкого различия: на кони, земли, переяславли»². Трудно понять, почему эти нормальные формы древнерусского и старославянского языков упомянуты именно в связи с «Поучением» Мономаха и вообще какую цель преследуют авторы, привлекая этот материал³.

В синтаксисе летописи почему-то обращено внимание на беспредложные конструкции и конструкции с двойными падежами, которые при этом связываются с «книжной стихией»; впрочем первая из этих черт упоминается еще и для «Слова о полку Игореве», но уже — вместе с дательным принадлежностью и родительным раздельностью — как характеризующая «грамматический строй русского языка». Кстати сказать, «Слово о полку Игореве» анализируется уже совсем по иной схеме, чем остальные памятники. Здесь, например, указывается, что глаголы в «Слове» выражают движение (*ехать, лететь* и т. д.), военные действия (*стрелять, биться* и др.), «различные звуки» (*шумит, воем и под.*), что «ярки и красочны прилагательные», приводятся некоторые изобразительные приемы и т. п.⁴.

Само собой разумеется, что такое рассмотрение языка памятников по случайно и произвольно выхваченным явлениям

¹ См. В. Б. Бродская и С. О. Цаленчук, указ. соч., стр. 31, 33, 35.

² Там же, стр. 35.

³ Источник — в слепом копировании исследования акад. С. П. Обнорского, который указывает для Мономаха эти формы, а также и некоторые другие, например: местоимения *ми, ти, си* и под., «нормальное использование форм имперфекта и аориста», «родительный-винительный в значении объекта лишь от имен» и т. д. Не может не вызвать удивления, что все эти факты, общие для старославянского и восточнославянского языков, рассматриваются как такие, которые позволяют характеризовать язык памятника «как русский во всей своей основе, во всем своем облике» и противопоставлять его языку старославянскому (см. «Очерки», стр. 78; см. на стр. 126 о «Молении» Даниила Заточника).

⁴ В. Б. Бродская, С. О. Цаленчук, указ. соч., стр. 37.

несколько не проясняет наших представлений о древнерусском литературном языке. Более последовательно проводятся по разным памятникам наблюдения над некоторыми лексическими группами, характеризующимися в русском и старославянском языках отличиями, восходящими к старым фонетическим процессам, например полногласные и неполногласные слова, слова с начальными *о* и *е*, *с* и *ш* и т. д. (авторы упорно называют это фонетикой). Однако и здесь много неточного и произвольного. Так, в этот ряд вовлекаются слова с *ж* и *жд*, хотя известно, что в древнейший период они не создавали стилистических отличий и что наличие *ж* вместо ст.-слав. *жд* характерно для литературного языка в целом (см., например, проповеди Кирилла Туровского, Успенский сборник). Поэтому указание на слова с *ж* в «Русской Правде» и летописи совершенно не убедительно (впрочем эту же ошибку делают и авторы «Курса истории украинского литературного языка»). Указания на неполногласные и полногласные слова (куда ошибочно отнесено и слово *серебро*) слишком общи и не могут создать правильного представления об употреблении этих словарных дублетов.

Следует добавить, что сказанное выше о бессистемности описания языка разных памятников древнейшей поры, о случайности в отборе материала в книге В. Б. Бродской и С. О. Цаленчука в общем приложимо, хотя и в несколько меньшей степени, и к анализу языка текстов XIV—XVII вв., а также в значительной степени и языка текстов XVIII в.

*

В «Курсе истории украинского литературного языка» большое место занимают очерки, содержащие анализ языка и стиля крупнейших деятелей украинской литературы нового времени. Можно вообще поставить под сомнение правомерность этих разделов в курсе истории литературного языка, особенно если они занимают почти 350 страниц из 450, посвященных языку нового времени. А если учесть, что и общие обзоры, предвещающие детальное описание языка отдельных писателей, по меньшей мере наполовину также посвящены языку и стилю писателей, то придется признать, что задачи описания истории литературного языка оказались вытесненными задачей описания языка писателей.

Подмена описания явлений литературного языка как цельной системы анализом языка отдельных писателей могла бы быть до некоторой степени оправдана, если бы этот анализ давался в контексте литературного языка в целом, служил бы прежде всего материалом, характеризующим историю самого литературного языка. Однако именно эта сторона языка писателя освещена в наименьшей степени; исключение составляет, пожалуй, только глава о языке Шевченко. Основное внимание в главах, посвященных языку писателей, уделено таким вопросам, как «образные средства»,

«способы типизации», «приемы стилизации», «ритм прозы» и т. д. Надо признать, что эти трудные вопросы освещены во многих главах интересно и содержательно — они поэтому могли бы быть полезны как отдельные очерки о языке и стиле украинских писателей. Наши сомнения касаются лишь правомерности включения их в курс истории литературного языка.

Действительно, имеют ли прямое отношение к истории литературного языка наблюдения вроде следующего: «Творчество Свидницкого обогатило реалистические языковые средства изображения в украинской художественной прозе... Свидницкий умело отбирал языковые средства социально-психологической характеристики персонажей, используя специальную лексику и фразеологию разных социальных групп общества (духовенства, чиновничества..., бурсаков и др.)»¹. Надо заметить, что и те разделы в этих главах, которые посвящены как будто вопросам собственно литературного языка, тоже, как правило, повернуты в сторону индивидуального стиля писателя. Так, в разделе «Лексика» в главах о языке Глебова, Неуч-Левицкого и др. дается тематическая классификация слов, связанная с тематикой произведений писателя. О Неуч-Левицком говорится далее, что в произведениях из деревенской жизни он «старается как можно меньше употреблять иностранные слова. Впрочем и здесь мы встречаем такие интернациональные слова, как *алея*, *этаж*, *рафінад*, *тераса*... В повестях же из жизни интеллигенции... писатель, напротив, широко использует иноязычную лексику...: *абстракції*, *емпірей*, *енергія*, *консервативний*...»². Очевидно, что этот материал был бы полезен и в плане истории литературного языка, если бы была раскрыта употребительность этой лексики в общелитературном языке того времени. Это относится и к грамматическим наблюдениям. Так, во многих очерках приводятся такие грамматические особенности языка писателя, которые не закрепились впоследствии в литературном языке³, по читателю неясно, в каком отношении находятся эти формы к нормам литературного языка того времени, каково их место в истории литературного языка.

В настоящем обзоре нет никакой возможности даже в самом общем виде рассмотреть помещенные в «Курсе» очерки о языке и стиле украинских писателей. Несомненно, однако, что при всех своих положительных качествах, при всей их полезности они тем не менее выглядят в курсе истории литературного языка в значительной мере как посторонний материал, как чужеродное тело.

Как уже выше говорилось, настоящий обзор не ставил целью дать более или менее

¹ «Курс історії української мови», т. I, стр. 423.

² Там же, стр. 447.

³ См. там же, например на стр. 409, 422, 450, 467.

обстоятельный разбор рецензируемых книг. Для этого потребовалось бы несравненно больше места. Поэтому в обзоре остались не отмеченными многие ценные стороны рассмотренных выше пособий. Так, специального разбора заслуживает представляющая значительный интерес теоретическая вводная глава в книге П. П. Плюща, содержательный раздел о явлениях литературного языка второй половины XIX — начала XX вв. в «Курсе истории украинского литературного языка», разделы о развитии литературного языка в западных областях Украины и мн. др. В рецензируемых книгах по истории украинского литературного языка много свежих и интересных наблюдений, они вводят в научный оборот значительный новый материал. В то же время можно было бы указать в этих книгах и на ряд неверных или неточных положений более или менее частного характера. Изобилует ошибками, недосмотрами, странными формулировками пособие В. Б. Бродской и С. О. Цаленчука. Все это, однако, могло бы стать предметом отдельной, более подробной рецензии.

В. Д. Левин

«Atlasul lingvistic român», Serie nouă, vol. I—II (vol. I: VIII стр., 274 карты, 7 табл.; vol. II: VII стр., карт 275—622, 7 табл.). — Ed. Acad. RPR, 1956.

Сбор материалов для «Румынского лингвистического атласа» был начат еще в 20-х годах. Работа велась по двум вопросам, на основе которых должно было быть две параллельные части атласа. Первая часть (руководитель С. Поп) создавалась на основе краткого вопросника (3100 вопросов), по которому было обследовано большое количество пунктов (301). Вторая часть (руководитель акад. Э. Петрович) готовилась на базе расширенного вопросника (4800 вопросов), по которому обследовали ограниченное число пунктов (85). Хотя полевой сбор материалов был закончен еще в середине 30-х годов, румынскими языковедами не удалось обработать и издать эти материалы. Из десяти запланированных томов в 1938—1942 гг. увидели свет только два тома первой части «Атласа», один том второй и соответственно три тома цветного «Малого атласа».

В последние годы Клужский филиал Института языкознания Румынской Академии наук возобновил под руководством акад. Э. Петровича обработку и публикацию оставшихся материалов второй части. Первые два тома новой серии имеют лексико-тематическое построение. В первом томе даны термины полеводства, садоводства, виноградарства и др., во втором отражена терминология животноводства, птицеводства и ремесел. Поскольку диалектные варианты картографированы в фонетической записи, они могут быть использованы также для решения ряда историко-фонетических и фонологических вопросов. Словообразование и грамматика почти не представлены. Вышедший почти одновременно

«Малый атлас» (содержащий 422 карты) в основном повторяет материал указанных томов. Он построен на иной, более наглядной методике картографирования (цветные условные знаки)¹.

В «Атласе» широко используется комментирование основного ответа информаторов (на полях карты). В новой серии применена специально приспособленная для передачи румынского диалектного фонетизма транскрипция, которой пользовались составители довоенных выпусков атласа. Сами карты, их комментарии, а также весь подсобный аппарат выполнены с большой тщательностью.

Материалы новой серии «Атласа» еще раз указывают на значительный удельный вес славянизмов в румынской диалектной лексике (ср. разделы, связанные с полеводческой и ремесленной терминологией). Вместе с тем следует отметить, что румынские диалектные лексические варианты часто соприкасаются с диалектными вариантами в соседних славянских языках. Ср. рум. *plaz* (карта 22) — болг. *плаз* (Стойков², вопр. 204); рум. *hotar*, *hat* (карта 4) — болг. *хат* (Стойков, вопр. 182) и др. В связи с этим было бы целесообразным провести анкету планируемого общеславянского лингвистического атласа и в балканско-романских областях.

Присоединяясь к общей положительной оценке, которую получила новая серия «Атласа» в лингвистической печати³, мы позволим себе высказать и некоторые критические замечания: 1) во введении следовало бы подробнее рассказать о построении вопросника, методике сбора материала и его обработке; 2) в «Атласе» нужно было включить не только материалы, собранные на территории РНР, но и данные по пунктам, находящимся за пределами Румынии (Югославский Банат, Молд. ССР). Это особенно легко было бы сделать, если учесть, что такими материалами редколлегия располагает; 3) сетка «Атласа» слишком редка. При такой редкой сетке (85 пунктов на 237 502 км², т. е. 1 пункт на 2794 км²) трудно провести даже приблизительные изоглоссы и определить ареалы диалектного явления; 4) «Атлас» несколько упрощает и схематизирует диалектную синонимию и семантические соотношения внутри лексических микроструктур. Общеизвестно, что, с одной стороны, кажущиеся на первый взгляд совершенно однозначными термины в действительности имеют разные стилистические, семантические оттенки и фразеологические возможности. С другой стороны, одно и то же слово дает в разных

¹ «Micul atlas lingvistic român», Serie nouă, vol. I—II, 1956.

² См. Ст. Стойков, Програма за събиране на материали за Български диалектен атлас, София, 1957.

³ Ср. рецензии Д. Макря (см. «Limba română», № 3, 1956, стр. 80—83), М. Сала (см. «Studii și cercetări lingvistice», t. VIII, 1, 1957, стр. 101—112) и Г. Корpear (см. «Word», vol. XIII, № 2, 1957, стр. 380—381).

пунктах более или менее заметные сдвиги в своем значении. В связи с этим диалектолог, ставящий вопрос только об одном определенном предмете и не «прощупывающий» соседние близкие реалии, всегда рискует потерять из своего поля зрения многие диалектные формы.

Этого рода промахи обнаруживаются, по нашему мнению, при анализе некоторых карт «Атласа». Так, например, карта 10 дает для обозначения понятия «песчаный» на территории Румынии два взаимоисключающих термина: *arinos* и *nisipos*. Аналогичная картина обнаруживается и при анализе карты 17 (*nășîp*, *arină*, *arină* «песок»), опубликованной в книге С. Пущкару «Румынский язык»¹, согласно которой использование в одних пунктах термина *nășîp* исключает употребление в них слова *arină* (*arină*) и наоборот. Между тем исследование молдавских говоров на территории Молд. ССР и Украины показывает, что эти слова не взаимоисключают друг друга, а, наоборот, часто сосуществуют в одном и том же пункте, обозначая разновидности указанной реалии. Ср., например: *an'ины* «песок вообще»: *насып* «речной песок», «насыпанная земля», «насыпь» (левобережные районы Молд. ССР); *насып* «песок вообще»: *an'ины* «мелкий песок из лимана» (с. Камышовка и Покровка Ноуэ Суворовск. р-на Одесск. обл.); *насып* «мелкий песок из лимана»: *an'ины* «песок вообще» (с. Чамашыр того же района) и др.²

Сходным образом вызывает сомнение полная взаимоисключаемость и синонимичность терминов *roib*, *murg*, *șarg*, *roșu* [см. карту 275 — (*cal*) *roib* — «рыжая (лошадь)», поскольку эти термины в литературном языке, да и в известных нам народных говорах вовсе не равнозначны: *roib* — «рыжий», *murg* — «караковый», *șarg* — «буланый». Ср. также в этом плане карту 276 — (*cal*) *săr* — «серая (лошадь)»].

Карта 89 регистрирует не только названия реалии «треер» (*trior*, *țulindru*), но также и другое понятие — «веялку» (*vințurătoare*), причем соотношение между этими реалиями и терминами остается неясным. То же самое можно сказать и о карте 286, где совмещены, очевидно, разные реалии. См. термины *căpăstru*, *ștreang*, *dîrlög*, *frîu*.

В связи с вышесказанным можно пожелать, чтобы составители «Атласа» при выпуске следующих томов в какой-то степени уточняли в поле материал, собранный 25—30 лет назад, учитывая при этом достижения лингвистической географии за последние десятилетия. В заключение отметим, что указанные недостатки не умаляют научной ценности новой серии «Румынского лингвистического атласа»: она является значительным достижением румын-

ского языкознания последних лет и свидетельствует о большой плодотворной работе, проделанной румынскими лингвистами в области изучения народных говоров.

И. П. Черный

H. Glinz. Der deutsche Satz. Wortarten und Satzglieder wissenschaftlich gefaßt und dichterisch gedeutet. — Düsseldorf, 1957. 208 стр.

Рецензируемая книга — вторая работа Ганса Глинца, ставящая целью радикальную перестройку системы немецкой грамматики. Первая работа, более фундаментальная, охватывающая как морфологию, так и синтаксис, вышла в свет в 1952 г.³ Еще до того Г. Глинц написал исторический очерк развития учения о членах предложения в немецком языкознании⁴.

Среди других немецких грамматистов, стремившихся в наши годы к полному преобразованию грамматической теории немецкого языка, Г. Глинц излагает свои взгляды в наиболее систематической форме. Концепция Г. Глинца пользуется значительным влиянием среди зарубежных лингвистов. Так, крупнейший французский германист Ж. Фурке⁵ выделяет работу Глинца (и книгу П. Дидерихсена о строе датского языка⁶) среди структуральных грамматик германских языков и фактически солидаризируется с нею. Делаются попытки внедрить систему Глинца, во всяком случае некоторые ее положения, в школьное преподавание немецкого языка в ФРГ⁷. В связи с этим критическое рассмотрение концепции Глинца приобретает большую важность.

Несмотря на наличие некоторых расхождений между книгами Глинца, мы остановимся здесь лишь на его последней работе, потому что она представляется более зрелой и интересной и потому что обсуждение даже одной только синтаксической проблематики в трактатке Глинца вызовет множество вопросов и займет много места.

Исходный пункт Глинца — полное отрицание традиционной школьной грамматики (во всяком случае в применении к синтаксису). По мнению Глинца, эта грамматика навязана немецкому языку извне — частично потому, что ее источником была античная грамматика, рассчитанная на языки совсем другого строя (стр. 119), но главным образом потому, что она исходит не из

³ H. Glinz, Die innere Form des Deutschen. Eine neue deutsche Grammatik, Bern, 1952.

⁴ H. Glinz, Geschichte und Kritik der Lehre von den Satzgliedern in der deutschen Grammatik, Bern, 1947.

⁵ Ж. Фурке, Синхроническая точка зрения при изучении германских языков и диалектов, ВЯ, 1958, № 4, стр. 101.

⁶ P. Diderichsen, Elementær dansk grammatik, København, 1946.

⁷ «Deutscher Sprachspiegel», Hf. I, Düsseldorf, 1956.

¹ S. Pușcariu, Limba română, I, București, 1940, стр. 212.

² Подробнее см.: Р. Г. Пиотровский, Некоторые теоретические вопросы молдавского лингвистического атласа, сб. «Omăgiu lui Iorgu Iordan cu prilejul împlinirii a 70 de ani», București, 1958, стр. 685.

языковой формы, а из априорных логических соображений (стр. 49—52). В своей критике традиционных членов предложения (подлежащего, сказуемого и т. д.) Глинц выдвигает четыре момента: 1) несоотнесенность этих членов предложения с предложением как звуковой структурой и 2) с предложением как общей духовной формой, которая образуется волей говорящего к выражению и воплощается в звуковой структуре; 3) несоответствие с категориями и формами слов в немецком языке и наличие внутренних противоречий; 4) неверные духовные предпосылки, на основе которых были выработаны основные синтаксические понятия (стр. 54—55). Сам Глинц стремится строить понятия своей системы «на основаниях и методах, которые надежны с математически-экспериментальной точки зрения, но вместе с тем приношены именно к современному немецкому языку и принципиально исходят из поэтического произведения и слова ведут к нему» (стр. 7).

В соответствии с этой установкой, методология и методика Глинца являются своеобразным сочетанием структуралистских и неидеалистических или неогумбольдтианских черт (ощущается влияние Фосслера, в большей мере Вейсгербера). Как и структуралисты, он исходит из непосредственно данных «текстов», действует методами замены и подстановки (*Umsatzproben, Umformungen*). Но он выбирает в качестве исходного текста сложные поэтические произведения (стихи Гельдерлина), в то время как, например, Ч. Фриз базировался на записях телефонных разговоров¹, и выдвигает на передний план не задачи общения, а «давление всего содержания, стремящегося к воплощению» (стр. 24), т. е. эмоционально окрашенные образы. Глинц разделяет и точку зрения Вейсгербера на то, что язык относится к особому «духовному промежуточному миру», стоящему между реальным миром и человеческим сознанием, подчеркивая, правда, своеобразные архаические и кажущиеся нам «примитивными» черты этого мира (стр. 79).

Огромное внимание в системе Глинца уделяется звуковым средствам языка. Но и они толкуются не столько в структуралистском плане как способы объединения или разведения значащих компонентов языка, сколько в плане звуковой структуры, которая «в своем ритмико-мелодическом движении» оказывается призванной дать «непосредственное, музыкальное выражение всему тому содержанию, которое витает перед говорящим» (стр. 25).

Ритмико-интонационная структура кажется для Глинца одной из трех органически связанных, даже сливающихся сторон (аспектов), которыми обладает предложение, и притом стороной внешней. Другой — также общеобязательной — стороной предложения является «общий внутренний

образ», многоступенчато складывающийся из отдельных значений слов. Наконец, третьей стороной предложения, — с точки зрения Глинца представленной, возможно, не во всех языках, — оказывается запечатленность в определенной, формально закрепленной «духовной структуре», т. е. в грамматических формах слова (стр. 27—28). Этот последний аспект и составляет собственно грамматическую сторону предложения: установление «запечатленности» определенных «духовных значений» в определенных формах слова, и является «задачей „грамматики“ в более узком смысле слова, а особенно учения о предложениях» (стр. 27). Именно этой стороне посвящена в первую очередь и рассматриваемая книга.

Естественным результатом такого подхода к языку является тот факт, что грамматическая форма слова, его морфологическая структура оказывается едва ли не важнейшим моментом и критерием в синтаксических построениях Глинца. Он касается и обобщенного значения грамматических разрядов и форм слова (например, обобщенного значения падежей: стр. 112—114), их синтаксических функций и вообще их сочетаемости (например, при подразделении «позиционных указаний», т. е. неизменяемых служебных слов, *Lagewörter*: стр. 134 и сл.), и роли порядка слов для дифференциации смыслового содержания предложения и его грамматических функций (стр. 38—39 и др.), но решающая роль при определении грамматических явлений как таковых остается все же за морфологической структурой слова. К ней-то и сводится в основном понятие грамматической формы у Глинца; и отделение грамматических или вообще языковых явлений от чисто смысловых, логических категорий, которое Глинц выдвигает как один из общих принципов своего анализа (стр. 74), решается, как правило, с точки зрения наличия или отсутствия специальных морфологических форм слова. Например, Глинц отрицает различие обстоятельства и предикатива в тех случаях, когда они выражены омонимической формой кратко прилагательного — наречия: *Der Tag ist herrlich — Der Gesang klingt herrlich*. В обоих случаях *herrlich* является для Глинца «указанием характера рода» или «чистым прилагательным, относящимся ко всему предложению» (стр. 116 и сл.). Все построение книги в значительной мере подчинено этой ведущей роли морфологической формы слова.

Правда, функции морфологических форм рассматриваются, как правило, на примерах целых предложений и постоянно устанавливаются те особенности структуры предложения, которые создаются при использовании этих морфологических форм. В VII, X и XI главах намечающиеся таким образом типы предложений становятся даже прямым и главным объектом анализа, причем рассматриваемые здесь формы систематически характеризуются также с точки зрения их поэтического (художественного) значения.

¹ Ch. C. Fries, *The structure of English. An introduction to the construction of English sentences*, New York, 1952.

При характеристике типов предложений выдвигается понятие «основных картин мысли» (*geistige Grundbilder*), обрабатываемых различными формальными категориями слов (например: картина процесса или бытия, отнесенная к какому-либо носителю — *Du kommst*, картина действия — *Du rettetest mich* и т. д.). Отмечается также, что на основе этих образов, путем их связывания друг с другом, создается большое количество «грамматических планов предложения» (стр. 163—164)¹. Но исходным пунктом и решающим моментом в трактовке структуры предложения являются все же морфологические формы слова.

Такой подход к предложению приводит Глинца к умалению роли членов предложения как особого грамматического понятия. Некоторые члены предложения вообще отпадают, а их названия заменяются названием части речи. Так, Глинец считает излишним и чисто логическим понятие сказуемого. Он удовлетворяется понятием изменяемой и неизменяемой форм глагола и «добавления к глаголу» (*Verbzusatz*), т. е. отделяемой первой части сложного глагола, которые занимают определенные фиксированные места в предложении, образуя во внешнем отношении «ось и рамку для всех остальных членов и тем самым для всего предложения», а с точки зрения содержания предложения «определяя всю его общую мыслительную форму» (*geistige Gesamtform*) (стр. 62). Глинец отказывается и от категорий дополнения и обстоятельства, заменяя их категориями: 1) «величины» (*Größen*), охватывающие все функции склоняемых частей речи и подразделяющиеся на именительный обращения (*Anrufgröße*), подлежащий именительный (*Grundgröße*), предикативный именительный (*Prädikatsnominativ*) и т. д.; 2) «несклоняемые члены предложения» (*Angaben*) (стр. 74 и сл.). Именно в такой ориентации синтаксических категорий на морфологическую форму слова Глинец видит залог того, что его система будет носить не абстрактный, общелогический характер, а будет соответствовать реальным формам немецкого языка в их своеобразии. В частности, он особенно подчеркивает своеобразное совпадение в немецком языке форм наречия и предикативного прилагательного, специфические закономерности местоположения глагола в немецком языке и т. д.

¹ Далее в последних главах снова ставится вопрос о ритмико-интонационной структуре предложения, которая трактуется как соответствующая его грамматическому членению, а также о процессе создания предложения у говорящего, причем здесь, в отличие от первых глав, утверждается, что с самого начала в процессе формирования предложения, наряду с отдельными образами (словами) и общей звуковой структурой, присутствуют некие основные «планы мысли», которые соотносятся с соответствующими звуковыми структурами и объединяют отдельные образы в цельную картину (стр. 178).

Такова в общих чертах концепция строя немецкого предложения, развиваемая Глинцем, а также его общесинтаксическая теория. Нетрудно заметить, что в ней, помимо отмеченных связей со структурализмом и неогумбольдтианством, имеется много общего с различными грамматическими направлениями, стремившимися с конца XIX в. к более четкой и основанной на чисто лингвистических данных синтаксической системе, — например, в русской грамматике с концепциями Ф. Ф. Фортунатова и особенно М. Н. Петерсона. Нетрудно заметить также, что, стремясь последовательно исходить из своих общеметодологических и методических предпосылок, Глинец приходит к некоторым выводам и выдвигает некоторые категории, к которым, исходя из совершенно иных позиций, пришли за последние десятилетия и многие другие лингвисты. Это касается в первую очередь его «основных картин мысли» и «грамматических планов предложения», которые, начиная со Сведелиуса (1897 г.), в общем виде неоднократно выдвигались рядом языковедов (В. А. Богородицким, Э. Сепиром, К. Бюлером, Ч. Фризом) применительно к отдельным языкам, а в применении специально к немецкому языку автором этих строк². Таким образом, книга Глинца включается в общий поток развития синтаксической мысли в XX в., представляя собой один из ее многочисленных нюансов и подкрепляя некоторые намечающиеся в ней положения. Все это свидетельствует о значительности появления книги Глинца.

Но, к сожалению, в книге Г. Глинца присутствует и один недостаток, свойственный большому числу работ, которые ставят себе целью перестройку синтаксиса, а именно: односторонность, стремление объяснить языковые факты, исходя лишь из одного какого-то принципа, что резко противоречит сложной, многоаспектной природе языковых явлений и, кстати, практически никогда не может быть до конца осуществлено.

Наличие в книге Глинца такой односторонности и то обстоятельство, что он противопоставляет ее всем существующим грамматическим концепциям как некий новый этап в развитии синтаксической теории, «новый путь», заставляет нас сделать несколько односторонней и эту рецензию. Вместо того чтобы останавливаться на отдельных наблюдениях и замечаниях Глинца, часть которых интересна и удачна, мы должны заняться его центральными теоретическими положениями и основной методикой его работы. Только так можно будет проверить правильность общих деклараций автора.

² Ср. В. Г. А д м о н и, Развитие синтаксической теории на Западе в XX в. и структурализм, ВЯ, 1956, № 6, стр. 52; его же, Структура предложения, сб. «Вопросы немецкой грамматики в историческом освещении», М.—Л., 1935, стр. 10—20.

При этом окажется, что концепция Глинца во многом обедняет столь решительно отвергнутую им «традиционную грамматику» и что даже ценою этого ему не удастся добиться полной последовательности.

Прежде всего отметим, что Глинец оказывается не в состоянии до конца ориентироваться на морфологическую форму слова. Там, где совершенно явственно проявляется синтаксическая омонимия морфологических форм (например, именительного падежа), Глинец говорит о различном функциональном использовании форм и вводит понятия «Anrufgröße», «Grundgröße» и т. д. Но такая уступка совершенно недостаточна для того, чтобы раскрыть истинное соотношение между членами предложения. Наряду с грамматической омонимией существует и грамматическая синонимия. Одно и то же отношение или явление объективной действительности в одной и той же синтаксической группе (например, в группе глагола) может быть выражено часто различными средствами. Так, при возвратной форме *sich erinnern*, употребляемой для обозначения процесса, во который направлен данный процесс, во внутренней жизни человека, может стоять как родительный падеж, так и предложная группа: *Ich erinnere mich ihrer* — *Ich erinnere mich an sie*. Эта смысловая близость двух разных морфологических форм в плане выражения одного и того же отношения реальной действительности является объективным языковым фактом и создает, между прочим, огромные дополнительные возможности для языка в плане стилистической выразительности. Казалось бы, что в синтаксической теории этот факт должен быть как-то отражен — и в традиционном обозначении обеих этих форм «дополнениями» такое отражение (правда, обычно осложненное понятием «необходимой» или «свободной» связи второстепенного члена с глаголом) действительно имело место. Но с точки зрения системы Глинца реальная связь этих форм оказывается полностью нарушенной. С другой стороны, отрицая категорию обстоятельство и вводя в качестве особого члена предложения «предложный падеж», Глинец заставляет фактически рассматривать в одной плоскости такие образования, как *an sie* в вышеуказанном примере и *an der Tafel* в предложении *Ich stehe an der Tafel*, хотя в последнем случае предложная группа в смысловом и синтаксическом отношении параллельна не какому-либо беспредложному падежу, а местоименным паречиям типа *dort*.

Но не только смысловая сторона, момент обобщенного грамматического значения, оказывается, таким образом, существенным для дифференциации членов предложения. Чрезвычайно важными являются также такие формальные с синтаксической точки зрения моменты, как вхождение морфологической формы в ту или иную синтаксическую группу и наличие у нее тех или иных видов сочетаемости.

Как мы уже отмечали, Глинец всячески подчеркивает свое стремление показать своеобразие строя немецкого языка. Но

как раз одной из существеннейших закономерностей немецкого синтаксического строя является возрастающее расхождение между группой глагола и группой существительного¹. Поэтому в немецком языке даже для тех морфологических форм, которые могут в неизменном виде входить как в ту, так и в другую группу (например, для предложных сочетаний с локальным значением), вовлечение в эти группы означает или большую закрепленность (в группе существительного) или большую свободу (в группе глагола), возможность многосторонней синтаксической соотнесенности (в группе глагола — соотнесенности с глаголом и подлежащим, например, *Die Stadt lag am Meer*) или прикрепления к одному какому-либо члену предложения (в группе существительного: *Die Stadt am Meer*) и т. д.

Что касается сочетаемости морфологических разрядов и форм слов и их способности организовывать завершенные конструкции, то и они не могут быть оставлены в стороне при характеристике членов предложения. Вопреки мнению Глинца, в немецком языке действительно имеются особые связочные глаголы (в первую очередь глагол *sein*) именно потому, что они, в отличие от полнозначных глаголов, сами по себе (за исключением специфических случаев) не придают высказыванию завершенности, так что, кроме подлежащего и глагола, необходимыми членами предложения становятся, например, и такие его компоненты, как прилагательное (*Die Stadt ist groß*), приглагольный именительный падеж (*Er ist Arbeiter*) и т. д. Именно необходимость этих компонентов для завершенности предложения и их функциональная (а отнюдь не логическая) близость к полнозначным глаголам делает необходимым, опять-таки вопреки мнению Глинца, выделить особый член предложения, сказуемое или предикат, как это и было уже давным-давно сделано грамматистами.

С точки зрения формального фактора завершенности синтаксической конструкции совершенно закономерным оказывается и понятие «нераспространенного предложения», т. е. предложения, состоящего лишь из необходимых членов, хотя Глинец и считает его «неудачным школьным понятием» (стр. 173).

Таким образом, однолинейное, суженное понимание синтаксической формы делает во многих отношениях полемику Глинца против традиционной грамматики несправедливой как раз в плане конкретно-грамматического, формального анализа языковых явлений. Конечно, более широкое понимание синтаксической формы в традиционной грамматике, как и многие другие положения традиционной грамматики, складывалось в значительной мере стихийно и нуждается в существенных коррективах

¹ Ср. В. Г. А д м о н и, Структура группы существительного в немецком языке. «Уч. зап. [I ЛГПИИЯ]», Новая серия, вып. I, 1954.

и уточнениях. Так, если исходить из формальных признаков сочетаемости и завершенности конструкции, то нераспространенными будут и те предложения, в которых имеются дополнение или обстоятельство, необходимые для смысловой и для структурной полноты предложения в силу предикативной недостаточности глагола и являющиеся поэтому частями «расширенного сказуемого». Но здесь нужно именно не полное отбрасывание и подчеркивание традиционной грамматики, а ее углубление и дальнейшее развертывание.

Впрочем само понятие традиционной грамматики, так часто фигурирующее у Глинца и у многих других реформаторов грамматики, отнюдь не так едино и просто, как это может показаться на первый взгляд. Прежде всего нельзя согласиться с Глинцем, когда он говорит, что научная грамматика немецкого языка чуждалась тех понятий членов предложения, которые с первой половины XIX в. утверждаются в школьной грамматике. Укажу, например, на Г. Пауля, который, правда, строит в своей «Deutsche Grammatik» изложение синтаксиса по частям речи, но широко учитывает в своем анализе и традиционные члены предложения (например, речь идет об «отношении именного сказуемого к подлежащему»¹, об объектном и предикативном винительном², о понятии предикативного определения и т. д.). Таким образом, грамматические системы, применяющиеся в научной грамматике, отнюдь не сводятся к концепции К. Ф. Беккера но вместе с тем все же в какой-то мере оказываются причастными к тому, что Глинц называет традиционной грамматикой, так что по сути дела эта грамматика оказывается чем-то изменяющимся и многообразным, и решительное размежевание с ней требует учета значительно более обширного материала, чем тот, который привлекается Глинцем.

Односторонность Глинца приводит его к неизбежным противоречиям. Так, он отрицает предикат как грамматическую категорию, но принужден все же ввести понятие «предикативного именительного» (стр. 84).

Однолинейность грамматической системы Глинца сказывается в том, что, например, такие разновидности предложения, как побудительное и вопросительное, не находят в ней определенного места и вообще почти не затрагиваются в книге. Здесь отсутствует даже перечисление всех тех планов, в которых в своем реальном существовании выступает предложение, оформляясь в ряде противопоставленных друг другу различных типов. То, что у Глинца именуется аспектами предложения (стр. 28), является на самом деле в первую очередь теми средствами, которые используются для оформления предложения (звуковые средства, морфологическая структура слова, законы связи этих структур, общие фор-

мальные структуры, объединяющие формы отдельных слов). С другой стороны, Глинц в своей трактовке грамматических явлений оказывается чрезмерно широким. Грамматические моменты оказываются у него до крайности сближенными со стилистическими. Однако, основываясь на анализе поэтической манеры лишь одного и притом весьма своеобразного поэта — Гельдерлина, Глинц приходит к выводам, быть может и интересным, но в лучшем случае действительным лишь для стиля Гельдерлина. За отсутствием места мы не можем рассмотреть здесь эту сторону книги. Но нам кажется важным в общем виде отметить, что в художественно-стилистических системах, созданных различными направлениями в немецкой литературе, стилистическое использование почти всех языковых элементов может быть крайне многообразным.

Все наши критические замечания, однако, не означают, что книга Г. Глинца вообще не представляет никакой ценности. Но она никоим образом не является тем «новым путем» в синтаксической теории, который склонен в ней видеть сам автор. Более того, построения Глинца, при всей их подчеркнутой систематичности, во многом обводят реальные факты немецкого языкового строя, а порой и вступают с ними в прямое противоречие.

В. Г. Адмони

K. H. Schönfelder. Probleme der Völker- und Sprachmischung. — Halle (Saale), 1956. 80 стр.

Рецензируемая книга является попыткой синтетического описания вопросов, связанных с языковым смешением и теорией субстрата. Она возникла, как свидетельствует примечание автора, из введения к его диссертации «Немецкие заимствования в английском языке Америки» (Университет им. Карла Маркса в Лейпциге). Таким образом, теоретические положения книги вытекают не только из тщательного изучения и обобщения предшествующей литературы вопроса, но и из исследовательской практики автора, что само по себе чрезвычайно ценно. Появление такого рода обобщающей работы следует признать своевременным, тем более что автор, придавая немалое значение явлениям языкового смешения, далек от односторонних увлечений поборников скрещивания как первопричины возникновения языков (от Г. Шухардта до Н. Я. Марра).

Книга подразделяется на три раздела: 1) разграничение и определение понятий; 2) краткий исторический обзор предшествующей литературы по проблеме смешения и смены языков; 3) критика существующих теорий в связи с вопросами методики.

В первом разделе Шенфельдер считает необходимым разграничить и определить главным образом термины «языковое смешение» (Sprachmischung), «смешанный язык» (Mischsprache) и «заимствование» (Entlehnung). Основная трудность в опре-

¹ H. Paul, Deutsche Grammatik, Bd. III, Halle (Saale), 1954, стр. 43.

² Там же, стр. 225 и сл.

делении понятия языкового смешения заключается, по мнению автора, в том, что среди языковедов нет единства в вопросе соотношения языкового смешения и заимствования. «В то время, как, с одной стороны, многие языковеды отделяют заимствование от языкового смешения, есть, с другой стороны, немало исследователей, которые не признают такого рода отделения» (стр. 8). Шенфельдер допускает употребление термина «языковое смешение», «когда одностороннее или обоюдное влияние двух языков распространяется не только на лексику (Wortschatz), но и на фонетику (Lautsystem), морфологическую систему и синтаксис одного или другого языка» (стр. 9). Если же влияние касается только лексики, то он предпочитает говорить о заимствовании.

Шенфельдер отстаивает термин «смешанный язык», определяя его как «язык, в котором не только неустойчивый, легко изменяемый слой лексики, но и основной словарный фонд содержит элементы другого языка» (стр. 11—12). К числу такого рода элементов автор относит первичные глаголы, предлоги, словообразующие форманты и т. д.

Во втором разделе Шенфельдер намечает несколько периодов в области изучения проблемы языкового смешения. Лексикографы XVIII в. большинство языков рассматривали как смешанные. С возникновением сравнительного языкознания исследователи вовсе отказались от термина «смешанный язык». Далее Шухардт объявил, что не существует ни одного несмешанного языка. С конца XIX в. наступает длительное увлечение теорией субстрата, ибо многое оставалось в пределах классического сравнительного языкознания необъясненным. Автор критикует Г. Хирта, предполагавшего, что в результате языкового смешения может возникнуть совершенно новый язык. Подробно проанализировав ряд работ, посвященных проблеме языкового смешения и теории субстрата, Шенфельдер в заключении рассматривает лингвистическую концепцию Марра. «Пожалуй, — пишет он, — нет второго такого языковеда, который бы так основательно занимался проблемой языкового смешения, смешанных языков и смесей языков, как Марр; и, можно сказать, что только немногие языковеды настолько не поняли сущности этой проблемы» (стр. 37). В критике концепции Марра автор в основном опирается на работы советских языковедов. Он также справедливо указывает, что нельзя делать вывод, будто проблемой языкового смешения не следует заниматься вовсе.

Третий раздел книги представляет для нас наибольший интерес, так как здесь делается попытка обоснования методики исследования автора. Шенфельдер настаивает, и с нашей точки зрения совершенно справедливо, на том, что преувеличение роли культурного фактора при рассмотрении вопроса об языковых контактах приводит к ошибочным выводам. «В противоположность заимствованию отдельных слов, связанных с развитием культуры

(Kulturlehnwörter), языковое смешение всегда предполагает двуязычие» (стр. 43). При этом не существенно, достигается ли полное двуязычие. Шенфельдер видит следующие предпосылки возникновения двуязычия: искусственные условия при изучении иностранного языка, контакты в пограничных в языковом отношении областях (например, Швейцария, Бельгия и т. п.), условия насильственного подчинения.

Изучив немецкий субстрат в английском языке Пенсильвании, т. е. процесс языкового смешения с известными ингредиентами, имевший место в недавнем прошлом, автор с понятным скептицизмом относится к древним «доиберийскому, доатрускому и докельтскому субстратам». При этом он полагает, что в подобного рода исследованиях необходимо всегда соблюдать ретроспективный метод (от современных процессов к древним и древнейшим).

Рассмотрение книги Шенфельдера приводит нас к следующим выводам.

1. Автор справедливо исключает из области заимствований проникающие в другой язык в результате языкового смешения (мы объединяем термины автора «языковое смешение» и «смешанный язык») первичные глаголы, предлоги, словообразующие форманты и т. д.

2. Нельзя не согласиться с утверждением автора о том, что слова заимствуются вместе с вещами и понятиями и, следовательно, заимствование как процесс мыслится в непосредственной связи с культурным влиянием, чего нельзя сказать о языковом смешении, возникающем на базе полного, либо частичного двуязычия.

3. Автор, проявляя вполне оправданный скептицизм по отношению к разному рода теориям субстрата, предлагает начинать изучение проблемы от «известного», т. е. от процессов, нашедших ясное отражение в памятниках письменности и живой речи. Однако он не показывает, как же перейти от этого «известного» к «неизвестному».

В заключение следует указать на полезность книги Шенфельдера, вводящего читателя в одну из актуальных проблем современной лингвистики. В конце книги приведена обширная библиография (126 названий).

В. В. Мартынов

L. Bloomfield. Eastern Ojibwa; Grammatical sketch, texts and word list. — Ann Arbor, 1956. 271 стр. (The University of Michigan press).

Опубликованное через семь лет после смерти Л. Блумфилда его исследование оджибва, являющегося одним из диалектов центрально-алгонкинского языка, представляет несомненный общезыковедческий интерес. Именно с этой стороны оно и будет рассмотрено в настоящей рецензии. Принципы и методы лингвистического исследования и описания, провозглашенные Л. Блумфилдом в его теоретических рабо-

тах, причем особенно в том виде, в каком эти принципы и методы выступают у таких его последователей, как Б. Блок, З. Харрис и др., неоднократно подвергались критике как в СССР, так и за рубежом. Такие постулаты, как строго дистрибутивный анализ на основе последовательных субституций и принципиальный отказ от обращения к значению описываемых форм (т. е. к значению в том обычном смысле, который непременно требует участия «носителя языка» или «информанта»), неоднократно отвергались языковедами самых различных школ и направлений, причем не только из теоретических соображений, как думают многие. Теперь уже можно также говорить и о практической малосостоятельности основных догм дескриптивной лингвистики¹. Вместе с тем претензии дескриптивной лингвистики и настойчивость, с которой продолжают утверждать упомянутые выше постулаты такие представители йельской школы, как Блок, Харрис и Хоккет, приводят к тому, что эти постулаты не перестают иметь некоторый успех, особенно у молодежи, привлеченной их «революционностью» и апелляцией к современным точным наукам². Легко себе представить поэтому, сколь многого ожидает читатель именно с общеметодологической стороны, раскрывающую работу, отведенную шестнадцатью годами от окончательного варианта книги «Language».

Однако надо сразу же сказать, что ожидания читателей, рассчитывавших найти в этой книге конкретное применение известных теоретических схем ее автора, оказываются обманутыми. Вместе с тем это очень хорошая и очень интересная книга, которую можно прочесть с большой пользой и удовольствием, даже не зная совсем алгонкинских языков. Ее общеязыковедческий интерес — в той ясной и полной картине, которую она дает в отношении данного малоизвестного языка. Примененные в ней методы в общем мало чем отличаются от методов, принятых в других описательных работах, и само исследование

Л. Блумфилда о языке оджибва может служить в некотором роде образцом для описания языков, не имеющих письменной традиции и перспектив дальнейшего развития, а известных лишь в очень узком «одновременном» («синхроническом») срезе.

В соответствии с общепринятым порядком, описание языка начинается со звуков, причем, тоже по традиции, — со звуков, сведенных к максимально ограниченному числу «звуковых инвариантов», или фонем. Перечисление сегментных фонем сопровождается сведениями о просодических особенностях, а именно — о конечном соединении, отмечающем конец фразы (phrase final), и конечном соединении, отмечающем конец предложения (sentence final). Тут же вводится понятие *с л о в а*, положение в котором обуславливает выбор того или другого варианта фонем. Любопытно, что раздел «Звуки» (Sounds) заканчивается отдельным параграфом, посвященным краткой характеристике фонетической структуры слова в оджибва (стр. 10). В описании отдельных звуков отсутствует дистрибутивная методика: по обычному способу старой «идентифицирующей» фонетики, краткое *a*, например, в оджибва характеризуется путем сопоставления его с аналогичными английскими и немецкими звуками. В отношении редуцированных гласных сохраняется морфологический подход, до сих пор очень распространенный и принятый многими языковедами, не имеющими отношения к йельской школе: редуцированные *e*, *u* рассматриваются как позиционные варианты полных (нередуцированных) *a*, *i*, *o*. Например, *-i* в *epini* «человек» и *-u* в *epinuwak* «люди» определяются как позиционные варианты одной и той же фонемы (стр. 5).

Самым обширным и наиболее детально разработанным разделом является «Морфология» (стр. 11—129). В первой главе этого раздела подробно и обстоятельно перечисляются все морфологические средства восточного оджибва. При этом не только уточняется содержание таких морфологических категорий, как окончания (endings) и нулевая морфема, но и вводятся понятия, не получившие еще общего распространения. Так, например, предлагаемое Блумфилдом сведение сложной системы словоизменения в языке оджибва к девяти морфологическим позициям несомненно заслуживает внимания. Иерархия позиций понимается так, что окончания более ранних по счету позиций образуют темы (themes), к которым окончания более поздних по счету позиций добавляются по тому же принципу, по какому они вообще присоединяются к основам (stems) (см. стр. 11 и сл.). Позиции описываются и разъясняются также не «дистрибутивно», а на основе детального изложения их смыслового содержания, т. е. выражения таких грамматических значений, как императивный объект, второе лицо, пассив и т. п. С описанием позиций связывается разъяснение морфологических процессов, управляющих словоизменением, таких, как изменение начала слова (initial change), префиксация и фле-

¹ См. особенно: E. H a u g e n, Directions in modern linguistics, «Language», vol. 27, № 3, 1951; H. H o i j e r, Native reaction as a criterion in linguistic analysis, «Reports for the Eight international congress of linguists», Oslo, 1957; K. L. P i k e, Interpenetration of phonology, morphology and syntax (там же); P. D i d e r i c h s e n, The importance of distribution vs. other criteria in linguistic analysis (там же).

² В первые ряды глашатаев этого направления выдвинулся теперь М. Джоос, прежде известный в языкознании только как автор статьи «Описание языковой модели» (M. J o o s, Description of language design, «Journ. of the Acoustical society of America», vol. 22, № 6, стр. 701—708). См. также его очень ярко написанные и остроумные примечания к изданной им хрестоматии по дескриптивной лингвистике («Readings in linguistics», Washington, 1957).

ксия. Здесь же подробно рассматривается система словообразования.

Детальная характеристика флективных категорий языка (categories of inflection) дает основу для описания системы его частей речи (parts of speech). Определяющая каждую из частей речи система категорий подробно характеризуется со стороны их содержания, значения. Каждая из таких характеристик разъясняется на большом количестве примеров, неизменно сопровождаемых переводами на английский язык.

Раздел, посвященный синтаксису, очень невелик по объему (130—143 стр.). Это объясняется, видимо, трудностью разграничения в полисинтетических языках элементов синтаксиса и синтагматики. Данный вопрос, впрочем, окончательно не разрешен даже в таких хорошо изученных языках, как индоевропейские. К синтаксическим категориям (собственно говоря, к «синтаксическим знакам» — syntactic signs) Блумфилд относит, не делая между ними различия, такие, казалось бы, разные явления, как порядок слов, положение глагольного элемента (verbal order and mode) и согласование, с одной стороны, и «перекрестную связь» (cross reference), заключающуюся в дополнении лично-анафорического эле-

мента словоизменения независимым выражением — словом или фразой (например, «Джон его-нож»=Джонов нож), и относительную связь (relative reference), которая соединяет «форму», включающую относительный корень с его антецедентом (например, «восемьдесят столько-то зим» — восемьдесят лет), с другой стороны. Кроме того, в реестр «синтаксических знаков» вводится еще категория «устранения» (obviation), позволяющая различать между, например: *Он взял свою* (собственную) *шляпу* и *Он взял его* (другого лица) *шляпу* (по-английски в обоих случаях будет *его* — *his*). Поскольку, однако, по свидетельству Блумфилда, этим различием носитель оджибва фактически часто пренебрегает, вопрос о включении или невключении данного явления в категории синтаксиса снимается сам собой.

Почти половина рецензируемой книги отведена под «Предложения» (sentences), «Тексты» и «Список слов» (стр. 147—268). В этом большая ценность работы, так как фиксация столь значительного фактического материала с переводами на английский язык уже сама по себе представляет важный вклад в науку.

О. С. Ахманова

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

ВОПРОСЫ СЛАВЯНСКОЙ ПРАРОДИНЫ НА IV МЕЖДУНАРОДНОМ СЪЕЗДЕ СЛАВИСТОВ

Исторические свидетельства VI—XI вв. н. э. очерчивают обширную территорию от Эльбы до Оки и от Балтийского до Средиземного моря, занятую различными славянскими племенами. Установление более ранних границ и внутреннего членения славянской области основывается в основном на данных языкознания и археологии. Поэтому работавшая на IV Международном съезде славистов подсекция «Происхождение славянских языков и народов» объединила представителей этих двух наук для обсуждения многочисленных докладов, носивших итоговый характер или намечавших новые пути исследования. Разнообразные по тематике, эти доклады в конечном счете освещали различные географические и хронологические аспекты проблемы расселения и передвижения славян со времени выделения праславянского языка из индоевропейской общности.

1. Упомянутый выше период ранних исторических свидетельств о славянах (VI—XI вв.) является в основном периодом колонизации новых территорий, на которые в предшествующую эпоху распространялись славянские племена (или же «деславянизации» части этих территорий в результате новых этнических движений). Имеющиеся скудные исторические свидетельства используются для освещения этих процессов далеко недостаточно. С тем большим интересом были восприняты попытки нового истолкования записей источников: рассмотрение западнославянских этнонимов, упомянутых в XI в. так называемым Баварским географом (М. Рудницкий)¹, и анализ названий византийских крепостей к югу от Дуная в известном труде (VI в.) Прокопия Кесарийского (В. Георгиев)².

¹ См. M. R u d n i c k i, Geograf Bawarski w oświeceniu językoznawczym, «Z polskich studiów slawistycznych. Prace język. i etnogen...», Warszawa, 1958. Давая этимологии почти 60 этнонимов, автор ряд из них, прежде считавшихся германскими, истолковал как славянские.

² Вл. Георгиев, Най-старите славянски местни имена на Балканския полуостров..., «Български език», год. VIII, кн. 4—5, 1958. То же в кн: В. Георгиев, Въпроси на българската етимология, София, 1958, стр. 67—88. Выводы В. Геор-

Основательное обсуждение методов и результатов этих работ, несомненно, еще впереди. Новый материал для уточнения движения новгородских словен к северу после X в. дается в анализе восточнославянских заимствований в вепских, карельских и вотских диалектах, проделанном Ф. Ойнасом³.

2. Несколько докладов было посвящено времени активных славянских переселений (около II—VI вв. н. э.). Важнейшее из этих переселений — движение славян на Балканы — сопровождалось контактом пришельцев с многоязычным населением вновь освоенных земель, в частности с носителями так называемой «балканской латыши»⁴. Локализацию этого контакта в районе современного сербско-болгарского пограничья⁵ подтверждает установленный в докладе Э. Петровича⁶ ареал собственно болгарско-славянской топонимики на территории Румынии (Олтения, Зап. Мунтения, сев. граница — р. Муреш).

Полнотой интерпретировать данные диалектологии южнославянских языков для нового подхода к проблеме переселения

гива (богатая славянская топонимика на территории Болгарии, особенно Западной, уже в VI в.), если его этимологии выдержат тщательную проверку, потребуют пересмотра датировки движения славян на Балканы.

³ См. F. J. O i n a s, Russian and Eastern Balto-Finnic linguistic contacts, 's-Gravenhage, 1958.

⁴ Активное взаимодействие этого балканского субстрата со славянским суперстратом, особенно же с восточной частью славян-переселенцев, неоднократно подчеркивалось в последнее время. Ср. замечания И. Дуриданова, В. Георгиева, Э. Петровича и Р. Г. Пиотровского [Сборник ответов на вопросы по языкознанию, М., 1958, стр. 199—206, 221—225].

⁵ Ср. М. Павловић, Перспективе и зоне балканистичких језичких процеса, «Јужнословенски филолог» (ЈФ), XXII, 1958.

⁶ Э. Петрович, Славяно-болгарская топонимика на территории Румынской Народной Республики, «Romanoslavica», I, București, 1958.

славян на Балканы был доклад П. Ивича¹. Сербский лингвист определяет направление основных изоглосс на южнославянской территории, прослеживает пучок важных изоглосс на древней границе между восточной и западной ветвями южных славян (по линии Видин—Осогово)² и делает вывод о формировании основных южнославянских особенностей уже в период расселения на Балканах³.

Ряд интересных данных в решении этой проблемы дает изучение ареалов отдельных топонимических типов, проведенное для юго-восточной части южнославянской области И. Дуридановым⁴, для ее северо-западной части — Ф. Безлаем⁵. Рассматриваемые последним параллелизмы в топонимике Северо-Западной Словении и Центральных Карпат свидетельствуют, по мнению автора, о ряде последовательных миграций предков южных славян из районов Закарпаття.

Начальная стадия движения славян на юг представляет, несомненно, их переход через Карпаты. В освещении этого процесса ценные данные мог бы предоставить анализ новой лексики, созданной или усвоенной славянами в новой для них географической среде. Частично привлечение в работе Ф. Безлая лексические данные среднесловацких и закарпатских украинских говоров еще ждут детального исследования.

Освещение этнических движений славян на территории к северу от Карпат связано со значительными трудностями. Северо-восточная граница славянства устанавливается на основании датировки древнейших (восточно-) славянских заимствований в финских языках. В. Кипарский, усиленно разрабатывающий эти вопросы в последнее время, в своем докладе на съезде по-прежнему выдвигает гипотезу о возможности более раннего контакта восточных славян с финнами, чем с балтийцами⁶ (речь идет о вторичном славяно-

балтийском контакте); это, однако, требует новой интерпретации результатов исследований по балтийской топонимике, проведенных в свое время М. Фасмером. Вообще вопрос о поздних славяно-балтийских отношениях в этом районе, прежде всего о влиянии балтийского субстрата на южно-среднерусские говоры, еще ждет решения.

В установлении восточной границы славянства в этот период сделаны крупные успехи благодаря работам советских археологов. Характеризуя в своем докладе зарубинецкую культуру как славянскую, П. Н. Третьяков считает восточным рубежом славянской области в начале нашей эры район средней Десны⁷. Продолжающийся между археологами спор о готском или славянском характере черняховской культуры (II—V вв. н. э.) с лингвистической точки зрения может быть решен детальнейшим анализом ареалов готских заимствований в праславянском. Определение пути движения готов по славянской территории и длительности их пребывания на ней имеет первостепенное значение и для хронологии диалектного членения праславянской области.

Западная граница славянства в этот период определяется наиболее гипотетически. Некоторый дополнительный материал для ее локализации дает полабская лексика, как показала Б. Шидловска-Целёва⁸. Топонимическая стратиграфия, разрабатываемая С. Роспондом⁹ (установление пространственно-временных ареалов отдельных словообразовательных топонимических типов), возможно, прольет больше света на эту проблему.

3. В период еще более ранний (I тысячелетие до н. э.) с определенностью можно локализовать славянскую область лишь к северу от Карпат¹⁰. Попытки уточнения ее локализации по-прежнему находятся в области гипотез, зачастую полностью исключаящих одна другую. Спорным прежде всего является вопрос о западной границе славянства. Распространенные в настоящее время взгляды польской школы лингвистов и археологов были широко

¹ П. И в и ĥ, Значај лингвистичке географије... ЈФ, XXII, 1958. Аналогичные методы применяет и И. Попович. Ср. I. P o p o v i ć, Zur Urgeschichte der Serben in Panonien, ZfslPh, Bd. XXVII, Hf. 1.

² Это положение вызвало на съезде ряд серьезных возражений Ц. Тодорова.

³ Взгляды П. Ивича, таким образом, во многом близки к недавно высказанной точке зрения Ф. Славского (F. S ł a w s k i, Ugrupowanie języków południowo-słowiańskich. BPTJ, zes. XIV, fasc. XIV, 1955).

⁴ И. Дуриданов, За някои редки словообразователни типове в българската топонимия..., «Славистичен сборник», I — Езикознание, София, 1958; е г о ж е, Топонимичните δ-суфиги в южнославянските езици, «Български език», год. VIII, кн. 4—5.

⁵ F. B e z l a j, Stratigrafija slovanov v luči onomastike, «Slavistična revija», letn. XI, 1—2, 1958.

⁶ Ср. В. К и п а р с к и й, О хронологии славяно-финских лексических отношений, «Scando-slavica», t. IV, 1958. О

возможности более ранних славяно-финских контактов (отрицаемых В. Кипарским) см. П. А. А р и с т а, Формирование прибалтийско-финских языков и древнейший период их развития, «Вопросы этнической истории эстонского народа», Таллин, 1956.

⁷ П. Н. Т р е т ь я к о в, Итоги археологического изучения восточнославянских племен, М., 1958.

⁸ B. S z y d ł o w s k a - C e g ł o w a, Semantyczna analiza połabskiego zasobu leksykalnego, «Z polskich studiów...».

⁹ S. R o s p o n d, Stratigrafia toponimiczna, «Z polskich studiów...».

¹⁰ Особенно от этой общепринятой точки зрения стоят взгляды М. Будимира, считающего, что славянская прародина была близка к балканско-анатolianским культурам (ср. М. Б у д и м и р, Protoslavica, «Славянская филология. Сб. статей», II, М., 1958).

представлены на съезде¹. В последнее время против этой точки зрения (славянской является территория по крайней мере к востоку от Одры) еще раз выступил К. Мошинский, отодвигающий западную границу славян в Поднепровье на основании анализа гидронимии и лингвистикопалеоботанических аргументов².

Уточнение западной границы славянства стало бы возможным, если бы были известны соседи славян в этом районе. Недавно вновь было выдвинуто предположение, что таковыми являлись кельты. Т. Лер-Сплавинский, опираясь на археологические свидетельства, проводит восточную границу кельтской экспансии (IV в. до н. э.) по территории Малой Польши³; анализ ряда праславянских заимствований из кельтского и кельтской гидронимии подтверждает это предположение. Другие считают западными соседями славян венетов-иллирийцев (Я. Чекановский). Материалы, опубликованные недавно Г. Крае⁴, дают предпосылки к новому освещению венетской проблемы.

До сих пор нет даже приблизительной хронологии наиболее ранних славяно-германских контактов на западе. Выступавший на съезде В. В. Мартынов склонен предполагать длительное соседство и взаимопроникновение славян и германцев в этих районах⁵; в таком случае, очевидно, исключается существование каких-либо иноязычных племен между ними. Определение северо-западной границы славян в этот период станет возможным лишь после анализа славянской морской терминологии⁶, их юго-восточной границы — лишь

после рассмотрения северогерманских заимствований и топонимики⁷.

4. Период более ранний, чем рассмотренный выше, ставит перед исследователями прежде всего проблемы балто-славянских отношений, детально рассматривавшиеся на съезде⁸, и отношений праславянского к другим индоевропейским диалектам. Здесь все больше выдвигается на первый план мысль о существовании северной индоевропейской диалектной группы, включающей славянские, балтийские, германские⁹ и, возможно, тохарские¹⁰ диалекты. Усиленно разрабатывался в последнее время также вопрос о хетто-славянских параллелизмах¹¹.

Разработка проблем этого периода будет во многом зависеть от прочности той основы (сведения о периодах более поздних), на которую опирается исследователь. Преимущество лингвиста перед археологом — возможность путем анализа какой-либо древнейшей черты языка проникнуть в «глубокий пласт» его истории — таит в себе определенные опасности: ведь наличие этого «пласта» должно отразиться и подтвердиться в «слоях» более поздних. Минувший съезд сделал своего рода свод разрозненных находок в различных хронологических «пластах». При этом стало ясно, как велики еще «белые пятна» на временной и пространственной карте славянских и соседних им земель, какие сложные задачи стоят перед будущими исследователями.

В. М. Иллич-Свитыч

¹ Они излагались (частично) в докладах Т. Лера-Сплавинского, Я. Чекановского, В. Генселя.

² K. Moszyński, Pierwotny zasięg języka prasłowiańskiego, Wrocław — Kraków, 1957. См. рецензию В. Н. Топорова в ВЯ, 1958, № 4.

³ T. Lehr-Spławiński, Kilka uwag o stosunkach językowych celtycko-prasłowiańskich, «Rocznik slawistyczny», t. XVIII, cz. 1. Ср. рецензию М. Рудницкого в «Lingua posnaniensis» (VI, стр. 171—175).

⁴ H. Krahe, Vorgeschichtliche Sprachbeziehungen von den Lausischen Ostseeländern..., Mainz-Wiesbaden, 1957 (см. рецензию В. П. Шмидта в «Beiträge zur Namenforschung», Bd. 9, Hf. 2, 1958, стр. 208—210).

⁵ См. «Сборник ответов на вопросы по языкознанию», стр. 188—190.

⁶ Рассмотрение одного слова **morje* (см. И. Попович, «Сборник ответов на вопросы по языкознанию», стр. 180) мало что дает в этом отношении. Ср. результаты анализа словацк. *morské oko* «небольшое горное озеро», проделанного А. В. Исаченко (сб. «Езиковецки изследвания в чест на акад. Ст. Младенов», София, 1957).

⁷ Славяно-скифские связи рассматривались в сообщении К. Треймера (по мнению автора, скифы — не иранцы) (см. К. Treimer, Skythisch, Iranisch, Slavisch, «Wiener slavistisches Jahrbuch», Bd. VI, 1957/58).

⁸ См. ВЯ, 1959, № 1, стр. 139—141.

⁹ Ср. В. Георгиев, Балто-славянский, германский и индо-иранский, «Славянская филология...», I.

¹⁰ Ср. T. Lehr-Spławiński, Zur Frage nach der Stellung des Slavischen und des Tocharischen innerhalb der indoeuropäischen Sprachenwelt, «Wiener slavistisches Jahrbuch», Bd. VI; В. Георгиев, Балто-славянский и тохарский языки, ВЯ, 1958, № 6; см. также Вяч. В. Иванов, Тохарская параллель к славянским уменьшительным формам, «Славянская филология...», II.

¹¹ Ср. Вяч. В. Иванов, О значении хеттского языка для сравнительно-исторического исследования славянских языков, ВСЯ, вып. 2, М., 1957; V. Machek, Chetitské paralely k slovanskému tvoření slov, в сб. «K historickosrovnávacímu studiu slovanských jazyků», Praha, 1958.

ВОПРОСЫ ГЛАГОЛЬНОГО ВРЕМЕНИ НА IV МЕЖДУНАРОДНОМ СЪЕЗДЕ СЛАВИСТОВ

В последние годы в славистической науке заметно оживился интерес к проблемам глагольного времени. Серьезное внимание этой категории глагола было уделено и на IV Международном съезде славистов. В материалах съезда и тематически примыкающих к ним новейших публикациях были освещены следующие вопросы: 1) теория индикативного и релятивного употребления времен (М. Стеванович)¹; 2) структурный анализ временных категорий (А. Г. Ф. Ван-Холк, М. Ивич)²; 3) истории отдельных временных форм (С. Стойков, Ф. Копечный, Ж. Жоанне)³; 4) соотносительное употребление времен в рамках сложного предложения (В. Боек)⁴.

Не имея возможности одинаково подробно рассмотреть все эти вопросы (как показывает их перечень, весьма разнородные), мы остановимся лишь на первой проблеме, вызвавшей особый интерес участников съезда, и на некоторых моментах второй и третьей проблем.

В докладе М. Стевановича отражено современное состояние учения о синтаксическом индикативе и релятиве в плане творческой разработки концепции А. Белича⁵ и полемики с учеными, не разделяющими ряда положений этой концепции. Как известно, согласно теории А. Белича, индикативным, или прямым, является такое употребление временной формы, когда время действия определяется с точки зрения момента речи; при релятивном же употреблении действие непосредственно ориентируется по отношению к какому-либо моменту вне времени речи. Отметим, что, несмотря на сходство формулировки значений индикатива и релятива с тради-

ционными определениями абсолютных и относительных времен, между этими категориями имеется существенное различие. Индикатив по своему объему уже абсолютного времени, релятив — шире относительного. Иначе говоря, в теории Белича по сравнению с концепцией Грассри, Бругмана, Шталя расширена область относительного употребления времен за счет абсолютного.

Нам представляется, что это различие обусловлено характерным для теории Белича пониманием соотносительности времени действия с какой-то точкой отсчета не только как чисто грамматического отношения, но и как семантической и психологической связи. Именно поэтому, скажем, в примере типа *Он сие више огништа на плаче*⁶ «Он сел у очага и плачет» перфект *сиде* с точки зрения теории Белича употреблен в релятиве (время этого действия, являющегося частью повествования, непосредственно соотносится не с моментом речи, а с одним из сменяющихся моментов прошлого); между тем с точки зрения традиционной теории здесь речь идет об абсолютном времени.

В учении о синтаксическом индикативе и релятиве существенное значение имеет тот факт (подчеркнутый А. Беличем в его выступлениях в прениях), что в индикативе невозможно заменить одну временную форму другой, тогда как в релятиве такая замена оказывается возможной.

Среди сторонников рассматриваемой теории нет полного единства в трактовке употребления ряда временных форм. Так, определяя имперфект в сербскохорватском языке как время, употребляющееся лишь в релятиве, М. Стеванович расходится с мнением А. Стойчева, П. Сладоевича⁷ и некоторых других ученых, допускающих и индикативное употребление этой формы. Подробная аргументация точки зрения М. Стевановича в его специальном исследовании о значении имперфекта⁸, как нам представляется, все же не может отвести несомненные диалектные и литературные примеры индикативного имперфекта, приведенные П. Сладоевичем⁹. Что касается перфекта, то представляется вполне оправданным отказ М. Стевановича от критерия временной пометы (обстоятельства времени) как фактора, определяющего релятивность этой формы. М. Стеванович, безусловно, прав, говоря о том, что наличие показателя времени, обозначающего, когда имен-

¹ М. Стеванович, Начин одређивања значаја глаголских времена, «Јужнословенски филолог» (ЈФ), XXII, 1957—1958.

² А. Г. Ф. van Holk, On the semantic mechanism of the Russian tenses, 's-Gravenhage, [1958]; М. Ивич, Системличних глаголских облика за обележавање времена у српскохрватском језику, «Годишњак филозофског факултета у Новом Саду», књ. III, Нови Сад, 1958.

³ Ст. Стойков, Изчезването на имперфект и аорист в банатския говор, «Славистичен сборник», т. I, София, 1958; Ф. Копечный, *Príspěvek k problemu slovanského přičestí l-ového*, «Славянская филология. Сб. статей», II, М., 1958; J. Johanne, De l'aoriste imperfectif dans la Chronique laurentine, RESI, t. 34, fasc. 1—2, 1957 (доклад Ж. Жоанне, к сожалению, не состоялся).

⁴ W. Boeck, Der Tempusgebrauch in der russischen Objekt- und Subjektsätzen, seine historische Entwicklung und sein stilistischer Wert, ZfS, Bd. III, Hf. 2—4, 1958.

⁵ См., например, А. Белич, О језичкој природи и језичком развоју, 2-е изд., Београд, 1958, стр. 195—213 и другие работы того же автора.

⁶ Пример из П. Кочича приведен М. Стевановичем (стр. 41).

⁷ См.: А. Стојићев и Ђ. Значење аориста и имперфекта у српскохрватском језику, Ljubljana, 1951; П. Сладојевић, О имперфекту у српскохрватском језику, ЈФ, XX, 1953—1954.

⁸ М. Стеванович, Значење имперфекта према употреби у језику П. П. Његоша, ЈФ, XX, 1953—1954.

⁹ П. Сладојевић, указ. соч., стр. 216—217.

но происходило действие, отнюдь не исключает индикативного употребления перфекта¹.

До сих пор нельзя считать решенным вопрос о том, к какой из рассматриваемых категорий следует отнести употребление глагольных форм в абстрактном (вневременном, гномическом) и повторительном значении. Мнения ученых по этому вопросу расходятся. Так, Н. С. Поспелов считает такое употребление индикативным². По мнению Л. Андрейчина, повторительное настоящее время объединяет в себе элементы и релятивного и индикативного (по Л. Андрейчину, реального) настоящего³. М. Стеванович вслед за А. Беличем считает, что данное употребление в основном является релятивным. Трудность решения вопроса, как правильно отмечает М. Стеванович, заключается в том, что в данном случае действие не проектируется ни на момент речи, ни на какой-либо другой момент, но одинаковым образом относится к любому времени. Думается, что эта трудность не преодолевается ни одной из существующих теорий. Действительно, при вневременном употреблении (типа *Новая метла чисто метет*) мы не можем говорить о синтаксическом индикативе, так как здесь отсутствует ориентация времени действия (определенного времени в данном случае как раз и нет: время всеобщее, любое) на момент речи. Вместе с тем случаи такого типа не подходят и под понятие релятива, так как здесь нет соотнесенности действия с каким-либо моментом вне времени речи (ведь нельзя же говорить о соотнесенности с любым моментом, т. е. ни с каким в частности и со всеми в целом). Попытки вместить употребление рассматриваемого типа в рамки индикатива или релятива нельзя признать удачными, так как факты в эту схему не укладываются. Не случайна оговорка М. Стевановича относительно того, что вневременное употребление глагольных форм невозможно связать исключительно с одной синтаксической категорией (индикативом, релятивом или модусом)⁴.

¹ Н. С. Поспелов уже в 1947 г. (см. его статью «Учение А. Беллча о синтаксическом индикативе и синтаксическом релятиве», Докл. и сообщ. филол. фак-та МГУ», вып. 3, 1947) указал на спорность понимания А. Беличем различия между индикативом и релятивом в зависимости от наличия или отсутствия в предложении адвербиальных показателей времени.

² См. Н. С. Поспелов, Прямое и относительное употребление форм настоящего и будущего времени глагола в современном русском языке, сб. «Исследования по грамматике русского литературного языка», М., 1955, стр. 210, 222—223.

³ См. Л. Андрейчин, Основна българска граматика, София, 1942, стр. 218.

⁴ См. М. Стеванович, Начин одређивања значења глаголских времена, стр. 46. Трудно, однако, согласиться с М. Стевановичем, что это обстоятельство (отмеченное уже А. Беличем) не противоречит при-

нам представляется, что решение данного вопроса вряд ли может быть однозначным для всего языкового материала, подводимого под понятие «гномического и квалификативного употребления времени», поскольку этот материал далеко не однороден с точки зрения степени абстрагированности времени действия. Что касается собственно вневременного употребления, то, по-видимому, эта область значения глагольных форм вообще находится в иной плоскости, чем область индикативного и релятивного употребления времени. Вне сферы распространения этих категорий. Нам кажется, что назрела необходимость выяснить, в каком отношении находится друг к другу категории синтаксического индикатива и релятива, с одной стороны, и категории актуальности и неактуальности глагольного действия, с другой⁵.

Среди сторонников теории синтаксического индикатива и релятива имеются известные расхождения в самом понимании этих категорий. Так, Н. С. Поспелов считает, что индикативное и релятивное употребление форм времени различается по характеру отражения во временных значениях глагольных форм связи субъекта и действия с объективным содержанием реальной действительности. При синтаксическом индикативе реальная действительность отражается в формах времени непосредственно, при релятиве же — косвенно, опосредованно. Такое толкование рассматриваемых категорий Н. С. Поспеловым вытекает из его понимания настоящего не как момента речи, а как широкого временного синтеза, в котором непосредственно реализуется объективная действительность и глагольное действие прикрывается к субъекту действия⁶. Эту концепцию синтаксического индикатива и релятива Н. С. Поспелов решительно отстаивал в своем выступлении на съезде. Против указанных положений возражал в своем докладе М. Стеванович. Он полагает, что определение времени действия по отношению ко времени речи говорящего лица как к точке отсчета — это языковая действительность, отражающая действительность реальную, и поэтому данная Н. С. Поспеловым характеристика понятия времени говорящего лица как понятия идеалистического является необоснованной⁷. По мне-

знанию вневременного употребления в основном релятивным.

⁵ Первые шаги в этом направлении уже сделаны. Ср. Н. К ř í ž k o v á, K problematice aktuálního a neaktuálního užití časových a vidových forem v češtině a v ruštině, «Československá rusistika», № 4, 1958.

⁶ См. Н. С. Поспелов, указ. соч., стр. 208—209, 245.

⁷ Ср. критику точки зрения Н. С. Поспелова у других авторов: Г. М. Милейковская, О соотношении объективного и грамматического времени, ВЯ, 1956, № 5, стр. 75—77; Н. К ř í ž k o v á, указ. соч., стр. 186.

нию М. Стевановича, с реальной действительностью одинаковым образом связано как индикативное, так и релятивное употребление времен.

Если отвлечься от различий в философской трактовке понятия «настоящего», обуславливающих соответствующие различия в теоретическом толковании синтаксического индикатива и релятива, и принять во внимание чисто лингвистическую (и практическую) сторону вопроса, то становится ясным, что расхождения между Н. С. Поспеловым и М. Стевановичем (и всей белградской школой) не так уж велики: в принципе ученые говорят об одном и том же. Чтобы убедиться в этом, достаточно рассмотреть тот конкретный языковой материал, который анализирует в своих работах Н. С. Поспелов, и такие его определения, как, например, следующее: «...при индикативном употреблении прошлое и будущее непосредственно соотносятся с настоящим, тогда как при релятивном употреблении они отрешены от непосредственной связи с настоящим и осуществляют то или иное временное значение по отношению к какому-либо моменту прошлого или (реже) будущего»¹.

В выступлении Е. И. Деминой была дана структурная интерпретация значений временных форм, которая, несмотря на сохранение важнейших понятий теории А. Белича, существенно изменяет принцип классификации времен. На основе анализа системы времен болгарского глагола XVII—XVIII вв. Е. И. Демина выделяет времена относительные (перфект, плюсквам-перфект, будущее в прошедшем, прошедшее в будущем) и абсолютные (настоящее время, аорист, имперфект и будущее). Формам относительного времени присущее указание на двойственность временной характеристики действия (т. е. на посредствующий период в его отношении к моменту речи). Это указание рассматривается как положительный коррелятивный признак. Формы неотнесенных времен не содержат в своем значении такого указания, а поэтому могут обозначать как действия, время совершения которых определяется по отношению к какому-либо моменту вне момента речи (причем в данном случае на посредствующий момент указывает контекст), так и действия, время совершения которых определяется непосредственно по отношению к моменту речи. Отметим, что проводимое Е. И. Деминой четкое разграничение двух групп глагольных времен нашла поддержку в выступлении Л. А. Ндрейчина, подчеркнувшего необходимость отличать релятивные времена от релятивного употребления форм, обычно выступающих в индикативе.

В выступлении А. В. Бондарко было высказано мнение, что при релятивном употреблении глагольных форм время действия определяется или по отношению к какому-либо времени вне момента речи, или по отношению к этому времени и вместе

с тем к моменту речи. Иначе говоря, при релятивном употреблении время действия имеет или одну точку отсчета, которая не есть момент речи, или две точки (включая момент речи). Отмечается также, что следует различать два типа релятивного употребления времен. 1-й тип характеризуется чисто грамматическим отношением времени данного действия ко времени другого действия (одновременность, предшествование или следование) и соответствует традиционному понятию относительного употребления времен. 2-й тип отличается семантической соотнесенностью времени действия с временным планом, находящимся вне момента речи, и отсутствием такой соотнесенности со временем речи («отрешенностью» от этого времени), что не исключает, однако, возможности чисто грамматического отношения к моменту речи как к точке отсчета.

Переходим к вопросам структурной характеристики временных категорий. При этом мы ограничимся кратким изложением основных положений упомянутой выше статьи М. Ивич, представляющей значительный интерес как первый опыт структурного анализа системы временных форм сербскохорватского глагола.

Автор выделяет 4 критерия, обуславливающих группировку оппозиций, типичных для данной системы: 1) D — динамическая конкретизация действия, т. е. свойственное личным формам глагола выражение действия в его реальном, динамическом проявлении. Этот момент может иметь для данной формы релевантное значение (D [+]), но может и не иметь его (D [—]); 2) T — определение времени действия как прошедшего (T [+]) или будущего (T [—]) по отношению к моменту речи; 3) A — понимание действия как процесса в его течении (A [+]) или отсутствие такого понимания (A [—]); 4) V — связь времени данного действия с временем другого действия (V [+]) или отсутствие такой связи (V [—]).

Вся система времен, представленная в виде формулы, получает следующее выражение:

Настоящее время = D [+] A [+]
Аорист = D [+] T [+] A [—]
Имперфект = D [+] T [+] A [+]
Перфект₁ = D [—] T [+] V [—] A [+]
Перфект₂ = D [—] T [+] V [+]
Будущее₁ = D [—] T [—] V [—] A [+]
Будущее₂ = D [—] T [—] V [+]

Автор отмечает, что релевантный признак D присущ синтетическим формам, тогда как формы, не обладающие таким релевантным признаком, являются аналитическими. Лишь аорист и имперфект характеризуются сочетанием релевантных признаков D и T. У остальных форм релевантным является лишь один из этих признаков.

² М. Ивич использует термины «перфект», «будущее» вместо неудачных, по ее мнению, терминов «давнепрошедшее» и «преждебудущее время».

¹ Н. С. Поспелов, указ. соч., стр. 214.

Временная характеристика ($T[+]$ или $T[-]$) свойственна всем формам, входящим в систему, за исключением настоящего времени, которое является в этом отношении нейтральной категорией. Определенная видовая характеристика свойственна лишь тем формам, которые обладают релевантным признаком D (имперфект ограничен несовершенным видом, аорист — в основном совершенным, презенс ограничен несовершенным видом при выражении конкретного настоящего времени речи). Остальные временные формы не обуславливают сами по себе выбора вида. С точки зрения критерия V, охватывающего формы, которые не обладают релевантным признаком D, перфект₁ и будущее противопоставляются перфекту₂ и будущему₂.

Процесс исчезновения имперфекта и аориста, обнаруживающийся в ряде говоров и в некоторой степени в современном литературном сербскохорватском языке, автор объясняет изолированным положением этих времен в системе. Имперфект и аорист, в отличие от других времен, обременены двойкой характеристикой ($D[+] + T[+]$), которая не является типичной для системы в целом. Данные формы отличаются от других строго определенной видовой характеристикой ($A[+]$ для имперфекта, $A[-]$ для аориста). Кроме того, эти формы нарушают симметрический характер оппозиции прошедших времен будущим; в самой группе претеритальных времен обнаруживается недостаток непосредственных оппозиционных связей между перфектом₁ и перфектом₂, с одной стороны, и аористом и имперфектом, с другой.

Выделение релевантных признаков временных форм сербскохорватского глагола и анализ их взаимосвязей в работе М. Ивич нам представляется в целом убедительным, хотя отдельные моменты и кажутся спорными. Так, критерий T, согласно которому прошедшие времена, имеющие позитивную характеристику ($T[+]$), противопоставляются будущим временам, характеризующимся негативно ($T[-]$), не соотносительен со всеми прочими критериями, у которых позитивная характеристика ($[+]$) означает наличие, а негативная ($[-]$) — отсутствие данного релевантного признака. Недостаточно ясным и определенным представляется критерий D. В схеме, предложенной М. Ивич, как нам кажется, недостаточно отражены специфические особенности перфективного презенса. Однако в целом, как уже говорилось, первый опыт структурного анализа системы времен, функционирующих в сербскохорватском языке, следует признать в основном удачным.

Остановимся теперь на вопросах, связанных с историей отдельных временных форм в славянских языках (в материалах IV Международного съезда славистов речь идет об аористе, имперфекте и перфекте). В широком теоретическом плане трактует вопрос о судьбе простых прошедших времен в банатском говоре болгарского языка С. Стойков. Если учесть сохранность имперфекта и аориста в болгарском языке, значительный интерес представляет самый

факт исчезновения этих времен в банатском говоре. Весьма поучительны детали процесса падения указанных форм, позволяющие в ряде случаев провести параллель между фактами исследованного С. Стойкова говора и имеющимися в науке данными об исчезновении простых прошедших времен в ряде славянских языков. Так, С. Стойкову удалось установить, что падение имперфекта в банатском говоре относится к более раннему периоду (не позднее 2-й половины XVIII в.), чем исчезновение аориста (не позднее начала XIX в.). По мнению автора, формальному смешению рассматриваемых времен (точнее, расширению аористных форм за счет имперфектных) и их падению как временных форм предшествовало семантическое выравнивание, исчезновение специфических значений имперфекта и аориста. Именно утрата характерных значений обуславливает падение форм. Простые прошедшие времена были вытеснены перфектом, расширившим свое значение и употреблением превратившимся в претерит.

Новым и очень интересным представляется предположение С. Стойкова о причинах сохранения простых прошедших времен как живых форм в болгарском и македонском языках, представляющих собой исключение из общей тенденции развития всех славянских языков (включая сербскохорватский и лужицкие, в которых аорист и имперфект переживают процесс утраты). В объяснении этого явления автор отводит значительную роль пересказывательному наклонению. В банатском говоре, не имеющем пересказывательных форм, перфект не был функционально и формально обременен и поэтому мог легко сблизиться с аористом. В болгарском же языке в целом (а также македонском) благодаря наличию форм пересказывания установились позиционные связи между формами имперфекта и аориста, перфекта и пересказывательного наклонения (*четях : четох — четях съм : чех съм*). Эти позиционные связи создали условия для сохранения каждого члена противопоставления не только как формы, но и как значения.

Иное объяснение факта исчезновения простых прошедших времен в одних славянских языках и их сохранения в других выдвинул, исходя из своей теории синтетизации перфекта, Ф. Копечный¹. Его мысль вкратце сводится к следующему.

¹ Помимо указанной выше статьи, в которой автор лишь попутно касается данного вопроса, см.: Ф. Кореџи, *Problém českého přičestí minulého čísného* v historii českého mluvnictví, «Сборник в чест на акад. А. Теодоров-Балан», София, 1955; см. также Ф. Кореџи, *Základy české skladby*, Praha, 1958, стр. 93—95. Ср. возражения Ф. Травничка против ряда положений Ф. Копечного относительно чешских глагольных форм (Ф. Trávníček, *K českým opsaným tvarům slovesným*, SaS, ročn. XIX, číslo 1, 1958) и ответ Ф. Копечного (SaS, ročn. XIX, číslo 4). Пользуемся здесь термином Ф. Копечного «synthetisace».

Праславянский перфект типа *pisal esmь* имел аналитический характер. В южнославянских и в лужицких языках до сих пор сохранился ряд формальных признаков, свидетельствующих о самостоятельности связочного глагола: а) его положение в предложении, например сербскохорват. *jeste-li чули?*; б) постановка отрицательной частицы при связочном глаголе, например болг. *не съм чел*; в) возможность повторения в ответе на вопрос лишь глагола-связки, например болг. *Не си ли ги виждал?* *Не съм*. На славянском севере (кроме лужицких языков) перфект утратил свой аналитический характер, подвергся синтетизации, что проявилось в утрате отмеченных выше формальных признаков. Обе части бывшего перфекта утратили свою самостоятельность, связочный глагол превратился в морфему, обозначающую грамматическое лицо, подобно обычной глагольной флексии. Синтетизация перфекта на славянском севере (наряду с такими факторами, как совпадение форм 2-го и 3-го лица у старых простых прошедших времен и развитие глагольного вида) явилась одним из важнейших импульсов к исчезновению аориста и имперфекта. О влиянии синтетизации перфекта на падение этих времен свидетельствует тот факт, что именно в тех языках, где перфект стал синтетической формой, исчезли аорист и имперфект. С другой стороны, во всех языках, где аорист и имперфект сохранились, сохранился и аналитический характер перфекта¹.

Объяснение Ф. Копечного нам кажется весьма спорным. Автор сам отмечает, что в словенском языке, а также в чакавских и кайкавских диалектах сербскохорватского языка аналитический характер перфекта сохранился, тогда как аорист и имперфект там утратились². К этому следовало бы добавить, что при наличии аналитического перфекта мы наблюдаем процесс отмирания простых прошедших времен в лужицких языках и их исчезновение в банатском говоре болгарского языка³.

¹ Ф. К о р е њ њ, *Prišedši...*, стр. 151—154.

² Там же, стр. 153.

³ Ф. Копечный объясняет аналитический характер перфекта в словенском языке

Трудно согласиться с самой констатацией причинной связи между синтетизацией перфекта и падением простых прошедших времен. По мнению Ф. Копечного, с возникновением новой синтетической формы прошедшего времени утрачивали смысл старые синтетические формы — аорист и имперфект⁴. Но разве в принципе в языке не могли бы сосуществовать три синтетические формы прошедшего времени, если бы каждая из них сохраняла свое специфическое значение? Очевидно, именно определенные изменения в значениях форм прошедшего времени и во взаимоотношениях этих значений могли оказать существенное влияние на исчезновение имперфекта и аориста в ряде славянских языков. Конечно, синтетизация перфекта не может рассматриваться в отрыве от изменения его значения. Но между этими явлениями, безусловно, нет механического параллелизма: исходное значение перфекта так или иначе изменилось в тех языках, которые сохранили перечисленные Ф. Копечным признаки самостоятельности связочного глагола, и, наоборот, следы старого перфектного значения обнаруживаются в языках, имеющих синтетические формы на -л.

IV Международный съезд славистов остро поставил ряд важных проблем глагольного времени и в некоторых пунктах продвинул вперед их решение. Вместе с тем еще резко обозначились нерешенные вопросы. Нам представляется, что, помимо дальнейшей разработки обсуждавшихся на съезде проблем, настоятельно необходимым является сравнительно-сопоставительное исследование славянских времен в их отношении к виду (особенно много нового общает дать интересная, но еще мало изученная область неактуального употребления временных форм).

А. В. Бондарко
ке поддержкой аналогично образованного будущего времени: *sem pisal = bom pisal* (Ф. К о р е њ њ, *Problém českého...*, стр. 295). Это весьма гипотетическое объяснение, естественно, не может быть распространено на приведенные выше факты других славянских языков и диалектов.

⁴ См. Ф. К о р е њ њ, *Základy české...*, стр. 94—95.

ЗАМЕТКИ О РУМЫНСКОМ ЯЗЫКОЗНАНИИ

Нет сомнения, что личное общение с деятелями науки, возможность непосредственного ознакомления с их работой и даже некоторого участия в ней очень способствуют укреплению и развитию связей делового характера между учеными Советского Союза и зарубежных стран, в первую очередь стран народной демократии. Поездка в Румынию в порядке реализации плана научного обмена между академиями наук Советского Союза и Румынской Народной Республики позволила автору этих строк провести личное ознакомление с работой филологических институтов Румынской академии, принять участие в научных заседаниях, выступить

с докладами, посетить основные библиотеки и хранилища рукописных фондов, а также установить личные контакты с рядом румынских филологов.

Прочные гуманитарные традиции, труды многих выдающихся румынских ученых-исследователей в области романской, славянской и общей филологии определили то значительное место, которое занимают лингвистика и литературоведение в Академии наук РНР и в румынских университетах. Четыре филологических института входят в состав АН РНР: Институт лингвистики и Институт литературы и фольклора в Бухаресте, Институт лингвистики в Клуже (в Клужском филиале АН есть

отдел литературы) и Институт истории и лингвистики в Яссах. По своему профилю, объему научной тематики, количеству сотрудников, оборудованию они отличаются один от другого. В работе лингвистических институтов при известном параллелизме можно легко увидеть отчетливую специализацию каждого. Так, Бухарестский институт лингвистики характеризуют изыскания следующих его отделов: 1) Отдела романистики, среди работ которого надо особо отметить исследования в области языка румынских сефардов, сохранивших испанский язык со времени своего изгнания из Испании в XV в. (отделом произведена магнитофонная запись живой речи, а также пословиц; поддерживается живое и постоянное общение с отделными посетителями языка сефардов, подготавливается его монографическое описание); 2) Отдела экспериментальной фонетики и диалектологии — в нем имеется хорошо оборудованная экспериментальная лаборатория, в которой ведется работа над усовершенствованием приемов и способов записи фонетических текстов; этот отдел интенсивно готовится к осуществлению трудоемкого коллективного труда — региональных атласов румынских говоров (румыны предпочитают пользоваться термином «говор», а не «диалект» в силу очень большой близости этих говоров между собой); 3) Отдела современного румынского языка, где большой научный коллектив занят вопросами грамматики румынского языка, словообразования, лексикологии и лексикографии; заметное место занимают и проблемы литературного языка. Для более четкой организации работы здесь созданы особые группы, во главе которых стоят авторитетные руководители (так, группу словообразования возглавил акад. А. Граур). Опыт организации групп оправдал себя: вышел в свет «Обратный словарь»¹ и готовится коллективный «Трактат по словообразованию».

Клужский институт лингвистики, преимущественно связанный с Музеем румынского языка, может по праву считаться центром румынской славистики. Наличие в ряде работ ученых Клужа исследований румыно-славянских языковых связей, участие румынских лингвистов и литературоведов в IV Международном съезде славистов в Москве и три тома статей, подготовленных к этому съезду², говорят об успехах славистики в Румынии. В Клуже продолжается подготовка к изданию новых выпусков «Румынского лингвистического атласа»³; архив диалектологических материалов постоянно пополняется новыми, поступающими от участников экспедиций. Наряду с изучением славистики и румын-

ской диалектологии (акад. Е. Петрович, И. Пэтруц) в Клужском институте лингвистики немало внимания уделено изучению венгерского языка и его говоров на территории РНР (Б. Келемен). Клужские унгрысты подготавливают региональные атласы венгерских говоров в пределах РНР. Институт планирует возобновление печатания последующих выпусков «Словаря румынского языка» Румынской Академии с таким расчетом, чтобы по завершении всего издания заново издать ранее опубликованные, но ныне явно устаревшие тома.

Немало внимания уделяется вопросам грамматики и литературного языка и в Яском институте истории и лингвистики, но коллектив яских ученых малочисленнее и не может включить в свой план больших по объему и затрате сил лингвистических исследований.

Встречи и беседы с ведущими деятелями румынского языкознания (академиками И. Иордан, А. Граур, Е. Петрович, А. Росетти, профессорами Б. Казаку, Д. Макрия, И. Пэтруц, Г. Истрате, а также с Д. Копчаг, М. Сала, Г. Волокан, Г. Михайлэ, В. Рудяну) способствовали более близкому ознакомлению с академическими институтами и выяснению некоторых общих задач академий наук СССР и РНР в области языкознания. Немало пользы принесло также общение с историками (проф. Д. Богдан, В. Попович, Д. Чуря, Г. Унгуряну), археологами, литературоведами (М. Новиков, О. Паладима, Н. И. Попа, А. Дима, И. Конст. Кицимия), библиотечными работниками в Бухаресте, Клуже, Яссах, Сибну.

Не менее существенными для ориентации были заседания институтов и отдельных секторов, в которых удалось мне участвовать. С большим интересом был всеми прослушан доклад проф. А. Блинкенберга (Дания) о нереходности французского глагола; с повседневной работой института в Бухаресте можно было познакомиться и на очередном заседании Отдела экспериментальной фонетики и диалектологии под председательством акад. А. Росетти, и на общепитутетском заседании, посвященном итогам IV съезда славистов, с докладами А. Росетти и Г. Михайлэ. По приглашению Академии наук РНР мне пришлось выступить на научной сессии, посвященной 150-летию со дня рождения К. Негруцци, которая проходила в Яском филиале Академии наук; свое выступление я посвятил русско-румынским литературным связям и роли К. Негруцци в их укреплении.

В Румынии очень хорошо известны научные труды акад. В. Ф. Шишмарева, поэтому темой доклада в Бухарестском ун-те для сотрудников Ин-та лингвистики и филологич. фак-та университета я избрал «Научная деятельность В. Ф. Шишмарева как филолога-романиста». Особенно подробно в докладе были охарактеризованы труды покойного академика, которые остались неопубликованными: «Романские поселения на территории СССР», «История итальян-

¹ «Dicționar invers», București, 1957. См. рецензию И. А. Мельчука (ВЯ, 1958, № 6, стр. 116).

² См. «Romanoslavica», București, 1958 (I—292 стр., II—288 стр., III—356 стр.).

³ «Atlasul lingvistic român», Serie nouă.

ского языка» и др. Среди слушателей было много студентов университета и Института им. Горького, готовящего преподавателей русского языка. С некоторыми дополнениями доклад был повторен в г. Клуже для сотрудников Института лингвистики.

Попутно хочется отметить хорошее знание русского языка у большинства румынских филологов, особенно занимающихся румынским и славянским языкознанием. Вообще румынская общеобразовательная школа дает хорошую практическую подготовку по языкам: оканчивающие среднюю школу свободно владеют двумя-тремя европейскими языками, говоря уже о представителях старшего поколения румынских ученых, многие из которых совершенствовали свою научную подготовку в университетах Франции, Германии, Италии и подолгу записывались у выдающихся специалистов своего времени. Что же касается русского языка, то круг лиц, знающих его, сильно расширился в социалистической Румынии, о чем говорят книжные магазины со специальными отделами русской советской книги, большое количество русских книг и журналов, используемых читателями библиотек. Почти повсюду можно встретить не только людей, способных объяснить что-либо по-русски, но и свободно владеющих русским языком. Так, в маленьком городке Сигишоаре в Отделе народного образования один из сотрудников сразу перешел на русский язык, узнав, что его собеседник из СССР, а в Центральной библиотеке города Сибу (ранее библиотека об-ва «Астра») одна из сотрудниц библиотеки, специалиста по рукописным и первопечатным книгам, оказалась прекрасным знатоком русской литературы и познакомила нас с первыми переводами М. Горького (1906 г.), сделанными быв. библиотекарем об-ва «Астра» Х. П. Петреску. Переводчик в предисловии сознательно подчеркнул отличительное свойство русской литературы как высокоидейной, которой чужды теории «чистого искусства».

Можно лишь порадоваться и успехам изучения русского языка студентами Педагогического института им. А. М. Горького. Живой рассказ о перспективах и планах работы декана факультета этого института тов. Маринеску, посещения юбилейной выставки, ознакомление с работой Кабинета русского языка отчетливо показали несомненные достижения института в таком важном деле, как подготовка преподавателей-русистов для румынской школы. В институте очень хорошо помнят и ценят ту большую помощь, которую оказали и продолжают оказывать советские специалисты по русскому языку и литературе.

Недостаток времени не позволил мне должным образом войти в повседневную среду румынской высшей школы. Однако все же мне удалось присутствовать на лекции по истории румынского литературного языка проф. Б. Казаку, встретиться для беседы с ним как с деканом филологиче-

ского факультета Бухарестского университета, ознакомиться с организацией на кафедрах научной работы, с оборудованием кабинетов, изданиями учебников и учебных пособий для студентов (некоторые из них, как, например, теоретическая «Грамматика румынского языка» и «Введение в романскую лингвистику» акад. И. Иордана, «Введение в языкознание» коллектива под руководством акад. А. Граура¹, хорошо известны советским лингвистам). В Клужском и в Ясском университетах удалось довольно тщательно познакомиться с библиотекой и рукописным отделом; в Ясском университете, кроме того, состоялись встречи с ректором проф. И. Крянга, профессорами I. Истрате, А. Дима, Н. И. Попа, Д. Чуря, Ш. Кучуриу. С последним, романистом по специальности, занимавшимся итальянскими диалектами, беседа была особенно существенна, поскольку был затронут вопрос о совместной работе по раннероманским памятникам.

Возвращаясь к академическим институтам РНР, хочется отметить сплоченную и рабочую обстановку в различных секторах, основательную и всестороннюю подготовку материалов по читаемым докладам, что сильно экономит рабочее время при их обсуждении, оперативность в коллективных трудах и простоту отношений внутри коллектива. Естественно, что далеко не все можно было охватить и осмыслить в работе институтов, но участие в заседаниях, свои доклады (в Бухарестском институте лингвистики мною был сделан еще доклад о трудах советских языковедов по романистике), обсуждение принципов составления Большого румынско-русского словаря на совещаниях под председательством зам. директора Бухарестского института И. Котяну — невольно приобщили меня в какой-то мере к работе научных учреждений РНР.

За время своего пребывания в Румынии я занимался в библиотеках и рукописных собраниях Бухареста (академической и Института лингвистики), Клужа (университетской, филиала АН РНР, Института языкознания), Ясе (университетской и гос. архива), Сибу (Центральной, быв. об-ва «Астра»). Понятно, что моей задачей было не только ознакомление с постановкой дела, но и просмотр систематических и алфавитных каталогов, инвентарных книг, описаний рукописей, а также знакомство *de visu* с редкими рукописями и книгами. Сложилось впечатление, что комплектование до 40-х годов носило более систематический характер (особенно в библиотеках академического подчинения), в последующие же годы наблюдается известное сокращение поступления книг зарубежного происхождения. Хранение книг и рукописей, оборудование читальных зал и обслуживание читателя можно

¹ См.: I. Iordăni, *Limba română contemporană* [București, 1956]; e g o ж е, *Introducere în lingvistica romanică*, București, 1957; A. l. Graur, *Introducere în lingvistica*, București, 1958.

считать очень хорошим, особенно в Центральной академической библиотеке, в крупных библиотеках Института лингвистики и университета, яссских—университета и гос. архива. В библиотеках Румынии, как и повсюду, рабочий день начинается в 8 часов утра, заканчивается в 22 часа.

Часы, проведенные за рабочим столом над книгами по истории румынского языка, по латинской и славянской палеографии (многие из них отсутствуют в библиотеках Москвы и Ленинграда), над собраниями грамот, публикациями надписей и, наконец, рукописями, были значительны, содержательны и полезны. Рукописные собрания в Бухаресте, Клуже и Яссах создают внушительную картину исключительного по своему богатству фонда рукописей и документов. Славянские, румынские и греческие манускрипты VIII—XIX вв. заслуживают внимания со стороны советских специалистов; таковы, например, греческое евангелие VIII в., принадлежавшее Марии Багрянородной (Ясский ун-т), славянские евангелия и апостолы на пергамене и бумаге XV—XVI вв. (Клуж, Бухарест, Яссы), Минея 1489, точно датированная и имеющая запись писца: *рѣкож мѡѡргѣина раба бѣѣа діака Федка*¹, сочинение Г. Сковороды «Разговоры о самопознании»² и мн. др. Заметим кстати, что библиотекой Клужского филиала АН РНР (директор библиотеки Ласку Бал) нам уже присланы микрофильмы македонорумынской грамматики Бояджи, итало-славянской грамматики XVIII в. и фрагментов из евангелия XVI в., а Ясским гос. архивом (директор проф. Г. Унгуряну) было обещано микрофильмирование Минеи 1489 г. и русской грамматики второй половины XVIII в.

Не надо забывать, что в РНР, помимо государственных рукописных фондов, имеются и некоторые собрания старинных рукописных книг и документов, оставшихся в ведении отдельных монастырей, в связи с чем нами было получено приглашение в текущем году принять участие в ознакомлении с монастырскими архивами сев. Молдовы (Путна, Нямец, Сучевица, Драгомирна). Это представляло бы немалый интерес для русиста и романиста, занимающегося восточно-романскими языками.

Общение с румынскими учеными, ознакомление с их планами и работами позволяют высказать, в виде пожелания, несколько предложений: а) учитывая опыт румынских лингвистов по коллективной разработке вопросов румынского словообразования, наметить план совместной работы с учеными стран народной демократии по сравнительному изучению словообразования в романских языках; б) для усиления теоретической проблематики в работах по общему языкознанию поддер-

жать идею румынских лингвистов о созыве совещания по вопросам, наиболее спорным и требующим безотлагательного уточнения, с представительством языковедов от всех стран народной демократии; в) установить постоянный обмен филологами в большем, чем ранее, объеме и принять приглашение обследовать русский говор липован-некрасовцев в Добрудже, уделив внимание диалектологической работе румынских лингвистов.

Под конец хочется поделиться наблюдениями в области книжного дела в РНР. Кое-что было сказано по этому поводу раньше, но все же надо указать на то большое внимание, которое проявляет руководство Академии наук к своему издательству. Во главе его стоит известный ученый акад. А. Граур, который является директором. Готовые к изданию труды проходят минимум посредствующих звеньев от стола ученого до печатного станка. Хотя у Академии наук нет своей типографии, тем не менее в короткий срок были выпущены три тома «Romanoslavica» (см. выше) и сборник статей в честь акад. И. Йордана к его 70-летию. В этом сборнике приняло участие 128 авторов, из них десять советских лингвистов: И. А. Ариэст, С. Б. Бернштейн, В. И. Борковский, Р. А. Будагов, В. В. Виноградов, П. Г. Корлятуху, В. А. Лисицкий, Д. Е. Михальчи, Р. Г. Пиотровский, В. Ф. Шинмарев³.

Нельзя не подчеркнуть и то, что наряду с двухмесячным журналом «Limba română» и выходящим ежеквартально изданием «Studii și cercetări lingvistice» выходит одновременно: «Revue de linguistique» (под ред. И. Йордана), «Studii de gramatică și dialectologie» (под ред. А. Росетти), «Contribuții la istoria limbii române literare în secolul al XIX-lea» (под ред. акад. Т. Вьяну), журн. «Revista de filologie romanică și germanică», а также «Журнал языкознания» на русском языке. К этому надо добавить труды Клужского и Ясского филиалов АН РНР и ученые записки румынских университетов⁴.

Хорошее впечатление производят серийные издания вроде «Материалов и исследований по лингвистике», куда вошли книги «Румынский язык XIII—XVI вв.» А. Росетти, которые являются дополненным и расширенным изданием VI т. «История румынского языка» того же автора, «Фонетика гугульеского говора Валя Сучевей (долины Сучавы)» И. Пэтруца, «Славянские синтаксические элементы в румынском языке» Е. Зайделя, «Написание сложных слов» Ф. Чобану и «Устойчивые глагольные сочетания в румынском языке» Флорики Димитреску⁵.

³ «Omăgiu lui Iorgu Iordan cu prilejul împlinirii a 70 de ani», [București], 1958.

¹ См. C. Turcu, Un manuscris slavon necunoscut din timpul lui Ștefan cel Mare, «Hrisovul», VI, 1946.

² См. П. М. Попов, Из истории румыно-украинских связей, «Бюллетень АН УССР», № 9, 1956.

⁴ «Cercetări de lingvistică». Filiala Cluj; «Studii și cercetări științifice». Filiala Iași; «Anale științifice ale Universității «Al. I. Cuza» din Iași» и др.

⁵ «Materiale și cercetări lingvistice»: Al. Rosetti, Limba română în secolele al

Оперативно идет публикация сборников, посвященных состоявшимся международным съездам: конгрессу лингвистов в Осло, VI ономастическому съезду в Мюнхене¹,

XIII-lea — al XVI-lea, București, 1956; I. Pătruț, *Fonetica graiului huțul din Valea Sucevei*, București, 1957. E. Seidel, *Elemente sintactice slave în limba română*, București, 1958; F. Ciobanu, *Scierea cuvintelor compuse*, București, 1958; F. Dimitrescu, *Locuțiunile verbale în limba română*, București, 1958.

¹ См.: «*Mélanges linguistiques*», Bucarest, 1957; «*Contributions onomastiques*», Bucarest, 1958.

IV съезду славистов в Москве. Значительное число статей принадлежит участникам этих съездов; сборники выходят в установленные сроки и в хорошем полиграфическом оформлении.

Кончая свои заметки, хочу поблагодарить всех товарищей, встреченных мною в различных научных и просветительных учреждениях РНР, так или иначе способствовавших максимальному использованию тех 22 дней, которые я провел в Румынии. Я не смог раньше выразить своей признательности румынским археологам проф. К. Дайкович и Г. Кришан, познакомившим меня с раскопками дакийских и римских древностей.

Д. Е. Михальчи

ЕЩЕ РАЗ О ПЕРВОЙ ГРАММАТИКЕ ЧУВАШСКОГО ЯЗЫКА

Особое место в истории чувашского языка занимает первая печатная грамматика чувашского языка, вышедшая в свет под названием «Сочинения, принадлежащие к грамматике чувашского языка» без упоминания об авторе, времени и месте ее издания¹. Интересно отметить, что в 1775 г. были изданы анонимные же «Сочинения, принадлежащие к грамматике вотского языка» и «Сочинения, принадлежащие к грамматике черемисского языка», которые имеют общие с первой грамматикой чувашского языка охват и план расположения материала, единую манеру транскрибирования и однотипные недостатки².

По моему мнению, все три указанные грамматики следует приписать одному и тому же автору, а именно — Вениамину (Пудеку-Григоровичу), биография которого позволяет судить о его осведомленности в области филологии³. Окончательно утверждают нас в этом мнении неоспоримые архивные данные: имеется ордер Академии наук на то, чтобы «напечатать 600 экземпляров присланной от Казанского и Свияжского архиепископа Вениамина книжки, содержащей наставления к

грамматике чувашского языка»⁴. Архивные материалы подтверждают предположение о том, что Вениамин был автором и двух других указанных выше грамматик⁵.

Относительно времени издания «Сочинений, принадлежащих к грамматике чувашского языка» также существуют различные предположения (1769, 1770, 1775 гг.)⁶. Документальными данными подтверждается год издания 1769: в архиве АН СССР имеется удостоверение о получении грамматики чувашского языка от Вениамина и ордер на печатание ее от 12 января 1769 г. В «С.-П. Ведомостях» за 23 мая 1769 г. в отделе «Продажа» напечатано объявление, что в «Академической книжной лавке продаются повопечатанные книги, на российском языке: грамма-

⁴ См. Архив АН СССР, фонд 3, опись 1, № 540, стр. 21.

⁵ Там же, № 541, стр. 181, где имеется ордер Академии наук на то, чтобы напечатать по 300 экз. присланных от Вениамина грамматики вотского языка и грамматики черемисского языка.

⁶ Ср.: В. Г. Егоров, указ. соч., стр. 86; «Издания Московского университета 1756—1779», сост. Н. Н. Мельникова, М., 1955, стр. 120; Дамаскин (Семенов-Руднев), Библиография российской, I (рукопись), стр. 934; В. С. Соколов, Опыт российской библиографии, ч. II, СПб., 1904, стр. 76; «Рукопись российским книгам для чтения, из библиотеки А. Смирдина, систематическим порядком расположенная. В четырех частях», СПб., 1828, стр. 460; С. А. Венгеров, Источники словаря русских писателей, т. I, СПб., 1900, стр. 543; «Каталог изданий Имп. Акад. наук, ч. II — Отдельные издания на русском языке, с 1726 г. по 1 июня 1915 г.», Пг., 1915, стр. 144; С. К. Булич, Очерк истории языкознания в России, т. I (XIII в.—1825 г.), СПб., 1904, стр. 431—432; «Каталог книг гражданской печати XVIII в.» (сост. Гос. Биб-кой СССР им. В. И. Ленина, на правах рукописи), стр. 1018.

¹ Различные предположения и суждения относительно составителя первой грамматики чувашского языка, времени и места ее издания представлены в ряде работ (см. ниже). В качестве составителя этой грамматики предполагаются следующие лица: Петр Талиев; уроженец Красночетайского района Чувашской АССР; Вениамин (Василий Пудек-Григорович). См. об этом, например: В. Г. Егоров, Первая печатная грамматика чувашского языка 1769 г., «Тюркологический сборник», I, М.—Л., 1951, стр. 87.

² Подробную лингвистическую характеристику «Сочинений, принадлежащих к грамматике чувашского языка» см.: В. Г. Егоров, указ. соч.

³ См. об этом: «Миссионерский противомусульманский сборник. Труды студентов Миссионерского противомусульманского отделения при Казанской духовной академии», вып. V, 1874, стр. 74.

тика чувашская с российским, 20 коп.». Значит, эта грамматика вышла в 1769 г. В типографии она была в работе с 12 января до мая месяца 1769 г. Разрыв во времени издания грамматики чувашского языка и двух других грамматик получился потому, что одно время Вениамина обвиняли в сотрудничестве с Пугачевым, хотя, как показывают исторические документы, он остался верным слугой церкви и царя¹. Поэтому поступившие еще в 1770 г. в марте месяце в Академию наук от Вениамина² последние две грамматики вышли из печати только в 1775 г., после снятия с него «виновности»; отсутствие пужных документов в архиве и упоминаний в прессе позволяет считать неосновательной версию о якобы имевшем место в 1775 г. переиздании «Сочинений, принадлежащих к грамматике чувашского языка»³.

¹ См. «Миссионерский противомусульманский сборник», стр. 75.

² Архив АН СССР, фонд 3, опись 1, № 541, стр. 181.

³ См. об этом: В. Г. Егоров, указ. соч., стр. 86—87.

Относительно места издания «Сочинений, принадлежащих к грамматике чувашского языка» также существуют три точки зрения (типография АН в Петербурге, типография Московского университета, синодальная типография в Москве)⁴. Сличение этой книги с изданиями типографии Московского университета и Московской синодальной типографии показало коренные отличия ее от этих изданий и полное полиграфическое сходство ее (как и двух других указанных грамматик) с изданиями типографии АН в Петербурге.

Подводя итог всему сказанному выше, можно считать установленным, что автором «Сочинений, принадлежащих к грамматике чувашского языка», является Вениамин (Василий Пунец-Григорович); книга напечатана в типографии Императорской Академии наук в Санкт-Петербурге и вышла в свет в 1769 г.

В. Т. Терентьев

⁴ См. об этом, например: В. Г. Егоров, указ. соч., стр. 86.

НАД ЧЕМ РАБОТАЮТ УЧЕНЫЕ

В центре моего внимания сейчас находится работа над книгой «Основные проблемы общего языкознания», которая будет состоять из двух основных частей: 1) предмет языкознания и 2) категории языкознания. Вопрос о предмете языкознания изучается мной не только в теоретическом плане; я связываю его изучение с исследованием материала, преимущественно русского языка. В настоящий момент я заявляю конкретизацией понятия «языковой нормы», которая противопоставляется, с одной стороны, «языковой системе», а с другой — «речи». По-видимому, именно «норма» является предметом собственно языкознания, в отличие от смежных с языкознанием наук, занимающихся либо поисками «системы» как «абстракции второго порядка», либо эмпирикой «речи».

Вопрос о языковедческих категориях оказался неразрывно связанным с проблемой лингвистической терминологии. Сейчас я закончила первый этап собирания материала (моя картотека, насчитывающая около 15 000 карточек, получена расписыванием основных словарей и основных лингвистических монографий). Сейчас уже намечается возможность классификации по следующим принципам: 1) временной момент («старая» vs. «новая» терминология); 2) общепринятость vs. специфичность для данного направления; 3) обусловленность (необусловленность) типологическими особенностями той или другой группы языков и 4) принадлежность к тому или другому аспекту языка или к языку vs. речи. Уже выполненная работа с несомненностью свидетельствует о том, что в результате бурного развития языкознания последних 25 лет и особенно последнего десятилетия терми-

нологическое исследование как путь к изучению современного состояния нашей науки становится одной из центральных проблем.

В связи с руководством кафедрой английского языка в МГУ и чтением соответствующих курсов я постоянно занимаюсь современным английским языком. В настоящее время продолжаю работу над книгой «Основные закономерности построения английской речи», в которой значительное место занимает также сопоставление английского языка с другими германскими языками.

О. С. Азманова
(Москва)

В настоящее время я работаю главным образом над изучением грамматического строя тюркских языков и, в частности, над изучением структуры предложения и словосочетания как двух противопоставляющихся по содержанию и форме синтаксических единиц, а в связи с этим — и над общими вопросами соотношения категорий языка и мышления. В ближайшие годы я предполагаю подвести итоги этой работы в небольшой монографии о грамматическом строе тюркских языков, а также в двух последующих томах (III и IV) моей большой монографии «Каракалпакский язык», первые два тома которой уже изданы.

Вторая тема, над которой я только начал работу, — «Булгарские, огузские и кыпчакские тюркизмы в русском языке» — возникла в связи с моими занятиями по составлению различных русско-тюркских и тюрко-русских словарей. В качестве итога работы над этой темой я предполагаю дать небольшой этимологический сло-

варь с вводной частью о типах и характере этих заимствований и их периодизации.

Третьим разделом моей научной работы является описание живых диалектов современного алтайского языка. В настоящее время я завершил работу над «Введением в изучение алтайских диалектов» (опубликовано в 1958 г.) и над большой монографией «Кумандинский диалект» (20 авт. л.). В 1961 г. будет завершена другая монография — «Диалект Туба» (20—25 авт. л.).

Из текущих отдельных работ следует указать на завершение относительно большого «Каракалпакско-русского словаря», над которым я работал около 30 лет, а также на составление караимско-русско-польского словаря, работа над которым ведется по плану Института языкознания АН СССР в тесном сотрудничестве с Польской Академией наук.

К текущей же тематике я отношу продолжение работы над изучением истории и над классификацией тюркских языков. Эта работа мною уже была оформлена в виде отдельных статей, а также в виде монографии «Тюркские языки» (18 авт. л.), которая должна быть опубликована в 1959 г. Однако разработку этой темы я не считаю еще законченной и предполагаю в будущем провести дополнительные исследования, а также значительно пополнить эту монографию за счет новых глав («О строе тюркских языков»; «Об истории их изучения»; «О единой транскрипции для тюркских языков» и др.).

Наконец, довольно значительное время я посвящаю также научно-организационной работе, главным образом по линии координации деятельности союзных Академий наук в области изучения тюркских языков и, в частности, по организации координационных совещаний по грамматике, лексикографии и диалектологии тюркских языков.

Н. А. Баскаков
(Москва)

1) В этом году я вместе с другими членами кафедры русского языка в университете приступила к созданию двухтомного учебника по современному русскому языку; 2) работаю над выяснением безличности предложений в древнерусском языке.

Е. М. Галкина-Федорук
(Москва)

В настоящее время я работаю над Большим англо-русским словарем. Издательство иностранных и национальных словарей поручило мне общее руководство авторским коллективом, работающим над составлением этого двухтомного словаря на 100 тыс. слов и объемом в 300 печ. л. Это будет наиболее полный из всех выходивших до сих пор англо-русских словарей. Терминологическая часть словаря займет около 50 печ. л. Каждая словарная статья должна дать описание смысловой структуры слова, его стилистической, грамматической, синтагматической (понимая под этим возможность слова вступать в соче-

тания с другими словами), фразеологической и других характеристик. Словарь будет снабжен примерами, иллюстрирующими употребление слова, и вариантами перевода этого слова в его сочетаниях с другими словами. Примерный словник уже составлен, и сейчас ведется интенсивная работа по подбору иллюстративного материала из художественной, политической и научной литературы.

В связи с работой над словарем появилась необходимость пересмотреть некоторые принципы английской лексикографии. В следующем году я намерен закончить работу, в которой, кроме семасеологических заметок, будет дана критика положений структурализма, касающихся вопросов значения в анализе форм слова современного английского языка.

В 1959 г. я продолжаю работать над своими «Очерками по стилистике английского языка», которые вышли в 1958 г. Наблюдения, проводимые мной над особенностями языка английской газеты и над языковыми средствами, которые применяются современными писателями Англии и Америки, дают новый материал, показывающий характер колебаний нормы современного английского литературного языка.

Не отрываясь от практических целей обучения английскому языку в специальных институтах иностранных языков, я продолжаю работать над созданием серии учебников для этого типа учебных заведений. Как редактору этой серии мне приходится вместе с авторскими коллективами вырабатывать новую систему организации учебного материала, отвечающую задачам, поставленным перестройкой среднего и высшего образования, и намечать пути для более эффективного овладения предметом при совмещении учебы с работой.

П. Р. Гальперин
(Москва)

В настоящее время: 1) полностью повыми материалами и перерабатываю раздел орфоэпии из своего курса в МГПИ им. В. И. Ленина; написал статью «Основные положения русской орфоэпии» (2 печ. л.); 2) собираю новые материалы для пополнения напечатанного в 1956—1957 уч. году научно-методическим кабинетом по заочному обучению учителей при Министерстве просвещения РСФСР пособия для заочников: «Современный русский язык. Морфология»; 3) по обязанности зав. кафедрой русского языка МГПИ им. В. И. Ленина возглавляю редколлегия, вместе с которой подбираю и редактирую статьи членов кафедры (преимущественно по современному русскому языку) для очередного выпуска (№ 10) «Ученых записок»; 4) написал статью «Из истории кафедры русского языка МГПИ им. В. И. Ленина» (1 печ. л.), предназначенную для очередного выпуска «Ученых записок» кафедры.

И. Г. Голанов
(Москва)

Сейчас я заканчиваю исследование «Происхождение некоторых русских географических названий Западной Сибири», в котором рассматривается свыше 1100 топонимов кетского происхождения. Эта тема является продолжением написанной в 1957 г. статьи «Былое расселение кетов по данным топонимики» и представляет попытку разрешения одного частного вопроса из круга проблем этносовета дорусского населения Западной Сибири, смены языков на этой территории, времени и условий проникновения отдельных языков (угорских, самодийских, тюркских, кетских и монгольских). Этот круг проблем изучается комплексным путем, а необходимые данные собираются преимущественно в ежегодных экспедициях, в результате проведения которых накоплен большой материал по фонетике, лексике и морфологии языка чулымских и нижнетомских тюрков, селькупов, хантов, елогуйских и курейских кетов. Собранный материал позволил выработать довольно надежную методику этимологического анализа топонимов тех мест Сибири, где указанные языки являются субстратом или субсубстратом.

Исследованием устанавливается, что значительно пространство Западной Сибири (почти вся Томская, Кемеровская, Хакасская области, часть Омской и Новосибирской областей, Алтайского края и Тувы) в прошлом, большей частью до появления тюрков в этих местах, было заселено кетами, которых русские застали в XVII в. фактически только на Енисее. Кроме того, выяснены ареалы древнего расселения 5 кетоязычных народов (ассанов, аринов, коттов, пумпоколов и енисейских кетов). Ближайшая дата проживания кетов на юге Западной Сибири определяется тем, что слово *юл*, заимствованное из ассанского, имеется уже в древнетюркском и стало общим названием реки почти во всех восточнотюркских языках и наречиях (в вариантах *юл*, *тюл*, *чул*, *джул*, *шул*).

В области топонимики в дальнейшем предполагается установить ареалы былого расселения угров и самодийских народов, а также уточнить лингвистические особенности и ареалы древнейшего слоя в топонимии Западной Сибири, условно называемого палеосибирским. В области исследования живых языков Западной Сибири думаю продолжить в расширенном виде изучение фонетики, лексики и морфологии, в особенности селькупского и кетского языков.

А. П. Дульзон
(Томск)

для монографии о Сборнике Кирши Давилова, которым я давно занимаюсь; монографию предполагаю закончить в 1964—1965 гг.

А. П. Евгеньева
(Ленинград)

Мои работы не являются собственно языковедческими в узком значении этого термина. Более того, тема, над которой я сейчас работаю, может показаться необычной и даже странной — это процесс *з в у к о в о й к о м м у н и к а ц и и* обезьян. Не я выдумал такую тему, а весь ход полученных в последнее время наблюдений заставил меня заняться этим вопросом.

Пресловутая диктиция — язык и речь — имеет смысл. Обычно она выдвигается для того, чтобы выделить первую часть этого противопоставления, оставив речь в тени. Но к языку можно подойти, и даже более строго экспериментально, с другого конца, а именно — через речь. Тогда окажется, что речь — это просто цепочка слогов, поддающаяся довольно точному физическому измерению почти по всем параметрам. Исследуя эту цепочку, нетрудно обнаружить закономерную повторяемость элементов и такие же закономерные замены одних элементов цепи другими по определенным правилам. Но это уже язык и грамматика, которая представляет собой совокупность алгоритмов, или правил строения слоговой цепи.

Очень кратко это положение можно иллюстрировать так. Пусть список попарно различных символов, которые будем называть буквами, составит алфавит. Например, а, б, с, d, ... — алфавит. После отбора из алфавита одной или нескольких букв их можно поставить в строчку. Составленную таким способом совокупность элементов будем называть словом. Например, а; аба; ааа; bc; bdaa — слова. Если окажется, что какое-нибудь слово в строчке по определенному правилу может быть заменено другим словом, то само это правило назовем алгоритмом и будем говорить, что некоторая совокупность алгоритмов перерабатывает исходное (начальное) слово в конечное, т. е. в такое, к которому не применим никакой новый алгоритм. Например, для русского языка слово *бег* может иметь 6 замен (вхождений) справа. Введем символ $\wedge$, не являющийся буквой, а обозначающий пустое слово (т. е. такое, которое не содержит ни одной буквы алфавита). Тогда слово *бег* можно записать: *бег · $\wedge$* , где точка не является буквой алфавита, а обозначает место вхождения одного слова в другое. Алгоритм запишем так: $\wedge \rightarrow a; \wedge \rightarrow y; \wedge \rightarrow \wedge; \wedge \rightarrow om; \wedge \rightarrow e$. Запись обозначает, что слово слева от черточки может быть заменено словом, стоящим вправо от нее, или: *бег · $\wedge$* ; *бег · a*; *бег · y*; *бег · $\wedge$* ; *бег · om*; (о) *бег · e* (парадигма склонения для класса слов *бег · $\wedge$*). Вхождение может быть сделано и слева, например: *по · бег*; *за · бег*. В этом случае переработанные алгоритмом слова остаются

1) Продолжаю работу над словарем в редколлегии четырехтомного «Словаря русского языка» (в настоящее время заканчивается подготовка к печати III тома, который должен выйти в свет в 1959 г.); 2) готовлю к печати книгу «Очерки по языку русской устной поэзии в записях XVII—XIX вв.»; 3) собираю материал

в том же классе (существит. муж. рода) и сохраняют вышеуказанную цепочку шести смежных слов; возможны также вхождения, которые перерабатывают слово одного класса в слово другого [например, *бег-ать* (глагол)]. Такой класс слов имеет свой особый алгоритм вхождений (парадигма склонения), благодаря чему образуется новая цепочка смежных слов.

Продолжая, можно таким способом описать всю грамматику данного языка. В конце концов мы найдем все алгоритмы переработки начальных слов в конечные. Так, например, *я бегу* — конечное слово, потому что в русском языке существует алгоритм, разрешающий в этом случае не делать новых вхождений, хотя они и возможны (*я бегу быстро; я бегу домой*). Слово *быстро бежать по улице домой* не является конечным. Алгоритм конечного слова может быть точно определен, а его формула — записана.

Вышеуказанным символам *a, b, c, d*, названным буквами алфавита, можно придать произвольно любое значение. Это могут быть, например, цвета, химические элементы, звуки, группа звуков, изображение и т. п. Однако раз введенное значение должно сохраняться, а отдельные алгоритмические вхождения слов (инвариантные последовательности букв) будут различаться по выполняемой функции. Таким образом могут быть определены единицы данной системы, например языка. Так, инвариантные слова *по; амь; бег* должны быть признаны особой единицей (неполные слова), а такие, как *по-бег; бег-А; бег-ать*, следует рассматривать как единицы другой категории (полные слова). Аналогично слово *бегать быстро* может быть названо неполной синтагмой, а *я бегу* — полной синтагмой.

Среди подобных единиц может быть найдена такая, как *с л о г*. Эта единица отличается от остальных некоторыми особенностями. Слог является материальным реализатором всех других языковых единиц. Речевой прибор человека не способен делать ничего другого, как только производить слоги, поэтому все алгоритмы языка будут реализовываться в слоговой цепи. Однако материальное значение цепи слога как реализатора может изменяться. Так, в устной речи слог — это звук, в письменной — начертательное изображение, а при передаче речи по линиям связи — это группа электрических сигналов.

Первоначально кажется, что для осуществления алгоритмов языка безразлично, каково именно материальное значение слога. Слово *бег-А* остается тем же самым по своим алгоритмическим вхождениям, независимо от того — произносим мы его, пишем, слышим или передаем по линии связи. В действительности же представляет величайший теоретический и практический интерес узнать, как именно изменилось слоговое значение, т. е. как произошла материальная подстановка при реализации языка. Если поданный на входе линии связи электри-

ческий сигнал за время передачи изменится больше известного предела, то на выходе линии уже не будет слова *бег-А*. То же может произойти и в обычной устной речи, когда слоговая цепь передается по воздушной среде.

Но, пожалуй, наиболее показательно то, что произойдет при приеме и при записи письменной речи. Человек, читая, не просто видит очертания букв, но выделяет и соединяет неполные и полные слова, разграничивает и синтезирует неполные и полные синтагмы и т. п. Никто не может подумать, что все эти процессы произойдут без всякой материальной реализации. Конечно, слоговая цепь перейдет на какую-то новую материальную подстановку. Появится то, что хочется назвать «внутренней интонацией» и о чем уже собраны некоторые факты и наблюдения. К этому следует добавить особенно интересный процесс перестройки так называемых лексических значений. Ведь человек всегда встречает общенную к нему речь в некоторой системе сложившихся у него лексических значений. Он встречает ее «своими словами», «переводит» на свои лексические значения. В результате понимание в той или другой мере всегда сопровождается долей непонимания. Две системы — узуально сложившийся язык и индивидуально усвоенный язык — стремятся к равновесию. Можно думать, что сохранение этого равновесия приводит, с одной стороны, к индивидуальным перестройкам системы усвояемого языка (пластичность), а с другой стороны, к изменениям языкового узуса (история языка). Нарушение равновесия делает узуальный язык мертвым, если сохранилась его письменность, и приводит к полному забвению, если не сохранилось письменности.

Все это свидетельствует о том, что материальные перестройки реализатора языка (или цепь преобразований материальных подстановок, начиная от звуковой слоговой цепи) сказываются на всей системе языка. Идя по этой тропинке, мы можем выбраться на большую дорогу с далекими перспективами. Проблема слога, так мало еще разработанная, приобретает фундаментальное значение: она становится исходным пунктом для строго экспериментального анализа явлений, связанных с основными вопросами теории языка.

Вначале, конечно, возникают элементарные проблемы — что такое слог, как он образуется, что в него входит, как составляется слоговая цепь и как она управляется алгоритмами? Эти вопросы становятся более ясными, если исследовать также и меру потерь взаимного понимания говорящих при дефектах слоговой цепи. В этом отношении изучение афазий, глухоты и заикания доставляет богатейший материал. Но, пожалуй, еще интереснее те случаи, в которых при наличии слога отсутствует управление структурой слоговой цепи. Такова коммуникативная звуковая система обезьян. По этому вопросу мной собран некоторый материал в Сухумском обезьяннем питомнике, где

большое стадо павианов-гамадрилов живет в естественных условиях. Получены спектры обезьяньих звуков и проведены рентгеноскопические наблюдения. Выводы таковы. В состав звуковых комплексов гамадрила входят *a*, *o*, *y*, носовое *o* и что-то похожее на *и*. По спектральным данным все это относится к общему типу соответствующих человеческих звуков речи, в частности спектры обезьяньего сигнала переклички *au* очень похожи на английский и латышский дифтонги. При всем этом можно показать, что у обезьян нет фонем, нет перестановки звуковых элементов и нет переходов от гласного к несонорному согласному. Это значит, что в разбираемой системе нет алгоритмов языка. И все же эта система является коммуникативной — обезьяны передают друг другу сообщения, что сразу и легко обнаруживается при простом наблюдении.

Эти исследования были предприняты для того, чтобы новыми, дополнительными фактами подкрепить защищаемую мною гипотезу глоточного образования слога. Рентгеноскопические наблюдения показывают, что у обезьян во время сигнальной фонации глоточная трубка не модулирует, в то время как у человека объем и форма этой трубки изменяются и на каждом звуке, входящем в слог, и от слога к слогу. Отсюда следует фундаментальный вывод общего значения о роли переходного акустического процесса в речевом произнесении.

Фонетика родилась в тот момент, когда она стала отличать звук от буквы. Она сделала второй значительный шаг вперед, когда была открыта фонема. Теперь ей предстоит сделать третий шаг — найти соотношение между фонемой и формантой. Форманта — это некоторое инвариантное свойство звукового спектра. Форманты могут быть и неязыковыми, а, например, певческими или голосовыми (узнавание голоса). Однако теории языковых формант еще не существует. Одни исследователи находят в речевом звуке две, другие одну, некоторые три и четыре области формант. Иные же вообще «откапываются» в поисках точного определения языковых формант. Все эти затруднения возникают потому, что не учитывается переходный акустический процесс. Звуки в составе слоговой цепочки не нанизываются один за другим, как бусы на нитку, а взаимно переходят; при этом влияние сказывается не только на соседних звуках, но и на более отдаленных. Спектры звука в разных позициях слоговой цепи могут быть очень различны. Спектры *д* в словах *дома* и *мода* различны, хотя оба слова как будто составлены из одинаковых звуков. Следует признать, что в языке существует алгоритм замены формант. Соответственно этому мы признаем одной и той же данной фонеме как словоразличитель, хотя форманты звука заменяются, ибо правило такой замены санкционировано нормой языка. Тогда фонему можно определить как неполный звук, а слог — как полный звук.

Необходимость замены формант возникает только там, где из ограниченного алфавита неполных звуков составляются слоги, различающиеся по последовательности элементов. Так как у обезьян последовательность звуков в сигнальном комплексе постоянна (т. е. нет перестановок), то у них нет фонем и нет необходимости в замене формант. В конечном счете дело сводится к тому, что в фонационном приборе обезьян нет центрального управления глоточной трубкой, которая является органом слогообразования и переходных процессов.

Другой темой, которой я продолжаю заниматься, является внутренняя речь. Закончена статья о роли речедвижений в процессе внутренней речи. Из экспериментальных фактов вытекает, что у взрослого человека решение умственных задач происходит часто без произнесения слов про себя. Слова не только сильнейшим образом редуцируются, но и целиком замещаются другими, более простыми и не суксессивными сигналами. Этот вопрос имеет первостепенное значение для понимания процесса отбора слов.

В будущем мне хотелось бы заняться экспериментальным исследованием явления так называемой напряженности звуков речи. Эта величина, с одной стороны, является дискретной, так как принадлежит к качеству отдельного звука речи, с другой стороны, она изменяется непрерывно в слоговой цепи. Однако отсутствие комплексной, всесторонне оборудованной экспериментальной лаборатории мешает осуществлению этого замысла.

Н. И. Жинкин
(Москва)

В настоящее время продолжаю заниматься теми вопросами теории языка, которые выдвигаются на первый план благодаря развитию прикладного языкознания, в частности машинного перевода. Свои взгляды на взаимодействие теоретического и прикладного языкознания я изложил в работе, печатающейся в сб. № 2 «Материалов по машинному переводу», издаваемых Ленинградским университетом; в сб. № 1 «Материалов» (Л., 1958) напечатана моя статья о лингвистических вопросах построения информационных машин. Мне представляется, что создающаяся в связи с практикой машинного перевода общая теория отношений между языковыми системами может иметь такое же значение для строгого обоснования ряда разделов языкознания, какое теория множеств имела для построения различных областей современной математики. Применительно к сравнительно-историческому языкознанию это положение я пробую обосновать в докладе, прочитанном мною на совещании по математической лингвистике, созванном Ленинградским университетом (статья, представляющая собой опыт такого истолкования некоторых проблем компаративистики, напечатана в сб. «Вопросы статистики речи», Л., 1958).

По отношению к восприятию иностранного языка сходные тезисы я отстаивал на созванной I МГПИИЯ конференции по использованию технических средств при обучении иностранным языкам. В качестве члена бригады ученых под руководством акад. А.И. Берга участвовал в составлении записки по основным вопросам кибернетики; как член Научного совета по кибернетике при АН СССР буду продолжать работу в этой области.

Одновременно с работой по машинному переводу, начатой мной в Институте точной механики и вычислительной техники АН СССР, продолжаю занятия древними индоевропейскими языками, расшифрованными в XX в. Написал работу о значении тохарских языков для индоевропеистики (печатающееся введение к составленному мной и И. А. Мельчуком сборнику статей по тохарским языкам). В связи с новыми публикациями тохарских текстов занимался вопросом о названии «тохарского» языка В, который нужно определить как «кучанский» на основании текстов, изданных В. С. Воробьевым-Десятовским и В. Виштером (ср. в особенности кучанское самоназвание *kucāñe*, соответствующее согдийскому *ākičāne* = 'kwč'ñ'y).

Для хрестоматии по истории древнего мира сделал новый перевод хеттских законов; для издаваемого Союзгизом сборника документов по истории человечества перевожу также и другие памятники клинописного хеттского языка; обоснование предлагаемых мной переводов будет дано в серии хеттологических статей, которые готовлю для «Вестника древней истории». Разгрузившись от ряда лекционных курсов, думаю использовать освободившееся время для завершения монографии о хеттском словообразовании в сравнительно-историческом освещении. Подготовил статью о хеттских энклитиках и законе Вакернагеля. Вопросам истории культуры и религии хеттов и этимологии отдельных хеттских слов посвящено несколько моих статей, находящихся в печати («О культе огня у хеттов», «Русское *молить* и хеттское *mal-dai*», «Из истории индоевропейской лексики клинописного хеттского языка», «К этимологии русского *пасты*»). Результаты своих работ по лувийскому языку опубликовал в сборнике «Исследования в честь на акад. Димитрия Дечева», София, 1958). Продолжаю заниматься греческими крито-микенскими текстами линейного письма В, анализу которых был посвящен курс лекций, начатый мной в минувшем году. Опубликованные в 1958 г. Э. Беннетом тексты «табличек оливкового масла» заставили меня заняться вопросом о микенском греческом термине *wa-na-ka-te*, употребление которого в этих текстах в качестве имени бога (а не в значении «царь», ср. позднейшее 'αυαξ) подтверждает старое сопоставление с тохарским А *ñkāt* «бог». Занимаясь древними греческо-арийскими фразеологическими изоглоссами, я был поражен тождеством ведийского *pāmadhēva* «установление имен» и греческого сочетания тех же корней в

аналогичном термине *δυναθής* «установитель имен»; здесь можно видеть следы общей греческо-арийской лексики, связанной с мифом о происхождении языка и поэтому представляющей интерес для истории языкознания. Этой проблеме я предполагаю посвятить особую статью.

Для серии описаний языков, выходящей в Издательстве восточной литературы к Международному востоковедческому съезду в Ленинграде, пишу совместно с В. Н. Топоровым очерк санскрита. В связи с курсом сравнительной грамматики балтских языков и курсом прусского языка, которые были мной подготовлены и начаты в прошлом году, предполагаю написать несколько статей по прусской этимологии (в частности, о возможности объяснения прусской и общепалтской формы названия «медведя» из метатезы и развития *tr>il в общепалтской форме, отраженной в хеттском *hartaggaš*; о точном соответствии прусскому *smūni* «лицо» ирландского *duine* «лицо», образованного от того же названия «земли»). Результаты разысканий по балтской акцентологии изложил в статье, печатающейся в сборнике в честь Я. М. Эндзелина. В связи с прочитанным мной в минувшем году курсом фонологии старославянского языка подготовил дистрибутивное описание его фонологической системы, развивающее анализ распределения старославянских фонем в курсе Н. С. Трубцкого; занимался также проблемой внутренней реконструкции праславянского *dž*. Для решения некоторых типологических проблем занимаюсь абхазским (в частности, инкорпорацией именных морфем в абхазских глагольных комплексах типа *л-бигоуп* «собака-хороша-есть») и кетским (енисейско-остяцким). Заключившую популярный обзор современной компаративистики. Работаю над статьей о значении сложносокращенных слов для теории языка. Предполагаю также подготовить к печати курс общего языкознания, прочитанный мной в I МГПИИЯ (конспект части этого курса содержится в моем «Учебно-методическом пособии по курсу „Основы языкознания“», недавно вышедшем из печати).

Вяч. В. Иванов
(Москва)

В настоящее время я работаю над темой «Сложноподчиненное предложение в современном английском языке». В этой работе рассматриваются вопросы структуры сложноподчиненного предложения с следующих точек зрения: 1) различные степени подчинения (подчиненные предложения, непосредственно зависящие от главного; подчиненные предложения, зависящие от подчиненных предложений первой степени, и т. д.), 2) сочетания подчиненных предложений различных типов (подлежащие, сказуемые, дополнительные и т. д.), 3) различия между повествовательной прозой, диалогом и т. д. в отношении структуры сложноподчиненного предложения. Работу намечено опублико-

вать в виде 2—3 статей в «Ученых записках» ЛГПИ им. А. И. Герцена.

В дальнейшем предполагаю заняться вопросом о синтаксическом строении стиха в английской литературе XVI—XVII вв.

Б. А. Ильин
(Ленинград)

Сектор языка Мордовского научно-исследовательского института языка, литературы, истории и экономики в настоящее время заканчивает составление описательной грамматики мордовских языков. Это коллективный труд, в котором принимают участие все работники сектора. Лично я работаю над разделами «Словообразование» и «Синтаксис».

В 1958 г. сектор начал работу по изучению мордовских диалектов. Изучение диалектов на первые 5—7 лет намечено проводить методами исследования и описания лексики, фонетики и морфологии наиболее характерных диалектов. В настоящее время изучаются восемь таких диалектов. Летом 1958 г. были проведены две экспедиции по собиранию диалектологического материала, в которых принимали участие работники Сектора языка, кафедры мордовских языков Мордовского государственного университета, аспиранты и студенты. С осени проводится обработка собранного материала, а также отдельные выезды на территории изучаемых диалектов. В результате этой работы намечается периодическое издание «Очерков мордовских диалектов». Изучение диалектов мордовских языков и будет основной моей работой и работой Сектора языка в ближайшие 5—7 лет.

М. Н. Коляденков
(Саранск)

Готовлю к печати монографию по истории языка художественной литературы «О языке писателей-демократов 60—70-х гг. XIX в.». В работе исследуются особенности книжной, научной, народноразговорной и других видов речи, отраженные в очерках, рассказах и романах писателей-демократов, и производится анализ приемов пользования различными типами речи, появившимися в реалистической литературе в связи с решением новых задач художественного изображения общественной жизни.

Стиль писателей-демократов составляет как бы новый этап в преодолении канонов традиционной поэзии. Оппираясь на принципы эстетики Чернышевского, писатели-демократы стремятся устранить из произведения авторское «я», выступавшее на первое место в сентиментальных, романтических, а нередко и реалистических произведениях (см., например, сочинения Барона Брамбеуса, фельетоны Дружинина и др.). Писатели-демократы усиливают диалог и часто прибегают к сказу; при этом в роли рассказчика выступает персонаж, наиболее удаленный от автора и как бы сливающийся с изображаемой средой.

В диалоге и сказе применяются различные виды народноразговорной речи; воспроизводится разговорная, деловая или научная речь, лишенная традиционных элементов художественности. Основным приемом использования языкового материала у писателей-демократов является усиление стилистической и социально-стилистической окраски речи (раньше этот прием развивался преимущественно в драматических жанрах).

Написана статья «О толковании диалектной лексики в советских изданиях художественной литературы XIX в.».

В результате изучения литературного языка XVIII в. написана статья «Забытые страницы „О слове и словесности“ В. К. Тредьяковского».

В ходе работы над диалектной лексикой подготовлены заметки: «Конь и лошади в истории русского языка» и «О неправильном толковании диалектных образований *пошел в ягоды, пошел в грибы*».

В связи с возникшим у специалистов интересом к топонимическим образованиям типа *Podgóra, Zalas* (см. исследования и статьи М. Караса, И. Роспонда, В. Ташицкого, К. Дейны и др.) и отсутствием печатных сведений о распространении этого типа в русских говорах и памятниках письменности подготовлена статья-информация о топонимике полей, топей и мелей («сушек») в Калининской и Псковской областях.

С. А. Копорский
(Москва)

В результате многолетних исследований диалектов аварского языка у меня накопился обширный фактический материал, который служит базой для изучения исторических путей развития фонетики, морфологии и лексики языка в целом. Отсутствие памятников письменности, исходя из языкового материала которых можно было бы объяснить факты истории аварского языка, заставляет нас всецело опираться на диалектные данные. В таком аспекте построена моя недавно выпущенная в свет книга «Сравнительно-историческая фонетика аварских диалектов», в которой сделаны попытки показать историческое развитие фонетической системы аварского языка и воссоздать прааварскую фонетическую систему.

В таком же плане я завершил работу над темой «Сравнительно-историческая морфология аварских диалектов». Однако исследования затруднились тем, что для исторического объяснения морфологических фактов аварского языка приходилось выходить за пределы его диалектов, в область родственных и особенно близко родственных андо-цесских языков, по которым имеется мало опубликованных работ.

В текущем году я начал работу лексикологического и лексикографического порядка по диалектам. Прежде всего планирую составление диалектологического словаря аварского языка, в который войдут не просто диалектизмы, а и

те слова, которые представляют отклонения от литературного языка своим звуковым составом или семантическими чертами. Словарь будет служить базой не только для теоретических анализов и выводов; он будет иметь практическое значение, из него можно будет черпать слова для обогащения молодого литературного языка аварцев.

Зависимость судеб общего литературного языка аварцев во многом от художественной литературы и ее языка, а также неразработанность этой области обусловили мое желание в дальнейшем заняться исследованием именно языка художественной литературы.

Ш. И. Микаилов
(Махачкала)

1. В конце 1958 г. я закончил монографию «Синтаксический строй стихотворных произведений Пушкина», которая в настоящее время готовится к печати. В своей книге я стремлюсь раскрыть структурное многообразие синтаксического строя стихотворных произведений Пушкина астрофической, строфической и субстрофической формы (распадающихся на строфические периоды). В I главе я останавливаюсь на различных факторах сложности синтаксиса стихотворной речи; во II главе делаю наблюдения над синтаксическим строем поэмы «Руслан и Людмила» и жных поэм Пушкина; в III главе, опираясь главным образом на обследование пунктуации беловых автографов, даю анализ разнообразного синтаксического строения онегинской строфы (по главам романа); IV глава представляет собою развернутый синтаксический комментарий к окончательному тексту поэмы «Медный всадник». Ближайшая моя задача после сдачи книги в печать — изучение синтаксического строя ряда лирических произведений Пушкина.

2. Продолжаю работать над темой «Структурные типы сложноподчиненного предложения в современном русском литературном языке». В своих работах на эту тему я противопоставляю «объемлющие» конструкции сложноподчиненного предложения (присубстантивно-определятельного, местоименно-соотносительного и присказуемоотно-изъяснительного типов), придаточная часть которых входит в структуру главной части, — конструкциям, выражающим причинно-следственные, вре-

менные, условные и уступительные отношения, т. е. таким, которые (особенно в случаях препозиции придаточной части) характеризуются отчетливой расчлененностью своего строения. Я надеюсь в будущем подвести итог своим наблюдениям над структурой различных типов сложноподчиненного предложения в отдельной монографии.

3. В ближайшее время я рассчитываю пачать подготовку к печати своей докторской диссертации «Категория времени в грамматическом строе современного русского языка». За истекшие пять лет в русской и зарубежной литературе опубликовано значительное число работ о категории времени в ее морфологическом и синтаксическом аспектах, было сделано немало ценных критических замечаний по принципиальным вопросам, поставленным в моей диссертации (отношение грамматической категории времени к объективному времени, сущность различия между индикативным и релятивным употреблением форм времени, вопрос о выражении времени в структуре сложного предложения и сложного синтаксического целого). Поэтому при подготовке диссертации к печати я считаю необходимым не только тщательно отредактировать текст, но и частично его переработать.

Н. С. Поспелов
(Москва),

В настоящее время я работаю над вопросами именного словообразования в тюркских языках и веду подготовку к разработке этимологического словаря тюркских языков, который в ближайшие годы должен стать важнейшей темой научных занятий Сектора тюркских языков Института языкознания АН СССР.

Кроме того, я готовлю к изданию второй том «Избранных трудов» чл.-корр. АН СССР Н. К. Дмитриева; первый том «Избранных трудов» находится в печати и должен выйти в свет в этом году. Отдельным изданием выйдет очерк Н. К. Дмитриева «Строй турецкого языка» также под моей редакцией и с моими примечаниями.

В ближайшие месяцы я надеюсь закончить редактирование коллективной работы «История изучения тюркских языков в СССР».

Э. В. Севортян
(Москва)

ХРОНИКАЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ

27—29 сентября 1958 г. в г. Ереване (Арм. ССР) состоялось IV Координационное совещание по диалектологии языков Советского Союза. В совещании приняли участие многие лингвисты Москвы, Ленинграда, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Киргизии, Литвы, Молдавии, Украины, Туркмении, Эстонии и ряда автономных республик — Башкирии, Дагестана, Татарии. Среди участников совещания были член-корр. АН СССР В. М.

Жирмунский, член-корр. АН СССР Р. И. Аванесов, академик АН Груз. ССР А. С. Чикобава, член-корр. АН Азерб. ССР М. Ш. Ширалиев, член-корр. АН Арм. ССР А. С. Гарибян, член-корр. АН Арм. ССР Л. М. Меликсет-бек.

Во вступительном докладе председателя Координационной комиссии по изучению диалектов языков Советского Союза члена-корр. АН СССР Р. И. Аванесова в качестве первоочередных для дан-

ного совещания были отмечены три проблемы: проблема выделения родственных языков и диалектов и диалектного членения языка; проблема лингвистической географии; проблема диалектных словарей. По этим проблемам был заслушан ряд специальных докладов: о диалектном членении армянского языка (член-корр. АН Арм. ССР А. С. Гарпбян); о лингвистических атласах — азербайджанского языка (член-корр. АН Азерб. ССР М. Ш. Ширалиев), таджикского языка (канд. филол. наук В. С. Расторгуев), молдавского языка (канд. филол. наук В. С. Сорбалэ), украинского языка (канд. филол. наук В. М. Брахов), белорусского языка (канд. филол. наук Н. В. Бирилло); о диалектных словарях — на материале русского языка (доктор филол. наук В. Г. Орлов), украинского языка (канд. филол. наук А. С. Лысенко), татарского языка (канд. филол. наук Л. Т. Махмудов), армянского языка (канд. филол. наук А. М. Мкртчян). Кроме того, доклад об изучении азербайджанских диалектов на территории Армении сделал доктор филол. наук Н. А. Баскаков, об инструментальном изучении языков и диалектов — канд. филол. наук С. С. Высотский, о транскрипции и записи армянских диалектов — канд. филол. наук Р. А. Баграмян. Совещание обсудило также состояние диалектологической работы в союзных и автономных республиках.

В работе совещания приняла участие научный сотрудник Польской Академии наук магистр Г. Городыска, которая в своем выступлении познакомила его участников с работой польских лингвистов по изучению польских и других славянских диалектов. По всем прочитанным докладам состоялись оживленные прения, в которых особенно активное участие приняли член-корр. АН СССР В. М. Жирмунский, академик АН Груз. ССР А. С. Чикобава и др.

Совещание отметило, что сравнительно-историческое изучение местных особенностей языка в сочетании с их изучением методами лингвистической географии позволяет заглянуть далеко в глубь истории языка, проследить его развитие, установить его связи с соседними родственными и неродственными языками, а также нередко ответить на некоторые вопросы древнейшей истории народа: откуда пришло население данной территории, на каком языке оно говорило, какие колонизационные движения имели место в последующее время и т. д.

При обсуждении проблемы языков и диалектов было отмечено, что основанием для их выделения как социально-исторических категорий является не только структурная общность или различия, но прежде всего общность социально-историческая, культурная, общность или различия национального самосознания, культурной ориентации, литературного языка. Принципиально иной аспект исследования пред-

ставляет вопрос о системе языка в его территориальном варьировании, о местных особенностях языка, интересующий диалектолога и представителя сравнительно-исторического изучения родственных языков. Отличной иллюстрацией к этим положениям явился доклад А. С. Гарпбяна о диалектном членении армянского языка, где на основе тщательного изучения обширного языкового материала было показано единство армянского языка несмотря на глубокие структурные различия между его диалектами — единство, обусловленное прежде всего социально-исторической и культурной общностью армянского народа, его национальным самосознанием, общностью литературного языка.

Совещание отметило важность дальнейшего развития лингвистического исследования языков народов Советского Союза, дающего неоценимые материалы для их исторического и сравнительно-исторического изучения. В Советском Союзе уже в течение многих лет ведется работа над лингвистическими атласами ряда языков. В 1957 г. вышел «Атлас русских народных говоров центральных областей к востоку от Москвы». Ведутся работы над атласами белорусского, украинского, литовского, латышского и других языков. Начаты работы над атласами азербайджанского, узбекского, татарского, армянского языков. Однако составление атласа армянского языка сопряжено с большими трудностями в связи с тем, что армянский язык уже не звучит на многих своих старых территориях. Академия наук Арм. ССР принимает меры, чтобы получить записи текста на диалектах быв. Турецкой Армении, Ирана, из Сирии, Ливана, Египта и др.

Член-корр. АН СССР В. М. Жирмунский в своем развернутом выступлении по вопросам лингвистической географии отметил, что подготовительные работы по атласам отдельных тюркских языков должны вестись согласованно, при взаимных консультациях, с тем чтобы в дальнейшем иметь возможность картографировать некоторые языковые явления на территориях всех тюркских языков СССР, без чего невозможно их всестороннее историческое изучение. Акад. АН Груз. ССР А. С. Чикобава в выступлении по тому же вопросу говорил о том, что наряду с географическим изучением языков необходимо проводить углубленное монографическое изучение отдельных диалектов, так как только сочетание обоих этих методов позволяет наиболее глубоко и полно осветить историю языков в их диалектах.

Много внимания уделило совещание обсуждению вопроса о диалектных словарях. Единодушно отмечалась важность их составления с точки зрения не только теоретической, но также и научной, так как диалектный словарь как сокровищница живого народного языка может сыграть большую роль в дальнейшем развитии и обогащении литературных языков, в особенности младописьменных языков Советского Союза. Однако наряду с этим по ряду вопросов выявились разные точки

зрения: должен ли охватить словарь только диалектные слова или все слова, употребляемые носителями диалектов, в том числе и те, которые приняты литературным языком; должен ли включать диалектный словарь слова, относящиеся к отдельным промыслам и известные не всему населению, а «специалистам», — слова, которые применительно к диалекту можно условно называть профессиональной, или терминологической, лексикой; следует ли (и в каких случаях) отмечать в таком словаре различия в звуковом оформлении слов; в связи с этим возник и вопрос о транскрипции в диалектном словаре. Вопросы теории диалектных словарей было решено обсудить на следующем координационном совещании по диалектологии.

Совещание приняло развернутые решения и рекомендации по вопросам диалектного изучения отдельных языков СССР и их групп, а также выработало программу (повестку) V Координационного совещания по диалектологии языков СССР, которое состоится в конце 1959 г. в Кишиневе (Молд. ССР).

18—20 декабря 1958 г. в Черновцах состоялась объединенная научная сессия кафедры романской филологии Черновицкого университета и Института языка и литературы Молд. филиала АН СССР, посвященная вопросам молдавского литературного языка. Сессию открыл вступительным словом ректор университета проф. К. М. Леутский. В работе сессии, кроме научных работников университета и Института языка и литературы, приняли участие около 200 преподавателей молдавского языка и литературы школ Черновицкой области, студентов и работников печати. На сессии было заслушано 17 докладов.

Зам. директора Института языка и литературы канд. филол. наук Н. Г. Корляну в докладе «Литературный язык и язык писателя (На материале произведений молдавских писателей)», указав на актуальность проблемы литературного языка в современном языкознании, сделал попытку выяснить соотношение литературного языка с другими лингвистическими категориями: язык писателя, письменный язык, литературная норма и т. д.

Директор Института языка и литературы канд. филол. наук И. К. Вартчан выступил с докладом «Молдави́зм в языке украинских писателей (На материале произведений М. Коцюбинского, В. Стефаника и О. Кобылянской)», в котором показал, как исторически сложившиеся на протяжении многих веков дружественные контакты и связи молдаван с украинцами привели и к языковому взаимообмену. Этот языковой взаимообмен автор доклада прослеживает на языке тех из украинских писателей, которые жили и творили в тесном общении с молдавским народом.

Вопросу использования молдавской лексики в произведениях украинского писателя Юрия Федьковича был посвящен

интересный доклад науч. сотр. кафедры украинской литературы Черновицкого ун-та А. Романица. Молдавские слова, употребленные в произведениях Ю. Федьковича, докладчик делит на две группы: а) молдавские лексемы, входящие в словарный запас гучульского говора украинского языка, и б) лексемы, «использованные писателем непосредственно из молдавского языка для речевой характеристики образов и персонажей молдаван со специальной стилистической целью».

Канд. филол. наук С. Бережан сделал доклад «Литературный язык и его лексическое богатство», в котором уделяется большое внимание обогащению словаря синонимическими рядами. Доцент А. Н. Каллош темой своего доклада сделала вопрос о средствах выражения будущего времени глагола некоторых романских языков. В докладе были рассмотрены два вопроса: а) о причине замены будущего времени глагола латинского языка (*lutarum*) народнолатинскими перифразами (*volo, debeo, habeo + infinitivus*), из которых впоследствии развилась форма будущего времени глагола отдельных романских языков; б) о возникновении и распространении в самих романских языках различных перифраз будущего времени, конкурирующих с формой будущего времени глагола.

Ст. препод. кафедры романской филологии Н. А. Корчипский в докладе о сравнительных конструкциях в молдавском и румынском языках говорил о том, что, по его мнению, сравнительные конструкции в обоих языках выполняют синтаксические функции членов предложения, а именно: а) именной части составного именного сказуемого, б) определения и в) обстоятельства образа действия. Сравнительные конструкции все же отличаются от обычных членов предложения наличием у них специфических свойств трансформации в придаточные предложения сравнения со сказуемым, выраженным тем же глаголом, что и сказуемое главного предложения.

Канд. филол. наук И. Мокряк сделал доклад о построении предложения в ранних произведениях М. Садовяну. Канд. филол. наук Т. Ильяшенко к выступила с докладом «Соотношение литературного языка и языка писателя (На материале произведений В. Александри)». Канд. филол. наук И. Осадченко сделал интересный доклад «Костяке Негруци в оценке русской прессы XIX в.». Русская пресса XIX в., как показал докладчик, по заслугам оценила большой и яркий художественный талант Негруци, показала его большой интерес к национальной истории, к устному народному творчеству и к богатой литературе великого русского народа. К. Негруци сыграл большую роль в создании оригинальной молдавской прозы и драматургии. Он вел последовательную и настойчивую борьбу против реакционных лингвистических концепций, за обогащение литературного языка с разгворной речью.

Были заслушаны также следующие доклады: «О мастерстве писателя» (В. Коробан), «Типизирующая роль языка в комедии „Потерянное письмо“ Караджале» (А. Садовник), «Функции смягчения согласных в румыно-молдавском языке» (О. Широков), «Из наблюдений над морфологией существительных третьего склонения в древних балканороманских диалектах» (А. Широков), «Безударные притяжательные имена прилагательные» (М. Дзеклеску), «Перевод Т. Шевченко на молдавский язык» (Н. Богайчук), «Переводческая работа К. Стамати над баснями И. А. Крылова как источника обогащения молдавского языка 20—30-х гг. XIX в.» (М. Маргулис) и «Язык и стиль сказки Ем. Букова „Андреш“» (студент И. Савка).

В обсуждении докладов приняли участие более 20 человек научных работников Черновицкого университета, преподавателей и студентов (доц. В. С. Любопытнова, канд. филол. наук Н. Ф. Пелевина, доц. В. П. Титова, доц. А. Т. Крыпцевый, преп. Бельцкого пед. ин-та (Молд. ССР) Зенченко и др.).

Н. А. Корчинский

В Ленинграде 26 и 27 января 1959 г. состоялся Пленум Комитета по прикладной лингвистике. Пленум обсудил доклад А. А. Реформатского о терминологии акустической фонетики и принял решение выработать русские эквиваленты для терминов, предложенных Г. Фантом, М. Халле и Р. Якобсоном. В ходе обсуждения состоялся оживленный обмен мнениями по вопросам фонологической теории и ее приложений, в котором участвовали Н. Д. Андреев, В. А. Артемов, Л. А. Варшавский, Л. Р. Зиндер, Вяч. В. Иванов, В. И. Медведев, И. И. Ревзин, С. К. Шаумян. Комитет обсудил также ответы на разосланный им список тем, поступившие от различных учреждений; заслушал и одобрил сообщение о ходе работ в Институте славяноведения АН СССР; постановил повторно обратиться к тем учреждениям (в частности, к филологическому факультету МГУ), которые по приказу министра высшего образования о развитии работ в области машинного перевода должны разрабатывать соответствующие вопросы, но не дали ответа на запрос Комитета.

Комитет постановил также организовать во время апрельской конференции по математической лингвистике в Ленинграде совещание представителей заинтересованных учреждений для рассмотрения вопроса об учебных планах отделений прикладной и математической лингвистики. На пленуме было принято также постановление о соборании и публикации в бюллетене «Машинный перевод и прикладная лингвистика» библиографии по математической и прикладной лингвистике по следующим темам: 1) Вопросы теории информации, связанные с речью; 2) Вопросы кибернетики, связанные с речью; 3) Машинный пере-

вод; 4) Физиологическая фонетика; 5) Акустическая фонетика; 6) Синтез речи; 7) Экспериментальная фонетика; 8) Экспериментально-психологическое изучение речи; 9) Статистика речи; 10) Транскрипция и транслитерация; 11) Символические языки науки; 12) Методы изучения речи; 13) Терминология прикладной лингвистики.

Секция речи Комиссии по акустике АН СССР с участием Комитета по прикладной лингвистике разработала (23—29 января 1959 г.) перечень основных направлений исследования речи, определяющих создание новых технических средств общения. Секция речи просит все заинтересованные учреждения и отдельных научных работников направлять свои замечания и пожелания по этому перечню (см. стр. 151—153).

11 февраля 1959 г. состоялось торжественное заседание Ученого совета филологического факультета МГУ, посвященное 60-летию со дня рождения и 35-летию научно-педагогической деятельности профессора Московского университета доктора филол. наук Петра Саввича Кузнецова.

П. С. Кузнецов известен своими работами не только как диалектолог, фонолог и историк русского языка, но и как исследователь в области финно-угроведения, африканистики, общего, сравнительного и славянского языкознания. Его научные интересы охватывают и новые для лингвистики области смежных наук — математики, логики, акустики, с представителями которых он ведет совместную исследовательскую работу.

На заседании были оглашены приказы, приветствия, адреса и телеграммы от Мин-ва высшего образования, ОЛЯ АН СССР и от ряда научных учреждений и высших учебных заведений Москвы, Ленинграда, Киева и многих других городов. Юбилера приветствовали профессора университетов и пединститутов, учителя, библиотекари, студенты и делегации от различных учреждений, в том числе от Объединения машинного перевода, Лаборатории электромоделирования, Математического института АН СССР и др.

По инициативе группы лингвистов и психологов Правление Московского отделения Общества психологов вынесло решение об организации в составе Общества секции смежных проблем психологии и языкознания.

17 февраля 1959 г. состоялось собрание инициативной группы этой секции. После информации председателя Московского отделения Общества проф. А. Н. Леонтьева о решении правления и плане организации секции собрание заслушало сообщение Г. П. Щедровицкого «О выделении предмета лингвистического исследования». В обсуждении приняли участие Вяч. В. Иванов и М. А. Балабан (МГПИИЯ), Н. И. Жинкин (Ин-т психологии АПН РСФСР)

Перечень основных направлений исследования речи, определяющих создание новых технических средств общения

Направление исследований	Цель исследований	Аспекты исследований			
		физио-математический	лингвистический	физиологический	психологический
Речеобразование	Создание общей теории речеобразования, получение основных закономерностей	Физико-математическая теория речевого процесса. Моделирование речевого процесса	Основные соотношения и параметры артикуляционного аппарата (формирование речи) и связи их с акустическими характеристиками		Речевой аппарат как кибернетическая система
Восприятие речи	Создание общей теории восприятия речи и получение основных закономерностей	1. Математические и физические модели процесса слухового восприятия речи 2. Математическая теория слухового восприятия речи	Лингвистические закономерности, определяющие восприятие речи	Последовательность преобразования речевых сигналов в слуховой системе	
Речеобразование и восприятие речи в особых условиях	Разработка способов связи	Исследование физических характеристик в особых условиях	Специальные речевые коды	Физиологические механизмы нарушения речеобразования и восприятия речи в особых условиях	Методы определения психоакустических зависимостей. Психологические методы улучшения приема речевых сообщений
Физические характеристики речевого процесса и отдельных его элементов	Объективное изучение речевого процесса	Методы исследования физических параметров речевого процесса и их определение			

Направление исследований	Цель исследований	Аспекты исследований			
		физико-математический	лингвистический	физиологический	психологический
Физические характеристики речи, определяющие ее разборчивость и естественность	Выявление физических характеристик, определяющих тип коммуникативной информации, и их классификация	Критерии естественности звучания речи и методы ее оценки. Градации естественности в различных условиях речевого общения			
		Физические характеристики речи, несущие информацию, определяющие ее разборчивость и естественность			
Принципы деления потока речи на элементы и их идентификация	Выявление объективных признаков, необходимых для разделения потока речи на дискретные элементы	Объективные признаки, необходимые для разделения потока речи на дискретные элементы, и их идентификация			Дискретное деление речевого потока на элементы, исходя из смыслового значения
Критерии качества передачи речи по телефонным и радиотелефонным каналам	Определение методов оценки качества передачи и установление классов качества	Классы качества передачи для различных условий связи	Испытательные тексты		Методы оценок на основе критерия «разборчивости», «понятности» и «естественности». Испытательные тексты
Автоматическое различение лингвистических элементов	Установление способов автоматического различения элементов речи	Способы автоматического различения			
Синтез лингвистических элементов речи	Установление способов синтеза	Системы признаков, необходимых для синтеза речи в соответствии с градацией естественности и разборчивости			
		Способы осуществления синтезирующих устройств			

Принципы компрессии речи	Установление способов компрессии речи в зависимости от качества речи и степени компрессии	Способы компрессии речи			
Язык-посредник	Создание переводных и информационных машин	Математическая модель языка-посредника. Физическая природа знака языка-посредника	Система соответствий между языками и лингвистическая природа знака		Система соотношений между языком-посредником и системой понятий
Основы теории и принципы устройства переводных машин	Создание переводных машин	Символическое и операторное описание алгоритмов машинного перевода	Построение правил грамматического и лексического анализа и синтеза		Семантический и прагматический аспекты информации
Основы теории и принципы устройства информационных машин	Создание информационных машин	Логико-математический анализ языков науки. Формальное представление и анализ информации	Построение правил перевода на информационный язык и обратно. Соотношение между речью и символическими языками наук		Моделирование логического анализа языка науки
Преобразование устной речи в письменную	Совершенствование систем транскрипции и разных видов скорописи		Общая теория транскрипции.		
Исследование вопросов транслитерации	Создание стандартов транслитерации		Общая теория транслитерации		

и А. Р. Л у р и я (МГУ). Был также заслушан реферат А. А. Лео н тье в а на тему «К. Маркс о предмете языкознания».

26—27 февраля 1959 г. состоялось расширенное заседание Ученого совета Института русского языка АН СССР, посвященное рассмотрению проектов новых программ по русскому языку для средней школы. В заседании приняли участие, помимо научных сотрудников Института русского языка, научные сотрудники Института методов обучения АПН РСФСР, представители Министерства просвещения РСФСР, методисты и преподаватели вузов Москвы, Ленинграда, Иванова, Куйбышева, Сталинграда, Ярославля учителя средней школы и др.

Были заслушаны сообщения члена-корр. АПН РСФСР В. А. Добромыслова и профессора Московского гос. пед. института им. В. И. Ленина С. Е. Крючкова о двух разработанных проектах программы¹. В обсуждении приняли участие 26 человек. Выступавшие, отметив отсутствие принципиальных расхождений между представленными проектами, подвергли их критическому разбору и сделали ряд замечаний и дополнений.

Для выработки проекта резолюции была избрана комиссия в составе: С. И. Ожегов (председатель), В. А. Добромыслов, С. Е. Крючков, А. Б. Шапиро и В. Н. Сидоров.

Н. Н. Уханова

¹ См. материал по этому вопросу, опубликованный в журн. «Русский язык в школе» (1959, № 1).

АВТОРЕФЕРАТЫ ПО ЯЗЫКОЗНАНИЮ, ОПУБЛИКОВАННЫЕ в 1958 г.

Настоящий перечень составлен на основе данных Всесоюзной книжной палаты¹. Для облегчения справок все авторефераты² распределены по соответствующим языкам, расположенным в алфавитном порядке; исключение составляют выделенные в отдельные группы авторефераты тех диссертаций, которые посвящены: 1) анализу фактов (категорий) двух и более языков в сопоставительном или историко-сравнительном плане и 2) вопросам переводов и транскрибирования.

Абхазский язык:

М. М. Ц и к о л а. Абжуйский диалект абхазского языка. Основные фонетические и морфологические особенности.—

¹ См.: Авторефераты диссертаций. Филологические науки, «Книжная летопись», №№ 1—52, изд. Всесоюзной книжной палаты, М., 1958.

² Авторефераты диссертаций, представившихся на ученую степень доктора филол. наук, отмечены в перечне особо; все остальные были представлены на соискание ученой степени кандидата филол. наук.

В Николаевском педагогическом институте имени В. Г. Белинского в феврале 1959 г. состоялась конференция преподавателей института, посвященная итогам научно-исследовательской работы за 1958 г.

На Секции филологических наук были заслушаны доклады: «Из наблюдений над стилистическим использованием традиционно-книжных славянизмов в мемуарной литературе II половины XVIII в.» канд. филол. наук П. В. Бурбы; «Образование наречных форм типа *по-русски*, *по-сыновьи* в русском языке» препод. И. К. Марковского; «К истории вопроса о фразеологизмах в лингвистической литературе» препод. М. Ф. Бурбы; «Относительные местоимения в связи с гипотаксисом и паратаксисом в французском языке» препод. Т. Н. Пителкина; «Из наблюдений над языком и стилем поэзии Т. Г. Шевченко» доц. И. А. Журбы; «Эмоциональная лексика в украинской поэзии для детей» препод. Н. С. Фесенко; «Сравнительные обороты в творчестве Мих. Коцюбинского» препод. Д. Т. Кротъ.

П. В. Бурба

13 марта 1959 г. состоялось заседание кафедры славянских языков Московского университета им. М. В. Ломоносова, посвященное памяти выдающегося болгарского филолога академика Александра Теодорова-Балана.

С докладом на тему «Творческий путь академика Теодорова-Балана» выступил проф. С. Б. Бернштейн.

Тбилиси, 1958 (Абхаз. ин-т языка, лит-ры и истории Груз. ССР).

Азербайджанский язык:

М. М. А д и л о в. Сложные слова в современном азербайджанском языке (имя существительное и имя прилагательное).— Баку, 1958 (Азербайдж. ун-т).

А. А. А х у н д о в. Категория времени глагола (На материалах азербайджанского языка).— Баку, 1958 (Азербайдж. ун-т).

М. Ш. К а с ы м о в. Развитие азербайджанского языкознания в советский период.— М., 1958 (Азербайдж. пед. ин-т им. В. И. Ленина).

И. М. М а м е д о в. Карягинские говоры азербайджанского языка.— М., 1958 (МГУ).

С. Н. М у р т у з а е в. Фразеология комедий М. Ф. Ахундова.— Баку, 1958 (Азербайдж. пед. ин-т им. В. И. Ленина).

Г. Г. С а л м а н о в а. Роль большевистской печати в обогащении словарного состава азербайджанского литературного языка (1905—1920 гг.).— Баку, 1958 (Азербайдж. ун-т).

Английский язык:

Л. И. Андреевская. Развитие некоторых типов субъектно-предикативных сочетаний в английском языке (так наз. Nominative with the infinitive construction).— Л., 1958 (Ленингр. пед. ин-т им. А. И. Герцена).

В. В. Белый. Модальные значения инфинитивных сочетаний в современном английском языке (долженствование и побуждение).— Киев, 1955 (Киевск. ун-т).

М. А. Боровик. Развитие значения глаголов *do* и *take* в английском языке.— Л., 1958 (Ленингр. пед. ин-т им. А. И. Герцена).

И. Г. Долина. Категория предельности в системе древнеанглийского языка.— Л., 1958 (Ленингр. пед. ин-т им. А. И. Герцена).

К. А. Иванова. Семантическое развитие многозначных глаголов в английском языке.— Л., 1958 (ЛГУ).

Р. И. Кад. Развитие глагольного словообразования с префиксом *be-* в английском языке.— Л., 1958 (ЛГУ).

Ф. В. Локшина. Восклицательные предложения в современном английском языке.— Л., 1958 (Ленингр. пед. ин-т им. А. И. Герцена).

А. Ф. Михайлев. Сложные предложения с уступительным значением в современном английском языке.— М., 1958 (Моск. обл. пед. ин-т им. Н. К. Крупской).

Э. П. Стасюлович-те. Отрицательные префиксы *un-* и *in-* в современном английском языке.— М., 1958 (Моск. обл. пед. ин-т).

О. Н. Труевцева. Местоименная притяжательная конструкция в английском языке.— Л., 1958 (ЛГУ).

Р. А. Яковлева. Оборот с *for* в современном английском языке.— М., 1958 (1-й Моск. пед. ин-т иностр. языков).

Армянский язык:

А. М. Арамян. Экспериментально-фонетическое исследование и классификация гласных фонем армянского литературного языка.— Ереван, 1958 (Ин-т языка АН Арм. ССР).

Белорусский язык:

А. С. Аксамитов. Лексика белорусских пословиц XIX в. в связи с общей проблемой фразеологии.— Минск, 1958 (Ин-т языкознания АН БССР).

Л. И. Бурак. Сложносочиненные предложения в современном белорусском литературном языке.— Минск, 1958 (Ин-т языкознания АН БССР).

М. А. Жидович. Именное склонение в белорусском языке (Имя существительное). Ч. 1 — Единственное число.— Минск, 1958 (Белорусск. ун-т) (Автореф. докт. диссерт.).

А. А. Кривицкий. Формы личных и возвратного местоимений современного белорусского языка в их истории.— Минск, 1958 (Ин-т языкознания АН БССР).

А. Г. Мурашко. Формы прилагательных в белорусских говорах. — Минск, 1958 (Ин-т языкознания АН БССР).

А. В. Орешонкова. Личные формы глаголов настоящего времени в белорусской письменности XVI в. — Минск, 1958 (Ин-т языкознания АН БССР).

Бурят-монгольский язык:

Б. В. Матхеев. Эхирит-булагатский диалект бурят-монгольского языка.— Л., 1957 (ЛГУ).

Э. Р. Раднаев. Баргузинский говор бурят-монгольского языка.— Улан-Удэ, 1958 (Ин-т языкознания АН СССР).

Л. Шагдаров. Изобразительные слова в современном бурят-монгольском языке.— Л., 1958 (ЛГУ).

Греческий язык:

Т. Н. Чернышева. Новогреческий говор сел Приморского (Урауфа) и Ялты Первомайского района Сталинской области (Фонетико-морфологический обзор).— Киев, 1957 (Киевск. ун-т).

Грузинский язык:

М. А. Мревлишвили. Сложные слова в грузинском языке.— Тбилиси, 1958 (Тбилисск. ун-т).

Ш. И. Нижарадзе. Особенности верхнеаджарского говора.— Тбилиси, 1958 (Тбилисск. ун-т).

Е. А. Осидзе. Образование причастий в грузинском языке.— Тбилиси, 1958 (Тбилисск. ун-т).

Казахский язык:

Е. Н. Жаппейсов. Модальные слова в современном казахском языке.— Алма-Ата, 1958 (Ин-т языка и лит-ры АН Казах. ССР) (Автореф. докт. диссерт.).

Киргизский язык:

А. Турсунов. Деепричастия в современном киргизском языке.— Фрунзе, 1958 (Ин-т языка и лит-ры АН Кирг. ССР).

Китайский язык:

М. В. Софронов. Сложные глаголы в языке романа «Шуйхучжуань». — М., 1958 (Ин-т востоковедения АН СССР).

Корейский язык:

Ф. З. Ким. Звуковой состав корейского языка в XV в. и создание письма хунмин чонгым.— М., 1958 (Ин-т востоковедения АН СССР).

Ф. В. Мальков. Морфология предикативных прилагательных в корейском языке.— М., 1958 (Ин-т востоковедения АН СССР).

Латышский язык:

А. Блинка. Вопросительные и побудительные предложения в современном латышском литературном языке.— Рига, 1958 (Ин-т языка и лит-ры АН Латв. ССР).

М. Э. Граудыня. Лайдзенский и кандавский говоры.— Рига, 1958 (Ин-т языка и лит-ры АН Латв. ССР).

Р. Я. Грисле. Грамматика XVII в. как источник истории латышского языка.— Рига, 1958 (Ин-т языка и лит-ры АН Латв. ССР).

Э. П. Лиена. Некоторые вопросы произношения фонем современного латышского литературного языка.— Рига, 1958 (Латв. ун-т).

В. Э. Сталтмане. О видах глагола в современном латышском литературном языке.— Рига, 1958 (Ин-т языка и лит-ры Латв. ССР).

М. М. Стенгревич. Использование стилистических пластов лексики в лирике Я. Райниса (По материалам I т. Собрания сочинений).— Рига, 1958 (Ин-т языка и лит-ры АН Латв. ССР).

Литовский язык:

А. Валецкене. Употребление местоименных форм имен прилагательных в современном литовском языке.— Вильнюс, 1958 (Вильнюсск. ун-т).

Марийский язык:

Г. Березки. Финно-угорские элементы в лексике марийского языка.— Л., 1957 (ЛГУ).

Л. П. Грузов. Гласные и согласные марийского языка (луговой диалект) в свете экспериментальных данных.— Л., 1957 (ЛГУ).

Молдавский язык:

Т. П. Ильяшенко. Глагол *a fi* в молдавском языке.— Кишинев, 1958 (Кишиневск. ун-т).

А. П. Семашко. Фразеология «Сказок», «Повестей» и «Воспоминаний детства» И. Крянго.— Запорожье, 1958 (ЛГУ).

Немецкий язык:

Г. Е. Каменец. Неполная рамка и нерамочное строение предложения в немецком языке.— Томск, 1958 (Томск. пед. ин-т).

О. А. Карамина. Форма герундиива в немецком языке.— Л., 1958 (ЛГУ).

Л. В. Панова. Сложноподчиненные предложения с придаточными присоединительными в современном немецком языке.— Л., 1958 (Ленингр. пед. ин-т им. А. И. Герцена).

Т. Л. Пашевская. Основные словообразовательные типы имен действия в немецком языке и словосочетания с ними.— Л., 1957 (ЛГУ).

И. С. Рахманкулова. Видовое значение причастий в современном немецком языке (На материале согласуемого определения).— М., 1958 (1-й Моск. пед. ин-т иностр. языков).

А. П. Хазанович. Синонимия в фразеологии современного немецкого языка.— Л., 1958 (ЛГУ).

М. Хуттерер. Немецкие говоры Центральной Венгрии.— М., 1958 (МГУ).

И. П. Шишкина. Некоторые мест-

ные особенности в лексике современного немецкого литературного языка.— Л., 1958 (Ленингр. пед. ин-т им. А. И. Герцена).

Персидский язык:

Дж. Ш. Гиунашвили. Глагольный компонент детерминативных именных образований персидского литературного языка.— Тбилиси, 1958 (Тбилисск. ун-т).

Русский язык:

В. П. Апаньева. Система склонений имен существительных в «Казанском летописце».— М., 1958 (Моск. пед. ин-т им. В. И. Ленина).

Р. П. Андропова. Порядок слов в простом предложении (На материале памятников русской письменности XVII в.).— Херсон, 1958 (Ин-т языкознания АН СССР).

К. В. Басенко. К истории употребления местоимений в функции подлежащего в древнерусском языке по памятникам XI—XVI вв.— Львов, 1958 (Харьковск. ун-т).

Е. Н. Богданова. Синтаксис Стоглава.— М., 1958 (МГУ).

Е. Н. Борисова. Из истории бытовой лексики рязанских памятников XVI—XVII вв.— Балазов, 1957 (Куйбышевск. пед. ин-т).

И. А. Василенко. Сложное предложение в современном русском литературном языке.— М., 1958 (Моск. гор. пед. ин-т им. В. П. Потемкина) (Автореф. докт. диссерт.).

И. А. Воробьева. К вопросу о развитии глагольной префиксации в русском языке (История приставки *в-*).— Томск, 1958 (Томск. ун-т).

М. Н. Вьюкова. Относительные предложения в русском литературном языке XVIII в.— Томск, 1958 (Томск. ун-т).

Ц. Я. Галецкая. Предложно-падежные средства в функции обстоятельства образа действия в современном русском языке.— М., 1958 (МГУ).

Дж. А. Гарибян. Лексика и фразеология «Азовских повестей» XVII в.— М., 1958 (Ин-т языкознания АН СССР).

Н. А. Донец. Именительный и творительный предикативный имени существительного в современном русском языке.— Рига, 1958 (Горьковск. ун-т).

Е. П. Дубровина. Диалектные элементы в языке художественных произведений Н. А. Некрасова.— Горький, 1958 (Горьковск. ун-т).

М. В. Карпенко. Наблюдения над структурой присоединительных конструкций в современном русском литературном языке.— Черновцы, 1958 (Харьковск. ун-т).

А. В. Касьянов. Лексика и фразеология комедии Н. В. Гоголя «Ревизор».— М., 1958 (Моск. пед. ин-т им. В. И. Ленина).

Т. Г. Козырева. Безлично-предикативные слова в русском литературном

языке 2-й половины XVII—XVIII вв.— Л., 1957 (ЛГУ).

В. И. Максимов. Лексика Псковской I летописи.— Л., 1958 (Ленингр. пед. ин-т им. А. И. Герцена).

Л. И. Максимов. Антонимия как один из показателей качества прилагательных (На материале русского языка).— М., 1958 (Моск. пед. ин-т им. В. И. Ленина).

Е. С. Метельская. Лексика Супрасльской летописи.— Минск, 1958 (Белорусск. ун-т).

О. Д. Митрофанова. Личные собственные имена с суффиксами «субъективной оценки» в современном русском языке.— М., 1958 (Моск. пед. ин-т им. В. И. Ленина).

Г. А. Основина. Словообразовательные типы имен существительных с конкретно-предметным значением в современном русском языке (существительные с пространственным значением).— М., 1958 (Моск. пед. ин-т им. В. И. Ленина).

А. В. Турасова. Двусоставные безглагольные конструкции в современном русском языке (К вопросу о неполных предложениях).— Л., 1958 (Ленингр. ун-т).

И. С. Хаустова. Лексика «Ведомостей» 1702—1703 гг. (Из истории формирования национального литературного языка и его стилей).— Л., 1958 (ЛГУ).

С. Ш. Чагдуров. Об особенностях словоупотребления в художественной прозе (На материале романа Л. Леонова «Русский лес»).— М., 1958 (Моск. обл. пед. ин-т им. Н. К. Крупской).

М. А. Чернышенко. Особенности языка и стиля «Дела Артамоновых» А. М. Горького.— Киев, 1958 (АН УССР).

Н. Ю. Шведова. Очерки по синтаксису русской разговорной речи (Вопросы строения предложения).— М., 1958 (Ин-т языкознания АН СССР) (Автореф. докт. диссерт.).

Л. А. Шеляховская. Структурно-морфологические типы сложных существительных и их продуктивность в современном русском литературном языке.— Алма-Ата, 1958 (Алма-Атинск. пед. ин-т).

А. А. Щербина. О речевой характеристике сатирических персонажей русской советской комедии (Некоторые специфические средства).— Киев, 1958 (Ин-т языкознания АН УССР).

Тувинский язык:

А. Ч. Кунаа. Звуковой состав тесемского говора тувинского языка.— Л., 1958 (ЛГУ).

Узбекский язык:

И. Раджабов. Карнабский говор узбекского языка.— Самарканд, 1958 (Узбекск. ун-т).

Украинский язык:

А. П. Белоштан. Ударение членных имен прилагательных в современном украинском литературном языке. К вопросу о локально-акцентных типах и лите-

ратурной норме ударения.— Киев, 1958 (Киевск. ун-т).

Л. А. Биятенко. Номинативные предложения в современном украинском литературном языке.— Киев, 1958 (Киевск. пед. ин-т им. А. М. Горького).

Я. В. Закревская. Языковые и стилистические особенности сказок Ивана Франко.— Львов, 1957 (АН УССР).

И. С. Олейник. Синонимика в поэтических произведениях Леси Украинки.— Одесса, 1958 (Одесск. ун-т).

А. Д. Очеретный. Говоры Уманского района Черкасской области.— Киев, 1958 (Киевск. пед. ин-т им. А. М. Горького).

Н. Павлюк. Украинские говоры Мараморошины (Области Бая-Маре Румынской Народной Республики).— Харьков, 1958 (Харьковск. ун-т).

А. А. Скоропад. Определительные придаточные предложения в украинском языке.— Львов, 1958 (Львовск. ун-т).

О. С. Шевчук. Прилагательные в современном украинском литературном языке, образованные от имен существительных (Суффиксальные и префиксально-суффиксальные образования).— Киев, 1958 (Киевск. пед. ин-т им. А. М. Горького).

Французский язык:

Б. А. Фокин. Конструкция глагола *venir* с инфинитивом во французском языке.— М., 1958 (1-й Моск. пед. ин-т иностр. языков).

Хинди язык:

В. А. Чернышев. Отыменные глаголы в современном литературном хинди.— М., 1958 (Ин-т востоковедения АН СССР).

Чешский язык:

А. К. Ластовецкая. К истории чешской лексикографии (по XIV столетие включительно).— Львов, 1958 (Львовск. ун-т).

Шведский язык:

Г. И. Скорородова. Продуктивные суффиксы прилагательных современного шведского языка.— Л., 1958 (ЛГУ).

Эрзя-мордовский язык:

В. Д. Объяедкин. Старотурдаковский диалект эрзя-мордовского языка.— М., 1958 (Ин-т языкознания АН СССР).

Разные языки (в сопоставительном или историко-сравнительном плане):

Т. А. Амирова. Фонетико-грамматические чередования в древних германских языках (На материале готского, древнеисландского, древнеанглийского и древневерхненемецкого языков).— М., 1957 (1-й Моск. пед. ин-т иностр. языков).

Ф. А. Ашнин. Указательные местоимения и их производные в азербайджанском, турецком и туркменском языках.— М., 1958 (Ин-т языкознания АН СССР).

Х. С. Барнаходжаева. Настоящее время изъяснительного наклонения в английском языке и его соответствия в узбекском языке.— Ташкент, 1958 (Ташкентск. пед. ин-т иностр. языков).

А. В. Бондарко. Настоящее историческое глаголов несовершенного и совершенного видов в славянских языках.— Л., 1958 (ЛГУ).

Н. Х. Демесинова. Порядок слов в простом предложении русского и казахского языков.— Алма-Ата, 1958 (Ин-т языка и лит-ры АН Казах. ССР).

А. Б. Долгопольский. Из истории развития типов отглагольных имен деятеля от латыни к романским языкам (К проблеме развития словообразовательных типов).— М., 1958 (1-й Моск. пед. ин-т иностр. языков).

М. Думитреску. Именное склонение в Остромировом евангелии в сопоставлении с данными старославянских памятников (имя существительное).— М., 1958 (МГУ).

Т. Д. Зурабишвили. Степени сравнения в картвельских языках.— Тбилиси, 1958 (Тбилисс. ун-т).

Е. И. Кедайтене. Формы винительного и формы родительного-винительного падежа от названий лиц и одушевленных предметов по оригинальным памятникам восточнославянской письменности.— М., 1958 (Ин-т русского языка АН СССР).

Э. Паюсалу. Внешнеместные падежи в прибалтийско-финских языках (функции падежей).— Таллин, 1958 (Ин-т языка и лит-ры АН Эст.ССР).

Л. И. Проклова. Сопоставительный анализ согласных фонем современных литературных немецкого и украин-

ского языков.— Киев, 1958 (Киевск. ун-т).

З. Г. Розова. Колебания в склонении личных и собственных имен мужского рода на *о-* и на *-е* в сербохорватском языке сравнительно с русским.— Львов, 1958 (Львовск. ун-т).

И. А. Сабалаяускас. Происхождение названий сельскохозяйственных растений в балтийских языках.— Вильнюс, 1958 (Вильнюск. ун-т).

Л. Г. Скалозуб. Сопоставительное описание согласных современных русского и корейского языков.— Киев, 1958 (Киевск. ун-т).

К. Юсупов. Языковые взаимоотношения узбекского и таджикского народов (На материале ферганского говора таджикского языка).— Ташкент, 1957 (Ин-т языка и лит-ры АН Узб. ССР).

Вопросы переводов [и транскрибирования]:

Н. Владимиров. Некоторые вопросы художественного перевода с русского языка на узбекский.— Ташкент, 1957 (Ин-т языка и лит-ры АН Узб. ССР).

А. В. Суперанская. Лингвистические основы практической транскрипции имен собственных.— М., 1958 (Ин-т языкознания АН СССР).

Г. В. Чернов. Вопросы перевода русской безэквивалентной лексики на английский язык (На материале переводов советской публицистики).— М., 1958 (1-й Моск. пед. ин-т иностр. языков).

Д. Шарипов. Некоторые проблемы поэтического перевода с русского на узбекский язык.— Ташкент, 1958 (Ин-т языка и лит-ры АН Узб. ССР).

КНИГИ, ЖУРНАЛЫ И БРОШЮРЫ, ПОСТУПИВШИЕ В РЕДАКЦИЮ

Аннотированный бюллетень научных работ (1954—1957). Вып. 1.— Уфа, 1958. 106 стр.

Информационный бюллетень ЮНЕСКО.— 1959. №№ 41—43.

Материалы по машинному переводу. Сб. I.— Л., 1958. 228 стр. [ротапринт].

Научные записки Ужгородского гос. ун-та. Т. XXVIII. Языкознание.— Ужгород, 1957. 181 стр.

Научно-технический сборник. Гос. союзный научно-исслед. ин-т. Отдел научно-технич. информация. Вып. 6.— 1958. 69 стр.

Польско-украинский словарь (у двух томах). Т. I. (А—Н).— Київ, 1958. 696 стр.

Сборник статей по машинному переводу. Ин-т точной механики и вычислительной техники АН СССР.— М., 1958. 122 стр. [ротапринт].

Ученые записки Кулябского гос. пединститута им. Рудакі. Вып. IV.— Куляб, 1958. 318 стр.

Ученые записки ЛГПИ им. А. И. Герцена. Т. 190, ч. 2. Фак-т немецкого языка.— Л., 1958. 80 стр.

Ученые записки Магнитогорского гос. пединститута. Вып. VII.— Магнитогорск, 1958. 343 стр.

Ученые записки МГПИ им. В. П. Потемкина. Фак-т иностранных языков. Кафедра лексики и фонетики английского языка. Т. LXXX. Вопросы английского языкознания. Вып. 3.— М., 1958. 273 стр.

Ученые записки Пятигорского гос. пединститута. Т. 17. Фак-т иностранных языков.— Пятигорск, 1958. 505 стр.

В. А. Воронин. О машинном переводе с китайского на русский язык. Ин-т точной механики и вычислительной техники АН СССР.— М., 1958. 34 стр. [ротапринт].

М. Б. Ефимов. Анализ японского языка при машинном переводе. Ин-т точной механики и вычислительной техники АН СССР.— М., 1958. 26 стр. [ротапринт].

В. К. Зейденберг, Т. С. Лосева. Англо-русский словарь по вычислительной технике. Вып. 1. Ин-т точной механики и вычислительной техники АН СССР.— М., 1958. 93 стр. [ротапринт].

Н. Т. Пенгитов. Сопоставительная грамматика русского и марийского языков. Часть первая. Введение, фонетика, морфология.— Йошкар-Ола, 1958. 175 стр.

В. В. Смирнов. К вопросу о распадае системы латинского склонения (Уч. зап. Каз. гос. пединститута).— Казань, 1958. Стр. 287—307.

Emakeele seltsi aastaraamat. IV. 1958.— Tallinn, 1959. 322 стр.

J. V. Veski. Keelelisi töid.— Tallinn, 1958. 318 стр.

A. Kask. Võitlus vana ja uue kirjaväsi vanel XIX sajandi eesti kirjakeeles.— Tallinn, 1958. 215 стр.

Годишник философског факултета у Новом Саду. Књ. III.— Нови Сад, 1958. 308 стр.

Annali [Istituto universitario orientale]. Sezione slava I.— Napoli, 1958. 198 стр.

M. Cohen. La grande invention de l'écriture et son évolution. I — texte. 471 стр.; II — documentation et index. 228 стр.; III — planches (1 карта + 95 рисунков). — Paris, 1958.

F. Dimitrescu. Locuțiunile verbale în limba Română.— București, 1958. 223 стр.

Károly Sándor. Az értelmező és az értelmezői mondat a magyarban.— Budapest, 1958. 78 стр.

H. W. Ludolf. Grammatica Russica. Edited by B. O. Unbegaun.— Oxford, 1959 (XXIII + 401) стр.

M. Mayrhofer. Gedanken zum Namen Himālaya. Indo-Iranian Journal. Vol. II. № 1.— 's-Gravenhage, 1958. 7 стр. [отд. отт.].

M. Mayrhofer. Über einige arische Wörter mit hurrischem Suffix. Altpersisch hamātar.— Annali [Istituto universitario orientale]. Sezione linguistica.— Roma, 1959. 14 стр. [отд. отт.].

A. Zajączkowski. Najstarsza wersja turecka Husrāv u Šīrīn Quṭba. Część II. Facsimile.— Warszawa, 1958 (IX + 238) стр.

SOMMAIRE

Articles: Le XXI congrès du PCUS et tâches futures de la linguistique russe; I. I. Mesčaninov (Léningrad). Classifications différentes du matériel linguistique; V. K. Čičago. Sur la structure dynamique de la proposition narrative en russe; **Discussions:** Siyui Go-Djan. Un aperçu de la linguistique structurale; J. D. Decheriev, G. A. Klimov, B. B. Talibov (Moscou). Sur l'unification des noms de quelques langues caucasiennes; **Communications et notices:** B. I. Nadel, R. G. Piotrovski (Léningrad). Sur les corrections chronologiques et stylistiques dans les investigations diachroniques; O. A. Lapteva (Moscou). L'ordre des éléments dans les groupes de mots figés — leur caractéristique structural; G. I. Gero vsk i (Priachev). Sur les caractéristiques du bilinguisme littéraire en slave d'est; **Linguistique appliquée:** I. K. Bel'skaia (Moscou). Les principes de compilation d'un dictionnaire pour la traduction mécanique; **Critique et bibliographie;** **Vie scientifique:** V. M. Illitch-Svititch (Moscou). Problèmes du territoire proto-slave au IV Congrès international des slavistes; A. V. Bondarko (Léningrad). Problèmes du temps verbal au IV congrès international des slavistes; D. E. Mikhaltchi (Moscou). Remarques sur la linguistique roumanienne; V. T. Terentiev (République autonome tchouvache). Une fois de plus sur la première grammaire tchouvache; Plans de travail des savants.

CONTENTS

Articles: The XXI Congress of the CPSU and future tasks of Russian linguistics; I. I. Meschaninov (Leningrad). The different ways of classifying language material; V. K. Chichago. On the dynamic structure of the narrative sentence in Russian; Siyui Go-Djan. A survey of structural linguistics; J. D. Decheriev, G. A. Klimov, B. B. Talibov (Moscow). On the name-unification of some Caucasian languages; **Notes and queries:** B. I. Nadel, R. G. Piotrovsky (Leningrad). On chronological and stylistic corrections in diachronic investigations; O. A. Lapteva (Moscow). The place of elements in rigid word-groups as their structural characteristics; G. I. Gero vsk y (Priashév). Some features of literary bilingualism in East-Slavonic; **Applied linguistics:** I. K. Bel'skaya (Moscow). Principles of compiling a dictionary for machine-translation; **Critics and bibliography;** **Scientific life:** Problems of Proto-Slavonic territory at the IV International Congress of slavists; A. V. Bondarko (Leningrad). Problems of verbal tense at the IV International Congress of slavists; D. E. Mikhaltchi (Moscow). Remarks on Rumanian linguistics; V. T. Terentiev (The Chuvash SSR). Once more on the first Chuvash grammar; Working-plans of scientists.

Г-04866 Подписано к печати 21.V. 1959 г. Тираж 6375 Зак. 1514

Формат бумаги $70 \times 108^{1/16}$ Бум. л. 5 Печ. л. 13,7 Уч.-изд. л. 17,4

2-я типография Издательства Академии наук СССР. Москва, Шубинский пер., 10